

Вацетис Кузнецов

МЫ ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ

ШТАТЫ
СОГЛАС
И БОРЬБЕ

СЛУЖАЩИХ
АССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕДАНЕЖИСТ

ПРЕДАНЕЖИСТ

ПРЕДАНЕЖИСТ

ПРЕДАНЕЖИСТ

ПРЕДАНЕЖИСТ

ПРЕДАНЕЖИСТ

ПРЕДАНЕЖИСТ

ПРЕСТУПЕНИЯ И РАСКРЫ

ПРЕСТУПЕНИЯ И РАСКРЫ

ПРЕСТУПЕНИЯ И РАСКРЫ

ПРЕСТУПЕНИЯ И РАСКРЫ

ПРЕСТУПЕНИЯ И РАСКРЫ



Валерий Кузнецов

**МЫ ВЕРНЕМСЯ
ОСЕНЬЮ**



Валерий Кузнецов

P2
K K-80

МЫ ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ



ПОВЕСТИ

Красноярское книжное издательство
1986

2 78224



Валерий Вениаминович Кузнецов родился в 1942 году в Нижнем Тагиле. После окончания средней школы работал на мебельной фабрике, служил в армии, закончил факультет журналистики Уральского университета. Работал на радио в Эвенкии (п. Тура).

С 1969 года работает в органах МВД.

Первые рассказы и повести «Семейная хроника», «Ученики Сократа» опубликованы в альманахе «Енисей» (1979, 1985), в приложении к журналу «Советская милиция» (1980), рассказы о декабристах и повесть «Мы вернемся осенью» — в газетах «Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий».

Член Всесоюзного литобъединения «Мужество» при журнале «Советская милиция». Участник зональных семинаров молодых писателей в Москве (1980) и Владивостоке (1982).

За повесть «Семейная хроника» награжден дипломом литературного конкурса Союза писателей и МВД (1980).

Рецензенты:
Л. Т. ИСАРОВА, И. И. СИБИРЦЕВ

К $\frac{4702010200 - 064}{M 147(03) - 86}$ 22-86

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА



СТАТУС
ВСТУПИЛИ
ВНУТРИ

ПРЕПЯТСТВ
ГИМИ
ОБСТОЯТ
СКОЙ СОБСТ
СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
ВОЗЫСКУ БЕЗ
ПРОПАВШИ

...Вызывает также озабоченность состояние дел по розыску без вести пропавших. Управление уголовного розыска следует активизировать эту работу с тем, чтобы выйти по итогам 9 месяцев хотя бы на уровень прошлого года.

(Из доклада начальника управления внутренних дел на служебном совещании)

В кабинете у розыскников накурено — хоть топор вешай. Коллегия закончилась, но у них шло свое совещание. Отбирали перспективные дела.

Виктор вертел в пальцах карточку с номером дела, доставшегося ему, и, наконец, не выдержал:

— Я все-таки, убей бог, не пойму, почему дело Сысоева перспективное? Может, Сысоева и можно найти через месяц. Запросы послать, проверить. Через полгода, там... Но две недели. Ведь я же знаю дело: типичный «глухарь».

— Ну, чего ты по второму кругу начинаешь, — вздохнул старший инспектор. — Легких дел ни у кого нет. Все вместе выбирали. Легкие и без нас раскроют. И потом — тебе самому не надоело жалобщиков слушать: этого не могут найти, того не ищут?

— Как будто их меньше будет, если я Сысоева разыщу, — буркнул Виктор. — Кстати, сожительница его не жалуется, что он потерялся.

— И слава богу. Значит, так: разъезжаемся завтра. И вот что, ребята, — старший инспектор помолчал, — я не говорю, что вы все дела раскроете. Но все, что нужно сделать для этого, сделайте. Ясно?

Итак, Виктору предстояла командировка. Все текущие дела — по боку. Господи! Это ж после командировки все придется наверстывать: запросы, задания, ответы... Заняться Сысоевым. Изучить досконально материалы, имеющиеся на этого человека. Его друзей, соседей, собутыльников. Выработать оптимальную версию. Отработать ее. В райотделе, конечно, не дураки сидят, работу знают. Но что они проглядели? Из сведений о Сысоеве уцепиться не за что: выпивоха, безобидный человек, работал в коммунальском хозяйстве, сожительница — буфетчица. Детей нет. Были, конечно, скандалы, но без крика во дворе и прочей атрибу-

тика, которую как-то можно было связать с последующим исчезновением. Плохо, что он несколько раз собирался уйти из дома. Вполне может статься, что ушел. Тогда где его искать? Год как пропал...

Виктор досадливо поморщился. Глупо вот так мотаться по привычному кругу вопросов, не имея никакой дополнительной информации. Старший инспектор в таких случаях говорил: «Ну, что ты сам себе руки выкручиваешь?» И — точно: пустое занятие. Надо ехать в райотдел. На месте виднее.

Начальник райотдела встретил Виктора настороженно. Просмотрел его план-задание, поднял брови:

— Только из-за Сысоева приехали? И все?

— И все.

— Что — жалоба? Плохо ищем?

— Жалобы нет. А ищите плохо, — кивнул головой Виктор.

Начальник окинул неприязненным взглядом должного представителя управления.

— Вот вы нам и поможете... Розыскник в третьем кабинете. Дело у него. Ознакомьтесь — заходите, поговорим предметно. Впрочем, — он взглянул на часы, — лучше завтра.

Розыскник оказался здоровенным белобрысым парнем, жизнерадостным на вид. Когда Виктор зашел, он как раз откусил от бутерброда и сидел с набитым ртом за столом. Перед ним на газетном листе лежали помидоры, круг колбасы, соль и полбулки хлеба. Парень кивнул головой Виктору — садись, и, продолжая жевать, стал его разглядывать. Виктор открыл было рот, но хозяин кабинета предостерегающе поднял палец, и снова воцарилась тишина. Наконец, с трудом проглотив, розыскник проговорил:

— Ты — Голубь, так? По делу Сысоева? Я — Реук. Извини, столовка закрыта.

С этими словами он снова занялся бутербродом.

«Ну, нахал!» — подумал Виктор, но злости не было. Реук так аппетитно ел, весело поглядывая на него, что Виктор сам сглотнул слюну, хотя недавно обедал.

— Ладно, — будто угадав его мысли, вздохнул Реук. — Руководство можно дразнить, но до определенных пределов.

Он с сожалением посмотрел на оставшийся хлеб, колбасу, помидоры, затем отчаянно махнул рукой, быстро и ловко свернул все в газету и сунул в стол. Жестом фо-

кусника засучил рукава, вытащил ключ, не глядя, ткнул его в бок и, точно попав в скважину, открыл сейф. Так же не глядя, вытащил папку, бросил ее перед Виктором.

— Сысоев Павел Николаевич, тридцать шестого, дежурный слесарь коммунхоза, беспартийный, несудимый. Поссорившись с сожительницей Квитко Лидией Петровной, буфетчицей столовой, ушел из дома 9 августа прошлого года, о чем заявила через месяц его сестра. Данные ее в деле. Принятыми мерами Сысоев не обнаружен. Разработан дополнительный план мероприятий. Розыск продолжается.

Виктор открыл последнюю страницу дела. Это был ответ на запрос из какой-то области. Он пододвинул папку Реуку. Тот покосился на документ.

— Запрос по месту жительства его брата.

— От какого числа?

— Тут написано.

— Вижу, — Виктор закрыл папку, — это было полгода назад, а ты говоришь, розыск продолжается. Картину гонишь? Кстати, тебя не удивляет, что сожительница не заявляла о Сысоеве?

— Раньше удивляло, — улыбнулся Реук. — Первое время, пока ничего не знал.

Голубь сделал вид, что не понял намека, оглянулся.

— Где у тебя можно разместиться, дело посмотреть?

— А вот, — Реук показал на соседний стол. — Напарник у меня в отпуске.

— Значит так: я до вечера с этим делом посижу, ты занимайся своим. Вечером сообразим, что нам предстоит завтра.

Реук, будто не замечая холодного тона Виктора, покачиваясь на стуле, доброжелательно смотрел на него. При последних словах он перестал покачиваться и сообщил:

— Завтра я уезжаю по заявлению.

— Куда?

— На Туркан. Там экспедиционный склад обворовали. Тушенку взяли.

— На сколько едешь?

— Не знаю, дня три-четыре.

— Отпадает, — решительно отрезал Виктор. — Будем работать по Сысоеву.

— Виктор Георгиевич, — Реук пробарабанил по столу замысловатую дробь, — Сысоева за неделю мы

все равно не найдем, а склад тем временем повиснет.

— Другой поедет на Туркан.

— Другой не поедет, — ласково возразил Реук. — Другой в отпуске. В отделе же штатного розыскника нет, а у меня пять заявлений. И ты тут с Сысоевым. Я с одним задом на три свадьбы не успею, ты уж извини.

— Ладно, — буркнул Виктор, — первый тайм за тобой. Вечером продолжим, — и углубился в дело.

Он не заметил, как подошел вечер. В кабинете никого не было. Виктор закурил. В Красноярске все выглядело проще. Здесь возникли и цеплялись друг за друга десятки «но». Попробуй разберись.

Во-первых, Сысоев оказался не таким уж безнадежным пропойцей. Лет пять назад, еще до того, как сойтись с Квитко, он купил пятистенный дом с погребом. Водопровод в огороде — тоже его рук дело. Далее. Ушел от буфетчицы не с бухты-баракты, а получив от нее предварительно полторы тысячи рублей за половину дома. Необходимые документы на владение оформлены примерно в это время на ее имя. Все тут в порядке. Откуда же сложилось убеждение, что Сысоев — пьяница, опустившийся человек? Это надо выяснить. Виктор сделал пометку на листе бумаги.

Сысоев не выписывался, но с работы уволился. Следовательно, он не собирался уезжать надолго. В области у него сестра, но она его не видела. Остальные связи тоже отработаны, кажется, все — нигде не появлялся. Получив деньги за дом, Сысоев еще некоторое время жил с буфетчицей. Почему? Пьянствовал с приятелями (не отсюда ли его характеристика?), жаловался, что чуть ли не клещами вытаскивал у нее деньги. Наконец, 9 августа собрал пожитки, документы и ушел, заявив Квитко, что она о нем еще услышит. Был пьян, пошел в сторону станции. Судя по времени, должен был сесть на поезд, следующий в западном направлении. Все. Впрочем, не все. Через месяц в отдел пришло заявление от сестры Сысоева, которая ездила в поселок и узнала все от буфетчицы.

Вошел Реук. Сел, подперев рукой голову.

— Почему Сысоев пьяница?

Реук пожал плечами:

— Попивать он стал последнее время, когда начал делиться с Лидкой. Левый заработок он любил, а где левый заработок, там водка. Но пьяницей я бы его не назвал. Вот только когда решил уезжать...

— Точно решил? Ты уверен?

Реук улыбнулся:

— Я же местный. Лидку и его знаю, как облупленных.

— Почему они разошлись?

— Почему? Ну, во-первых, ему за сорок, а ей двадцать пять. Что тут неясного?

— А почему сошлись?

Реук задумался.

— Знаешь что, Виктор Георгиевич, у меня предложение: поехали со мной.

— Куда?

— На Туркан.

— Так, — Виктор даже растерялся от такого нахальства. — А ты знаешь, что я сейчас намерен сделать?

— Знаю, — кивнул головой Реук. — Пойдешь к начальнику и попросишь, чтобы кражу на Туркане передали участковому, а меня прикрепили к тебе работать по Сысоеву. Только ничего не выйдет: участковый будет через двое суток, начальник с инспектором БХСС выехали в совхоз, вернутся только послезавтра. И даже если я останусь, мы зря уьем время.

— Почему?

— Сенокос, — объяснил Реук. — Все на сенокосе. Последние дни. Лидки в поселке тоже нет — умелась куда-то. Так что говорить пока не с кем. Зато на Туркане сейчас ошивается один из бывших приятелей Сысоева. Кстати, исчез сразу после него. Не то, чтобы скрылся, нет: появлялся в течение года то тут, то там, но поймать я его никак не мог.

Реук снова взглянул на часы.

— А парень любопытный. Судимый. Работал с Сысоевым. Лидку знает.

Виктор вздохнул:

— Ладно, вроде как уговорил.

— Ну, и слава богу, — расцвел Реук. — Двадцать минут осталось, — и, видя изумленное лицо инспектора, объяснил: — Я говорю, до отхода катера на Туркан двадцать минут осталось. Геологи туда должны везти кино и прочее там... А сопровождать у них некому. Ну, я и сказал, что мы вдвоем сопроводим. Туда только раз в неделю катер ходит...

— Ну, ты нахал, брат, — изумился Виктор. — Не обижайся, но я таких нахалов не видал еще.

— Все зависит от точки зрения, — скромно возразил Реук. — Ты баульчик оставь — на Туркане все, что нужно, есть. Иди к пристани, это метров триста по улице. А мне еще моториста найти надо.

— Ты что, издеваешься? Какого моториста?

— Виктор Георгиевич, — Реук выразительно прижал руки к груди, — геологам этот Туркан до лампочки. Толь и кино они и через месяц туда завезут. Но нам-то там надо быть или нет? Уходить будешь — дверь прихлопни сильнее.

И, не дождавшись ответа, исчез.

Подойдя к пристани, Виктор обнаружил Реука уже на катере, отчаянно ругавшегося с мотористом. По залитым водой мосткам Виктор осторожно перебрался на катер.

Реук сидел, удобно развалившись. Темная вода мерно плескалась в борт. Виктор уселся рядом и огляделся. Солнце плыло над сопкой, все еще по-летнему жаркое и ослепительное, но от воды тянуло уже холодом. Виктор поежился, представив, как бесшумно и быстро подойдет осень и на реке станет холодно, нелюдно. Благоуханная жаркая тишина в тайге сменится шорохом от постоянно падающих капель дождя. Бр-р!

Реук достал откуда-то плащ и передал Виктору:

— Накинь!

— Зачем? Тепло же!

— Когда пойдем, похолодает. И потом, видимо, будет дождь... Так, мы остановились на Лидке. Девушка бывалая, но товарный вид имеет. Почему сошлась с Сысоевым? Сысоев был надежный мужик. Он из совхоза пришел, а там — школа. Нужен тракторист — садись на трактор, нужен сварщик — иди, вари. Все мог делать, но левый заработок любил. Дом у него свой, денег, как пшена. Ей в нос и ударило. Ну, а когда пожила... Сысоев что? С работы на халтуру, с халтуры на работу. В перерыве бутылку с друзьями шарахнет и снова по кольцу. А Лидка, выходит, ему для удовольствия, вместо бутылки. Эта жизнь не по ней. Ей вторых ролей не надо. Да и в угоду Сысоеву поститься она не будет. Вот, видимо, отсюда у них семейный механизм и стал люфтить. Сысоев оставил дом, деньги она ему отдала, и разбежались.

— Откуда деньги?

— Деньги-то? Семья ее помогла. Она, Лидка, балованная, а старики у нее в достатке живут. Ну, и, конечно, новый ее ухажер тоже поспособствовал. Он как раз здесь

появился, когда она в Сысоеве разочаровалась. Он осетин, что ли, хотя по паспорту русский, Оергеев Михаил Арканович.

— Проверял его?

— Да, судимостей нет. С Лидкой живут хорошо. Она им довольна во всех отношениях.

— Говоришь, будто у них дома жил, — улыбнулся Виктор.

— Деревня, — пожал плечами Реук. — Все про всех знают.

— Да, — протянул Виктор. — Порассказал ты на целый роман. Главное, все просто, понятно.

— Стараемся, работаем, — потупил глаза Реук.

— Вот только одно непонятно, куда Сысоев девался?

— Скорее всего его уже нет в живых. Год прошел...

— Это я без тебя знаю. Я говорю о том, куда он собрался ехать. Ведь не выписывался. Он не преступник, не бродяга, ему не надо было замечать следы. Понимаешь? Он поехал куда-то недалеко с тем, чтобы вернуться. Куда?

— Господи, к сестре! — взорвался Реук. — У него в кармане было полторы тысячи. При его образе жизни в последнее время свободно мог напиться с кем угодно. По дороге убили и обобрали...

— Труп сожгли и по ветру пепел развеяли? Чего ты кричишь? Он к станции пошел. На поезд. Если бы так случилось, его через два-три дня под откосом обнаружили. Ты куда?

Реук нелепо взмахнул рукой, перевернулся на бок и исчез за бортом. В тот же миг Виктор проехал задом к рубке и больно стукнулся головой о какой-то крюк. Мотор стих, были слышны только шлепки волн о борт катера. У борта показалась мокрая голова Реука, отфыркиваясь, он подтянулся на руках и перевалился на палубу. Снял туфли, вылил из них воду. Грустно посмотрел на Виктора.

— Что случилось? — спросил Виктор.

— Ничего особенного. Моторист неопытный, добросовестно держался левого берега, как я ему сказал, и залез в устье какой-то речки, мы на мели. Сейчас попробуем слезть.

Реук нырнул в рубку. Минуты две там раздавались громкие голоса, затем появился моторист, следом Реук.

— Понимаешь, ему показалось, что здесь остров, и он решил обойти его с левой стороны, — торжественно

провозгласил розыскник и, обращаясь к мотористу, про-рычал: — Иди в рубку, чудо самоварное, и моли бога, чтобы нам сняться с мели до ночи.

Сняться не удалось, и им пришлось по пояс в воде выгружать толь на берег, затем искать достаточно глубокое место, чтобы катер мог подойти ближе, и снова загружать его толем, теперь уже по горло в воде. Закончив работу, все залезли в крошечную рубку. Реук встал рядом с мотористом. Виктор уместился тут же, и катер осторожно двинулся вниз по течению. Сквозь редкую сетку начавшегося дождя с трудом угадывались очертания берега. Виктор задремал. Он слышал постукивание мотора, голос Реука, потом все пропало, и ему показалось, что он поднимается вверх и плывет по воздуху, не касаясь пола. Потом снова послышались стук и шум, Реук снова что-то говорил ему, помог подняться. В темноте они сошли на берег.

— Что это? — спросил Виктор, ему страшно хотелось спать.

— Туркан, — ответил Реук, — сегодня переночуем у одной бабки, а завтра с утра на лодке переправимся на ту сторону и будем на месте.

— Так партия не здесь?

— Нет, на той стороне, километра три по лежневке.

Они подошли к какому-то дому. Реук зашел в дом и через некоторое время позвал Виктора с мотористом. В комнате было тепло, даже жарко, пахло березовыми дровами.

— С ума сошла бабка, в августе топить, — гудел где-то голос Реука. Он ходил и распоряжался, как у себя дома, отвел куда-то моториста, потом тронул за плечо Виктора: — Пошли.

Тот послушно прошел за ним к койке и стал разуваться.

— Бабка, где у тебя горлодер? — снова послышался голос Реука. — Тащи его сюда, не то простужу начальство, всю жизнь в лейтенантах придется ходить, а у меня звание на подходе.

Старуха подошла со стаканом, дала выпить что-то похожее на водку со свежим привкусом смородины.

— И впрямь, что ли, начальник ты ему? — полюбопытствовала она.

— Слушайте вы его, — пробормотал Виктор, — товарищи мы по работе.

— Не местный, поди? Я их, местных-то, всех знаю, фамилия как?

— Нет, не местный, — уже сквозь сон проговорил Виктор. — А фамилия — Голубь.

— Ишь ты, — улыбнулась старуха, приняв стакан. Она укрыла Виктора одеялом, что-то приговаривая.

— Что вы, бабушка?

— Это я так. Ничего. Спи, голубь, спи.

И он заснул...

2

Сдача «единого» идет успешно! За последнюю семидневку собрано сельхозналога по Ачинскому уезду на 84 173 рубля (с начала кампании на 416 320 рублей)...

(Из газеты «Красноярский рабочий» за 17 января 1925 года)

12 января возле поселка Березовка в лесу совершено разбойное нападение на почту, похищено 46 000 рублей, сопровождающие убиты...

(Из оперативной сводки по Сибкраю за 1925 год)

— Голубь! Голубь! Оглох, что ли? К Васильеву! Сейчас, сразу, он просил.

Начальник Ачинского угрозыска Тимофей Голубь кивнул кричавшему и стал пробираться к выходу из зала. Съезд начальников милиции только что закончился, все громко переговариваясь, поднимались с мест.

Голубь добрался до подотдела за 15 минут и зашел в кабинет, где полгода назад его утвердили начальником угрозыска. Начальник подотдела Васильев, высокий, плотный мужчина лет сорока, в военной гимнастерке, перетянутой ремнем, пригласил его сесть.

— Сводку читал?

— Читал. Вы разбой имеете в виду?

— Нет, — Васильев перегнулся и показал Голубю отчеркнутое красным карандашом место. — Читай.

«Банда Брагина передислоцировалась из Балахтинской волости. По имеющимся сведениям, он направился в сторону Красноярска...»

— Я сам эту сводку готовил, — проговорил Голубь.

— Когда?

— Неделю назад.

— С тех пор что о Брагине слышно?

Голубь пожал плечами:

— Да, слава богу, тихо. Последний раз, когда он записки написал в Трясучую, Курбатово, Парново, ему мужики насобирали денег, не по тысяче рублей с деревни, конечно, но прилично, и он затих.

— А ты где был?

— Арсений Петрович, что я сделаю? У меня в городе работы не продохнуть. Грабежи замучили, вон, даже в «Красноярском рабочем» по нам проехались. Теперь какой-то взломщик объявился, квартир шесть уже полетело. А на вокзале не знаю, что со «скрипушниками» делать: чистят пассажиров. В Балахте Подопригора есть, вот пусть и посет Брагина.

— Ох и дипломат ты, Тимофей, прямо Чичерин. Подопригора меньше твоего работает. Кстати, в Балахту его вместо Жернявского кто рекомендовал, не ты ли?

— Ничего себе рекомендовал, — буркнул Голубь. — Форменный грабеж был... теперь я без стола приводов. Сидит там у меня плашкет — ни два, ни полтора. А у Сашка все горело, даром что молодой. Ну, чем я виноват, что какая-то ворона в Балахте поставила начмилем белого офицера?

— Но-но, полегче насчет ворон, — посоветовал ему Васильев. — А коль уж Подопригора твой бывший подчиненный да еще и корешок закадычный, так и держи с ним связь. А то вы Брагина, как худую курицу, гоняете: один шуганет со своего огорода и сидит довольный, пока второй за ним бегаёт.

— Да неправда...

— Молчи уж! Ты, к примеру, знаешь связи Брагина по Ачинску?

— Что ему в Ачинске делать? — изумился Голубь. — Он же из Парново, вся родня там.

— Для чего же он тогда к Красноярску подался? Ачинск-то ближе, милиция послабже, грабь — не хочу.

— Не знаю.

— Плохо, — Васильев пристукнул ладонью. — Езжай к себе, вызывай Подопригору, что хотите делайте, но по Брагину должна быть ясная картина. Отработайте причастность его к Березовке!

Голубь поерзал:

— Вряд ли это он. Мелковат для такого дела. Кооперацию или мужика грабануть, девку испортить — это Брагин. А такие деньги... У него ума не хватит.

— Это не ответ, — нахмурился Васильев. — Нужны факты. У нас все банды отрабатываются по этому разбою. Понял? Все подними, что можно. Каждого человека проверь. Из Сибкрая звонили. Косиор! Дело у него на заметке. Деньги-то знаешь какие? Продналоговские деньги. Кстати, везла их почта в Ачинск, к вам. Чуешь?

— Ясно, — вздохнул Голубь. Он поднялся, невысокий, сухощавый, погладил мягкие черные усики и вдруг улыбнулся.

— Ты чего? — удивился Васильев.

— Так. Везучий я на пендели. Яркина задержали — красноярский. Скобцева — тоже ваш. А все наша уголовка «плохо работает».

— За Скобцева спасибо. Яркина вместе задерживали. Так что не плачься. Парень ты хороший, но за работу спрошу. Иди.

Васильев посмотрел ему вслед и тоже улыбнулся: он вспомнил кличку Голубя среди блатных — Хакасенок. Голубь редко повышал голос, никогда не грозил, не пугал. Но воры знали: если Хакасенок вцепится, срок обеспечен. И они боялись этого невысокого худенького парнишку с монгольским разрезом глаз и мягкими черными усиками.

В Ачинске Голубь первым делом вызвал Подопригору из Балахты. Тот приехал на вторые сутки. Они долго обсуждали задание Васильева. Подопригора крякал, возмущенно хлопал себя по колену, кричал, что «той проклятый бандюга» надоел ему «гирше смерти», что он, Подопригора, только им и занимается день и ночь. Однако на вопрос, можно ли установить его базу, ответил кратко:

— Невозможно.

— Так, — Голубь внимательно посмотрел на Балахтинского начмиля. — Тогда скажи мне, Саша, куда ушла банда? Не в Красноярск?

— Бис его знает, — почесал бровь Подопригора. — Бачили Брагина недели три тому в Парново. Заходил к сродному брату. Шуму не было. Самогону попил и уехал. При коне был, и еще двое конных на краю села ждали его.

— А с местным кулачем связи есть у него?

— Нет, — покачал головой начмиль. — Я сам об

этом думал. У нас там два заводилы: Кутергин и Мячиков. Главное, он их раньше хорошо знал. А вот не встречается.

— Слушай, а почему нельзя его базу найти?

— Так я же толкую: это такой бандюга ушлый. Первое дело: ни с кем, кроме родни, не якшается. Куда награбленное деваает, — неизвестно: мануфактура, кони — ничего этого у нас не появляется. Имею думку, что где-то у него умный человек есть. Почему так говорю? Он кооперативные лавки берет только с товаром, пустые не трогает. Так что это — два.

— А три?

— Три? — Подопригора крепко потер шею. — Был у меня пасечник один. Через него я знал кое-что о движении банды. Так Брагин, подлюка, его белым днем убил. Пасечник за каким-то делом в сельсовет шел. Откуда ни возьмись — конный чешет. Поравнялся с ним, выстрелил — и дальше. Даже не оглянулся. Полагаю, сам Брагин это был. Он такие фокусы любит. И стреляет, как артист, с любой руки.

— Жалуешься?

— Не жалуясь. А только люди видят, что Брагин — сила. И боятся той силы, чуешь? А я один на всю волость с двумя милиционерами. Только и чести, что начмилъ.

Вошел Коновалов, начальник секретной части.

— Тимофей Демьянович, шибко занят?

— Что случилось?

— Шпилькин в Ачинске.

— Что? — Голубь привстал. — Где? Задержали?

— Упаси бог. Проводили до дома. Я человека там оставил. Стрелкова.

Подопригора поднялся:

— Ну, я пойду. Вам тут теперь без меня забот будет, Парикмахер зря не приедет.

— Куда пошел! — рассердился Голубь. — А ну, садись! Что с Брагиным делать будешь? Или опять за тебя от Васильева получать по ушам?

Подопригора покачал головой:

— Ох же, ты язва, Тима, ох и язва! Скажи тебе, что я собираюсь делать — ты же потом печенку проешь. Есть у меня думка, если поможешь.

— Чем?

— Людьми. Человека мне надо надежного.

— Не темни.

— У Брагина сестра живет в Балахте. Молодая дев-

Красноярская краевая
учная библиотека

ка. Самогонщица — спасу нет. Так я что думаю: с твоими людьми я организую обыск, изымаю всю музыку, и мы с треском и шумом везем ее к вам, в Ачинск. Что тут будет — неважно, может, штрафом отделается. Ты главное — время потяни. Если Брагин узнает, что она задержана и отправлена в Ачинск, он либо сам приедет, либо человека пришлет. А я, конечно, все там на ноги поставлю. Ты жди. Если тебе передадут привет от Бондаря, значит, гонец от меня. Ну, кого даешь?

— Жукова.

— Жила ты, — вздохнул Подопригора, — хоть Стрелкова еще дай.

— Перебьешься. Ступай.

Подопригора пожал ему руку, подмигнул Коновалову и вышел. Начальник секретной части посмотрел ему вслед:

— Из Сашки начмилъ, как из меня шпагоглотатель.

— Почему? — поинтересовался Голубь.

— Виду нет, — туманно пояснил Коновалов.

— Зато у тебя видок, — неприязненно проговорил Голубь. — Вчера опять у Черемухи на «малине» был?

— Был, — спокойно ответил Коновалов. — Вчера я у нее был, сегодня она у меня сидит. Душевно беседуем.

— Для этого дела работники у тебя есть, — сухо промолвил Голубь.

— Жукова ты Подопригоре отдал, — невозмутимо парировал Коновалов, — вместо убитого Неверковича какого-то гимназиста взял, у остальных по пять темных каждый день...

— Хватит. Чтобы я тебя больше ни на одной «малине» не видел. Нечего с блатными в демократию играть. Тоже мне, явление Христа народу. Смотреть тошно было.

— Так ты тоже там был? — удивился Коновалов.

— Меня никто не видел. Давай, что по Шпилькину.

Шпилькин, в прошлом действительно парикмахер, был известен среди воров, как «пасер», «барыга», «темщик» — скупщик и сбытчик краденого. В период колчакщины он был приговорен к расстрелу за фальшивомонетничество и этот факт своей биографии всегда патетически и многословно излагал при очередном задержании. Уже после изгнания Колчака он проходил по делам фальшивомонетчика Браницкого и бандита Китаева, приговоренных к расстрелу. Сам Шпилькин тогда отделался сущими пустяками. И вот он появился в Ачинске. Зачем?

— Хорошо, — Голубь вздохнул. — Готовь депешу в

подождал. Может, у них что есть по Парикмахеру. А пока — водить его, куда бы ни пошел. Упаси бог, если заметит.

В коридоре послышался шум, в дверь ввалился Стрелков. Тяжело дыша, проговорил:

— Тимофей Демьянович, здравствуйте. Я Шпилькина привез.

Голубь некоторое время непонимающе смотрел на него:

— Ты с ума сошел?

— Так если он на поезд садился! — отчаянно крикнул Стрелков. — Я что должен был делать?

— Где он?

— В камере. Сейчас его обыскали и в саквояже деньги нашли. Три тысячи без мелочи.

Когда Коновалов с работниками вернулся с обыска квартиры, где останавливался Парикмахер, было уже поздно. Выслушав Коновалова, Голубь велел привести Шпилькина.

Парикмахер сидел на стуле согнувшись и обхватив руками голову, мерно покачивался.

— Михаил Аронович, — Голубь закрыл саквояж, который он рассматривал, и убрал его со стола, — откуда у вас эти деньги? Вы слышите меня?

Шпилькин перестал качаться и устало опустил руки. На вид ему было лет пятьдесят. Длинный красный нос его блестел, глаза смотрели печально. Он прерывисто вздохнул и грустно проговорил:

— Откуда у вора могут быть деньги, гражданин Голубь? Вы такой умный на вид молодой человек, а спрашиваете такие глупости. Конечно же, украл.

Голубь подперся кулаком. В Красноярске им читали тактику допросов по материалам уголовных дел Шпилькина.

— Зачем же вы украли их?

Шпилькин высморкался и, аккуратно свернув и спрятав платок, так же грустно объяснил:

— Я начал воровать, гражданин Голубь, когда ваши мама и папа еще не знали, что из вас получится — мальчик или девочка. Я воровал при Николае Втором, при Керенском, при Колчаке. Почему я должен делать исключение для вас? Кстати, если вы меня так хорошо знаете, что называется по имени-отчеству, вам должно быть известно, что при Колчаке я был приговорен к расстрелу...

— Я знаю, Михаил Аронович, — перебил его Голубь, — я спрашиваю не об этом. Я говорю: зачем вы украли именно эти деньги?

— А в чем дело? — удивился Парикмахер. — Почему их нельзя украсть? Чем они лучше других?

— Эти деньги были собраны в счет единого продовольственного налога.

— Ца-ца-ца! — старик протестуя поднял руки. — Только ради бога не берите меня на пушку, гражданин Голубь. Налоги-облоги... Я обыкновенный вор. А вы мне, старому человеку, шьете какую-то политику? Не делайте мне больно за вашу пронизательность, гражданин Голубь, честное благородное слово.

— Ну, хорошо. Расскажите, где вы украли эту сумку.

— Пожалуйста, — с готовностью согласился Парикмахер. — Все очень просто, как в арифметике Пупкина с картинками. На станции Зелеево стал сходить какой-то «пиджак». Он слез с двумя чемоданами, а этот саквояж остался в тамбуре. Пока он вошкался с чемоданами, я взял саквояж и захлопнул дверь. Тут дали свисток, и я помахал «пиджаку» рукой.

— А свидетели?..

— Не было, — кивнул Шпилькин.

— Ловко!

— А вы как думали, гражданин начальник, — покачал головой Шпилькин, — что я вам поколюсь, как сопливый фраер? Я все сказал. Хотите — проверяйте, хотите — верьте на слово. В последнем случае можете делать с деньгами, что угодно. Вы думаете, если Шпилькин еврей, так он будет плакать за этими бумажками? Ради бога, за свою жизнь...

— Михаил Аронович, а почему дочь хозяйки дома, где вы остановились, называет вас отцом?

Парикмахер не изменился в лице. Он смотрел мимо Голубя на стену, и только рука на колене у него мелко-мелко затряслась.

Голубь поднялся:

— Уже поздно. Завтра увидимся. Подумайте пока.

— А вы злой человек, гражданин Голубь, — прошептал Шпилькин. — Вы хотите, чтобы я до утра мучился?

Голубь сухо ответил:

— Те, кого вы убили в Березовке, тоже имели детей...

— Я пасер, а не мокрушник, — глядя перед собой,

криво усмехнулся Шпилькин. — Учите блатную музыку. Впрочем, делайте вашу работу. — Он привстал и, подойдя к Голубю, сказал: — Каждый должен делать свою работу. Этот порядок не нами установлен. Но если бы вы знали, молодой человек, как бы я хотел жить здесь с Лией и работать портным! И, может, даже вы ходили бы ко мне в гости. Мы бы пили с вами самогон и играли в карты. А Лийка бы делала вид, что вы ей — пустое место. Сколько вам лет?

— Двадцать один... — растерялся Голубь.

— Вот видите? Только никогда я не буду портным, а вы женихом моей дочери. Да, я плохой человек, безнадежно плохой. Меня не перевоспитаешь, гражданин Голубь, меня можно только уничтожить. Но неужели вы думаете, что через 20—30 лет в мире не будет плохих людей? Извините меня, вы голодранец, гражданин начальник. Вы не видели денег достоинством больше червонца. Вы презираете деньги, еще не научившись ценить то, что они дают. — Шпилькин понизил голос до шепота. — Вы подозреваете меня в убийстве. А сами повесили эту дуру в кобуре для форсу? И никогда не убивали из нее живых людей? Я же помню вас в ЧОНе, гражданин Голубь. Вы меня не помните, так как были увлечены облавой, а я помню. Откуда мне тогда было знать, что сегодня вы так дешево купите меня? Почему никто не сказал мне тогда об этом. Господи, ведь я же просто убил бы вас! — он опустил голову и, покорно заложив руки за спину, вышел в коридор.

* * *

Голубь вернулся в кабинет и увидел Коновалова. Тот ждал его. Тимофей сел на подоконник, стал смотреть в черное оконное стекло, в котором отражалось пламя горящей керосиновой лампы.

— Сорвалось?

Голубь кивнул.

— Кстати, — Коновалов покрутил головой, — дом этот на двух хозяев. Во второй половине бабочка живет, Серова. Оказывается, любовница Жернявского. Ну, того, бывшего начмилы, помнишь?

Голубь посмотрел на него.

— Нет, нет, — успокоил Коновалов. — Он тут ни при чем. Эта хозяйка, родственница Шпилькина, что его

дочку воспитывает, никаких контактов с ней не поддерживает. На дух ее не переносит. Та ей платит тем же.

— Красивая? — поинтересовался Голубь.

— Что? — Коновалов сплюнул. — Если на карточку снять да корове показать, та месяц к сену не подойдет. Правда, в теле — что есть, то есть.

Голубь опять уставился в окно.

— А девчонка ничего не знает об отце, — меланхолично продолжал Коновалов, — так что с этой стороны тоже не подобраться. В квартире чисто...

— Деньги у Парикмахера с налета в Березовке, — упрямо сказал Голубь. — Это самый крупный налет за последнее время.

— Что делать будем?

— Отправим в Красноярск. Пусть проверяют. Завтра подробно допросим и отправим.

* * *

— Пусть проверяют. Парикмахер не расколется. Жаль денег, что у него взяли. Ну, ничего, я сидеть под лавкой не буду. Не для того в такую даль тащились.

— Вы пьяны, Василий Захарович, и не в состоянии трезво оценить положение. Взгляните на календарь: на дворе двадцать пятый год. Миндальничать с вами, как с Соловьевым, не будут. Если вам до сих пор удавалось безнаказанно трясти кооперативные лавки, это совсем не значит, что ваша шалость в Березовке прошла незамеченной. Просто уголовный розыск, видимо, не допускает мысли, что вы с вашими копеечными запросами вдруг в состоянии совершить такой налет, причем вдали от своих баз. И я вас просто умоляю: успокойтесь, посидите тихо месяц.

Этот разговор происходил примерно через неделю после задержания Шпилькина, в старом деревянном домике, на краю Красноярска. Беседовали двое. Один, молодой, развалился на лавке у стены. Лицо его было красным, обветренным. Он говорил лениво, рассматривая перстень на мизинце, иногда поправляя им щегольские черные усики. Это был Брагин. Его собеседник, высокий худощавый мужчина лет сорока, сидел напротив него на стуле. Звали его Роман Григорьевич Жернявский. По мере того как Жернявский говорил, Брагин все чаще касался своих усов перстнем, усмехаясь при этом. Но усмешка была злой:

Брагин чувствовал издевку в участливом голосе собеседника. Наконец, не выдержал.

— Ты со мной так не говори, — продолжая напряженно усмехаться, проговорил он и вдруг выкрикнул. — Ты что, начальник надо мной? Я скажу тебе, кто ты. Давно хотел сказать. Наводчик! И свое место должен...

Тот двинул его кулаком в лицо, не вставая со стула, Брагин ударился головой о стену и тут же получил второй удар — в живот. Жернявский, не спеша, поднялся и, подождав, когда Брагин разогнется, снова ударил. Бандит рухнул на пол. Жернявский обошел его, примерился, несколько раз пнул. Потом сел, опершись руками о колени. Наконец, Брагин, постанывая, поднялся на четвереньки. Жернявский вздохнул:

— Да... Я еще в Ачинске заметил за вами это желание выяснить отношения. Повода не было поговорить. Вы, Василий Захарович, обуяны гордыней. А между тем без меня вы — ноль. Когда я по недоразумению попал в начмили, вы только начинали шарить в крестьянских телегах и бабьих юбках. Двадцать раз я мог сдать вас большевикам или застрелить, по своему выбору. Когда меня вычистили из начмилей и я занялся бухгалтерией, вы получили от меня точные сведения о том, когда, куда и какой будет завезен товар. Я ни разу не ошибся. Комиссионные я брал самые скромные. Наконец, кто сообщил вам о собранном продналоге? Кто вам выправил документы на Лабзева, чтобы вы со своею любовью к копеечным эффектам не засыпались здесь в первый же день? Кто посоветовал обратиться к Парикмахеру, чтобы обменять облигации? Вы ведь даже не знаете, что государство разрешает крестьянам уплачивать налог облигациями, пуская их затем снова в оборот. Вы и понятия не имеете о том, что этой простой операцией большевики, с одной стороны, стабилизировали конъюнктуру внутреннего рынка, избавив крестьян от необходимости продавать продукты по сниженным ценам для уплаты налога, а с другой — вернули в обращение огромные средства, которые крестьяне все для того же продналога раньше копили по кубышкам. Для вас это темный лес. Только благодаря мне у вас не было никаких хлопот с облигациями, если не считать последнего случая, когда Шпилькин засыпался с партией вырученных денег.

Брагин, кривясь, потрогал разбитое лицо.

— Теперь вы хотите наследить, как наследили во время налета, взяв, вопреки моим возражениям, этих местных

лопухов в налет да еще прихватив пулемет Шоша? Вы можете на меня обижаться — дело ваше, но, ей-богу, бил я вас ради вашей же пользы...

— Ничего, — прошептал Брагин, — я сквитаюсь...

— Василий Захарович, видимо, вам голова недорога. В таком случае или я уйду, или перестаньте размазывать сопли и отвечайте по существу.

— Не пугай, — угрюмо проворчал Брагин. Он, кряхтя, поднялся, проковылял к умывальнику и обмыл лицо. Оглядел себя, стряхнул пыль с брюк. — Где ты так драться выучился?

— Ну вот, — улыбнулся Жернявский, — нормальный человеческий вопрос. Но, по-моему, сейчас важнее решить другое: что вам нужно сделать?

Брагин присел за стол, налил самогонки и выпил.

— Ну, и что нужно сделать? — спросил он, морщась и осторожно прикасаясь рукавом к разбитой губе.

— У вас задержана сестра в Ачинске?

— Подопригора, подлюка, работает. Убью, гада...

— Да. Мой преемник горячо взялся за дело. Но это хитрость, достойная азиатов. За самогоноварение ей вряд ли грозит что-либо, сейчас это делают все. Видимо, они вас потеряли и рассчитывают, что, узнав об аресте сестры, вы подадите весточку о себе.

— Подам, я им подам...

— Подадите, но не так, как вам хочется. Это пока, повторяю, отменяется.

— Говори ладом, черт тебя сунул мне!

— Вы отправите в Ачинск человека, — заметив недоумение, Жернявский улыбнулся, — да-да. К Голубю. Он хочет знать, где вы? Он узнает это из первых рук.

3

Голубь шагал по старым, поросшим кое-где травой бревнышкам лежневки. Он поглядывал на веселую от утреннего солнца, влажную после ночного дождя траву и чувствовал, как понемногу исчезает тупая усталость от бессонной ночи. Запахи нагретой солнцем смородины, хвои, травы кружили голову. Сзади, за верхушками деревьев, блеснула река. Реук, шедший впереди, сошел с лежневки и, стоя по колено в траве, обирал смородину. Голубь присоединился к нему. Красные кисло-сладкие ягоды приятно

освежали. Голубь бросил в рот полную горсть и аж передернулся:

— Ух, хорошо!

Реук подмигнул:

— А я что говорю? Приедешь в свой закопченный Красноярск — ты что, кабинет мой будешь вспоминать, розыскное дело? Нет, брат, ты эту лежневку вспомнишь. Путешествие на катере, горлодер бабкин...

— А кто она такая?

— Так, вроде родственницы мне.

— Да, воспоминаний будет хоть отбавляй. Особенно, если Сысоева не разыщем. Только воспоминаниями и придется утешаться.

Реук, выбирая на ладони ягоды, философски заметил:

— Я все-таки так думаю, Виктор Георгиевич, что торжество истины во многом зависит от того, кто ее защищает. Вот говорят, что теоретически любое преступление можно раскрыть. Но как — вопрос. Один засучит рукава и начнет все крушить. Может, он добудет истину, может, нет, но дров точно наломает. Другой тут тронет, там покопает, здесь качнет...

— Не боишься, что прокиснет твоя истина, пока ты подкопы делаешь?

— А ты не злишь. Я ведь не маленький, понимаю. Ты за эту неделю должен что-то сделать. А что? Конечно, переговорить со всеми. Мнения о людях составить, верно? Но взгляни на это с другой стороны. Прошел год, человека нет, вдруг приезжают из края и снова всех опрашивают. А может, среди них тот, кто знает, где Сысоев? Может, ему неохота вспоминать, где он?

— Для этого ты меня и увез? — усмехнулся Голубь.

— Не только для этого. Ты вот давеча сказал, я картину кручу, полгода розыском не занимаюсь. Но у меня ведь действительно неоткуда больше взять информации. А этот парень, что сейчас в партии, — единственный, с кем я не работал. Скажет он то же, что другие — и все?

— Ну и дальше?

— Очень осторожным сейчас нужно быть, Виктор. Не на сроки ориентироваться. Он сейчас что угодно сказать может. А нам нужно, чтобы он сказал правду.

— Понял я тебя. Не бойся, — Виктор покачал головой. — И все-таки зря ты всю эту конспирацию разводил. Сидеть нам тут неделю, не меньше. С парнем этим ты бы и без меня поговорил, а я бы тем временем по поселку

помотался, хоть на Лидку посмотрел. Что-то больно интересная баба с твоих слов вырисовывается...

— А ты ее видел.

— Когда?

— Сегодня утром. Помнишь, мы к пристани подходили? Она на «Прогрессе» как раз отчаливала.

— Чего ж не сказал? Теперь вспомнил. Куда ты убежал тогда?

— Звонить. Ты не волнуйся, за Лидкой присмотрят. Будет ли толк, не знаю, но присмотрят... Ну, вот и пришли. Ого! Встречают, как положено. И завскладом тут. Обрати внимание. Самый влиятельный человек. Он недавно чешские палатки получил. Оранжевого цвета и, представь: в тайге сумерки, солнце садится, а в палатку зайдешь — читать можно. Так его сейчас все директора совхозов обхаживают. Как Шехерезаду.

«Шехерезада» имела обличье пятидесятилетнего тощего старика. На лице выражение нахальства непостижимым образом сочеталось с подобиострастием, только глубоко посаженные обезьяньи глаза внимательно и грустно смотрели.

— Да что же это, товарищ Реук! — высоким фальцетом закричал завскладом, подбегая и тряся руку инспектору. — Это сумасшедший дом какой-то, — продолжал он, пожимая руку Виктору, — Калифатиди!

— Что? — не понял Виктор.

— Я Калифатиди. Непонятно? Фамилия моя такая.

— А-а, — Виктор сообразил, что ему предлагают представиться. — Голубь.

Калифатиди поднял брови. Реук вмешался:

— Он действительно Голубь. Это мой приятель.

Калифатиди предупредительно замотал головой.

— Понятно. Очень понятно. Голубь, приятель — и больше ничего. Так вот я говорю, что если вы приехали отдохнуть, товарищ Реук, то у вас ничего не выйдет. Я-то думал, что нет ящика, двух, а тут...

— Спокойно! — Реук поднял ладонь. — Пойдем тихо и мирно. По дороге все расскажем.

Дело было действительно серьезным. Калифатиди, сообщив о краже двух ящиков тушенки, закрыл склад и стал ждать милицию.

— Но вчера вечером, товарищ Реук, приехали люди из шестой партии и пристали с ножом к горлу. Я понимаю, что до вас ничего нельзя трогать, но надо же вхо-

дить в положение. Это вам не ложки-матрешки. Это базовый склад, людей надо кормить. Я подумал: для шестой партии у меня отложены ящики, ничего не будет плохого, если я отпущу им, тем более, это совсем в другом углу. Мы все это оформим актом. Господи, лучше бы они не приезжали!

— Не хватило ящиков с тушенкой?

— Ха! Если бы не хватило! Там вместо тушенки был зеленый горошек. Наклейку сняли и решили, что Калифатиди можно провести. У меня ноги подкосились, когда я увидел ящики с этой липовой тушенкой.

— Замки, окна?

— Все цело, как у невесты перед брачной ночью! Я боюсь заходить в склад. У меня такое чувство, что мы сейчас придем и найдем одни стены.

Лежневка кончилась. Они прошли по доскам через маленькую речушку. Улучив минуту, Реук шепнул Голубю:

— Парень, который нам нужен, — Товарков Сергей. Кличка — Капитан. Курит трубку. Борода у него приметная — рыжая, типа шкиперской.

— Понял, — кивнул Голубь.

Недалеко от склада он немного отстал от них. Когда Реук с Калифатиди и понятыми зашли в склад, Голубь присел на чурбачок. Возле двери стояло человек семь рабочих. Товаркова среди них не было.

Склад представлял из себя рубленую избу, поставленную на столбы. Снизу стены избы обшиты досками, но кое-где зияли дыры. Чердачная дверь на крыше не имела замка, лестница была тут же. Если пол не капитальный, можно проникнуть снизу, если потолок не засыпан — сверху.

«Вот тебе и невеста», — усмехнулся Голубь, вспомнив сравнение темпераментного завскладом.

Метрах в двадцати от склада стояла большая палатка, видимо, общежитие рабочих. Голубь знал эти палатки — в армии сам жил в таких: пол дощатый, стены — тоже, по периметру присыпаны землей. Под полом должно быть пустое пространство. Если попробовать взглянуть...

Когда Реук с завскладом, закончив осмотр, появились в палатке, они увидели там необычную картину: пол в углу был разобран, Голубь сидел на табуретке и внимательно одну за другой рассматривал банки с тушенкой,

которые ему подавал кто-то снизу. На кровати недалеко от него сидели двое понятых.

— О! — обрадовался Голубь при виде Реука. — У меня дактопленка кончилась и не на чем писать протокол. Помогай!

Вечером они сидели у завскладом. Пошарив под кроватью, Калифатиди вытащил бутылку коньяка и торжественно поставил ее на стол.

— За что будем пить? — осведомился Реук.

— За мастерство! — с пафосом произнес завскладом. — Вы мастер, товарищ Голубь! — и повернулся к Реуку: — Вы тоже.

Реук поклонился ему.

— Николай Егорович, — спросил Голубь, возвращая бутылку Калифатиди, — зачем похитителям нужно так много тушенки?

Завскладом недоуменно повертел бутылку в руках:

— А почему вы спрашиваете у меня? Ну — на Туркане продать местным жителям... обменять на водку... Такие случаи были в партии. Но какое это имеет значение? Вы же попали на след?

— Продавать жителям тушенку рискованно, да и смысл какой? Деньги? Скоро конец сезона. Зарботки здесь — дай бог нам с вами. А водку можно достать только в магазине. Там что, нет тушенки?

— Откуда? — Калифатиди безнадежно махнул рукой. — У них же другое снабжение. Они получают тушенку только к зиме.

— Значит — продавец? — Голубь взглянул на Реука.

— Что продавец? — недоумевая, спросил завскладом. — Имейте в виду, я ничего не утверждаю. Я ее абсолютно не знаю.

— А Капитана вы знаете? — любопытствовал Реук.

— Капитана? А при чем здесь Капитан? Знаю. Он работал раньше в совхозе.

— Ну, и какое у вас мнение о нем?

Калифатиди пожал плечами:

— Никакого. Нормальный человек. Судим, правда, был. Ну, по чистой совести, на меня ваш парень из бэхээс тоже косится, так что я к судимости отношусь философски. Не судите — да не судимы будете. Что еще о Капитане? Попивает... Так опять... относительно. Вспомнил! Приятели они были с этим... Да вот пропал в прошлом году. Сысоев! Говорят, его убили.

— Кто вам сказал? — удивился Реук.

— Разве я помню? О! Капитан же и говорил!

— Прямо так и сказал? — прищурился Голубь.

Калифатиди вытащил платок и вытер взмокший лоб.

— Вы так спрашиваете... мне даже не по себе. Мы ведь говорили о тушенке. Господи, может, я спутал? Это же каждый может сказать. Год, как о человеке ни слуху ни духу. Не в институт же он поступил!

— Ну, а все-таки, — Голубь тронул старика за рукав. — Вспомните, Николай Егорович, где, когда, а главное, в каких выражениях говорил Капитан о том, что Сысоева убили?

— Да, да... я понимаю. Сейчас... Так... Он к нам пришел где-то в июне. Примерно через неделю я съездил в райцентр, мы получали для базы кое-что из спецодежды. Ага... Это было после обеда. Мы поели в столовой, а когда вышли, он сказал, что буфетчица похожа на сытую мышь. Я еще, помню, удивился: буфетчица такая милая девушка. И внешне все при ней, как говорится. И я пошутил, сказал, что наверно он был плохой кошкой, раз так зол на нее. Он мне не ответил, а я продолжал дразнить его и сказал, что покажу, как надо обращаться с женщинами. Предложил пари, что познакомлюсь с ней и через неделю приглашу на квартиру к себе. Я немного выпил, знаете, вспомнил молодость... А он усмехнулся и говорит: «Давай, давай. Старичок ты денежный, ей в самый раз. Только смотри, чтобы вскорости не переселиться на другую квартиру». А когда я спросил, какую квартиру он имеет в виду, Капитан ответил: «Ту, в которой сейчас Сысоев обретается». Вот такой был разговор.

Калифатиди посмотрел на Реука и Голубя.

— Но... я не придал этому значения. Я думал, он имеет в виду... Вы понимаете? И потом, все это говорилось таким тоном... несерьезным. Причем уже и до этого я слышал, что Сысоева, наверное, убили... Но, ей-богу, не помню, от кого. Обычные досужие разговоры... Предположения.

— Ладно! — Голубь встал. — Все это действительно разговоры. Главное — консервы нашлись. Николай Егорович, у вас кино сегодня есть? Мы, пожалуй, сходим.

И, не слушая уговоров, они попрощались со стариком.

На улице было темно и тихо. Голубь поразился тишине. Это не была тишина заснувшего города, со звонками трамваев, гудками электровозов на станции, гулом невиди-

мых самолетов в ночном небе; или тишина райцентра с шумом редких машин, лаем собак и тихим говором в соседнем палисаднике. Нет, это была первозданная таежная тишина, и сонное бормотание речушки только оттеняло ее.

— Ну, что же, — зябко поежился Реук, — надо брать Лидку в оборот. Что-то подозрительно кстати она тут очутилась утром. И Капитан на нее почему-то бочку катит... Хотя, с другой стороны, — пока все слишком случайно.

— Как с Товарковым говорить будем?

— Лучше тебе. Только прошу: не забудь моих скромных интересов. За тушенкой лазили не раз, да и столько горошку на подмену принести скрытно трудновато. Что-нибудь да знает... если сам не лазил. Имей в виду, проникли через пол. Ты здесь покури, я Капитана по-тихому сейчас вызову из кино.

Виктор присел на камень и размял сигарету. Да, это не город и даже не райцентр. Все вызванные днем вели себя крайне связано. Откровенных показаний практически не было. Понятно — все на виду. Да и сезонники. Бегуны на короткие дистанции. Добегут до финиша, рванут аккредитивы — и держи меня, кто покрепче.

В темноте послышались шаги. Кто-то высокий и грузный подошел и остановился рядом.

— Здравствуйте. Огонька нет?

— Садись, Сергей.

Голубь зажег спичку. Товарков осторожно взял ее и поднес к трубке. Огонь осветил спутанные рыжие волосы на лбу, крупный, чуть отвислый нос и впалые щеки, окаймленные шкиперской бородкой. Пустив струю едкого махорочного дыма, Товарков бросил спичку.

— У меня к тебе разговор, — начал Голубь.

— Если на счет вашего дела, то я вам не помощник, — спокойно ответил Товарков.

— Нашего?

— Ну да. Вы же из-за склада здесь?

— А склад чей?

Товарков тягостно вздохнул:

— Гражданин начальник, Реук сказал, что у вас дело ко мне. Вы прямо к делу и переходите. А насчет того, что все наше, я еще в школе учил.

— Неохота в свидетелях быть?

— У меня другая специальность, — буркнул Товарков.

— Ну, а доведись — тебя коснется беда какая? Близких твоих?

— Сам разберусь, к вам не пойду. Да и близких нет.

— Четкая программа. Удобная, надежная...

— Да уж пока не подводила, — согласился Товарков.

— Четкая программа, — повторил Голубь. — Только врешь ты, Капитан, что не подводила она тебя. Пользуюсь слухом — срок отбывал? За что посадили, если не секрет?

— Сперва за решетку, — ухмыльнулся собеседник, — потом за колючую проволоку. А что?

— Ничего. Парень ты с виду здоровый, крепкий. Видно, не из тех, кто в зоне ложки моет. А внутри гнилой.

Товарков молчал.

— Как? Не очень я резко? Можно дальше?

— Терпимо, — отозвался Капитан, — валяйте дальше. Правда, чудно, как это вы за пять минут знакомства меня и в фас, и в профиль изобразили. Но все равно интересно.

— Ты вот не хочешь со складом связываться. Может, ты и прав. Мы уедем, а ты потом с этими парнями кашу есть будешь. Понятно. Да и не такая это беда. Найдем мы все консервы. И вообще-то я принцип твой хоть и не разделяю, но в этом случае понять могу. Однако объясни мне, куда, в какое место ты свой принцип засунул, когда твоего приятеля замочили? Ты же ни к нам не пошел, ни сам разбираться не стал.

Товарков посопел трубкой.

— А кто вам сказал, что Сысоева убили?

— Не виляй, Капитан! Ты же сам не веришь, что Сысоев жив. Не так?

— Кому моя вера нужна? — проворчал Товарков.

— Еще раз говорю — не виляй! Ладно, первую неделю ты сомневался, месяц... А потом что? Вы же приятели с Сысоевым были? Что молчишь?

— Школу трактористов вместе заканчивали.

— Почему же не пришел к нам, когда его искать стали? Ведь ты же его видел в последние дни? Разговаривал?

— Почем я знал, что убили его? Может, и вправду с пьяных шаров куда заехал. А потом... После времени-то о чем говорить? Бабы слухи повторять?

— Калифатида ты другое говорил.

— Какому? А-а, насчет Лидки?

Товарков выколотил трубку и снова набил ее табаком.

— У меня, гражданин начальник, доказательств нет, что она это дело устроила. А были бы — ни одна милиция ее не нашла.

— Почему ты ее так не любишь?

— Тварь она. У любого человека, самого плохого, какие-то правила есть, принципы, как вы говорите. Это, я понимаю, от воспитания идет, от жизни. Какая ни на есть должна быть честность между людьми. Иначе все друг друга опасаться будут. У этой же ничего нет. Мне Пашка рассказывал. Не в тот день, когда я его в последний раз видел, а раньше. Когда у них все вкривь и вкось пошло и собрался он уезжать, Лидка давай его уговаривать, дескать, продай мне свою половину дома. Его они уже до этого поделили. Мол, деньги тебе будут нужны, а так эта половина ни мне, ни тебе пользы не принесет. Пашка согласился. Потом она давай просить, чтобы по частям отдать. Вообще-то у Пашки насчет денег строго, это я еще по совместным шабашкам знаю: закрывать наряды он умел. Ну, а тут он согласился. Я было удивился этому, но потом как-то зашел к нему утром, опохмелиться, что ли, не помню, а она в его кровати лежит! Это они уже врозь жили, у нее хахаль был. Я Пашку тогда еще спросил, не сходитьсь ли они собрались. Он, пьяный, хохочет, нет, говорит, это она мне проценты за рассрочку выплачивает. А Лидка хоть бы хны! Встала с кровати в одной рубашонке, трюхнулась ему на колени и водку по стаканам разлила.

— Интересно, — протянул Голубь. — Ну, и дальше?

— Дальше? Стала она ему деньги платить. Половину выплатила, а половину нет. Дом на нее оформлен, она его гонит, а денег не дает. Пашка и запил. Потом написал заявление в суд, чтобы ее попугать — в суд он и не собирался. Наконец, вытянул из нее вторую половину. Вот тогда и зашел ко мне.

— Об отъезде разговор был?

— Конечно. Он расчет получил, к сестре собирался, а оттуда на юг. Я ему еще посоветовал положить деньги на аккредитив. Он их так в пиджаке и таскал, боялся, что Лидка уведет.

— Когда он собирался ехать?

Товарков пожал плечами:

— Вроде бы на следующий день. Мы тогда порядком нагрузились. Он плотницкий инструмент мне подарил, то есть обещал подарить.

— Так и не подарил?

— Нет, я его больше не видел. Дня через два зашел к Лидке спросить, где Пашка. Она меня матом через забор — и весь разговор. Понятное дело: она домовладелица, а мы с Пашкой бичи, рвань. Лет восемь назад, когда она на раздаче работала, ее за бутылку водки да за флакон духов можно было на речку сводить, а тут — переродился человек...

— Про плотницкий инструмент ты ей не напомнил?

— К чему? Пьяный разговор есть пьяный разговор. Я в таком виде что угодно пообещаю. Пили мы утром. Проспать он до вечера вполне мог. А что уехал сразу — мало какой резон у человека.

— Не пойму я тебя что-то, — задумчиво сказал Голубь. У него затекли ноги, и он встал. — Сысоева ты знаешь, по-моему, хорошо, но почему-то верить ему боишься. Не встретились перед его отъездом — ты говоришь: мало ли что ему взбрело в голову. Не отдал тебе обещанный инструмент — ты опять плечами пожимаешь: пьяный разговор. Он что? Болтун? Трепач?

Товарков молчал.

— Что ты молчишь, Сергей?

— А что говорить? Что говорить-то? — Товарков выругался. — Пашка — надежный мужик. Но это не доказательство. Я же говорю: если бы они у меня были, я бы Лидку...

— А почему Лидку, а не ее хахаля?

Товарков поднял голову:

— Начальник, если я не знаю человека, я о нем говорить не буду. Ты в зоне где был? В кабинете у опера? А я внутри был. Там у каждого, даже у самой затюканной шестерки, своя правда. Он уже и за приговор расписался, и срок ему идет, а правда все равно своя. У каждого, понял? Какое же у меня право человека судить, если я его не знаю? Этого даже прокурор не может, а ты с меня спрашиваешь.

— Потому и спрашиваю, Капитан, что хоть и разные мы с тобой люди, а правда нас сейчас интересуется одна: кто убил Сысоева?

— Как дела, мужики? — послышался голос Реука.

Голубь обернулся. Инспектор подошел и сунул ему что-то тяжелое, пахнущее овчиной.

— Накинь тулуп, простудишься. Ну — кино! Между прочим, из нашей с тобой жизни. Я бы за такие желтые

агитки срок давал. Скажи мне спасибо, — повернулся Реук к Товаркову, — что я тебя от этого ширпотреба избавил.

— Так я пойду? — вопросительно проговорил Товарков.

— Да. Спасибо за откровенный разговор. Не сердись, если что не так, — ответил Голубь.

Они разошлись.

— Эй! — окликнул Товарков негромко. — Реук! На минутку...

Реук вернулся быстро.

— Пошли спать, командир, все в порядке.

— Что такое? Назвал воров?

— Черт с ними, с ворами! Найдем. Он назвал оптового покупателя тушенки. Знаешь кто это? Лидка!

4

Ачинским уголовным розыском задержан известный в преступном мире Патюков, он же Потоцкий, кличка «Король ночей»... Потоцкий судился в январе этого года в Ачинске за кражу со взломом и был осужден... По отбытии наказания Потоцкий совершил 8 краж со взломом в Ачинске, куда прибыл из Енисейска...

(Из газеты «Красноярский рабочий» за 18 июля 1925 года)

— Товарищ Голубь!

Тимофей обернулся. Возле чьего-то палисадника в темноте маячила фигура. Он подошел ближе, разглядел молодую женщину.

— Мне с вами поговорить нужно.

— Почему здесь, а не в милиции? — удивился Голубь...

— Брагин велел только вам... с глаза на глаз.

— Брагин?

Начальнику Ачинского угрозыска стало не по себе. Засада?

— Да здесь никого нет, я одна, — успокоила женщина, заметив его движение.

— И все-таки, милая, пошли в милицию.

Начальнику подотдела уголовного розыска Васильеву. В Ачинск прибыла Екатерина Масленникова, сожительница Брагина. Она сообщила, что Брагин выехал в Новониколаевск с несколькими членами банды, ее же отправил в Ачинск с поручением сообщить мне об этом, а также о том, чтобы уголовный розыск не преследовал его сестру, так как она никакого участия в его делах не принимала. В случае принятия его условий Брагин обещал, со слов Масленниковой, не появляться в Ачинском уезде. Участие Брагина в Березовском налете Масленникова не подтверждает. В настоящее время Масленникова трудоустроена на станции. Прошу проверить показания Масленниковой по Красноярску. Протокол допроса прилагаю. Начальник Ачинского уголовного розыска Голубь.

Васильев приехал в Ачинск днем.

— Как дела, Хакасенок? — улыбаясь, проговорил он, входя к Голубю в кабинет. Тот сидел на стуле и зашивал пиджак.

— Воюем, — устало проговорил Тимофей, здороваясь с ним и снова берясь за шитье. — Ночью Потоцкого взяли с друзьями и со всем барахлом. Пока возились, допрашивали, то-се, забыл себя в порядок привести.

— Пиджачок-то, — поинтересовался Васильев, — он тебе подновил? «Король ночей»?

— Да, — вздохнул Голубь, разглаживая законченный шов. — Мне пиджак порвал, а Коновалову такую блямбу поставил — на пол-лица. Смотреть страшно.

— Зато пиджак, наверно, цел, — заметил Васильев.

Он уселся, рассеянно перебирая бумаги на столе.

— Арсений Петрович, — догадался Голубь, — вы из-за Масленниковой приехали?

— И из-за нее тоже, — кивнул Васильев. — Кстати, что за бабочка?

Голубь пожал плечами:

— Ничего. Губа у Брагина не дура. Двадцать лет ей. Спокойная. Спрашивал, знала ли, чем Брагин занимался.

— Ну?

— Говорит, догадывалась. Сама новоселовская. Жила тут недалеко, под Ачинском, у родственников.

— Ну?

Голубь непонимающе посмотрел на него.

— По разбою в Березовке ничего нового?

— Ничего, я же писал в рапорте. Она указывает два

красноярских адреса, но в Красноярске не была. Слышала их от Брагина как-то.

— Худо.

— А что, совсем темно? — спросил Голубь.

— Да нет. Трех задержали. Спасибо тебе за Шпилькина. Кое-что из него все-таки вытянули. Он им менял облигации, в налете не участвовал. Но дальше темный лес. Все валят на какого-то Лабзева. А связь с ним поддерживал, якобы, четвертый. Его при задержании в перестрелке убили. Денег у них изъято тысяч восемь — и все. Словом, кого-то они отмазывают. Вот так. А как Масленникова сейчас?

— Живет у дальней родственницы, одинокой старухи. Ни с кем не встречается. Проверяем ее связи, которые она называла. В Новоселово человек послан.

— А как поживает Жернявский?

— Начмил бывший? Работает бухгалтером в кооперативе. А что?

— С ней не встречается?

— Нет! — уверенно произнес Голубь. — Я бы сразу знал.

— Ты вот что, организуй-ка его сюда. Что-то я его физиономию позабыл.

* * *

— Здравствуйте! Сколько зим, сколько лет! — добродушно приветствовал Жернявский Васильева и Голубя. Сказано это было таким тоном, будто не его вызвали в милицию, а он, Жернявский, принимал у себя долгожданных гостей.

— Давненько мы не виделись, Роман Григорьевич, — сказал Васильев, жестом приглашая его садиться.

— Давненько. — Жернявский сел, аккуратно подпернув брюки. — С того самого времени, как меня вычистили из начмилей.

— Все обиду таите?

— Нет, не таю, Арсений Петрович, — весело ответил Жернявский. — Воспринимаю, как неизбежное. Новое вино не хранят в старых мехах.

— Ну, вы далеко не старик. Сколько вам лет?

— Сорок два.

— Вот видите, — расцвет сил.

— Расцвет, — согласился Жернявский. — Только по-

чему-то он приходится на закат моей общественно-политической деятельности.

— Ага, — усмехнулся Васильев, — все-таки таите зло на нас.

— Боже избави! — махнул рукой Жернявский. — Я не девица. Понимаю: белый офицер — начальник рабочекрестьянской милиции в волости — это же нонсенс!

— При чем тут это, — пожал плечами Васильев. — Вы не единственный офицер, пересмотревший свое отношение к нам. Мы готовы к сотрудничеству даже с бывшими политическими противниками, если они осознали ложность своей позиции и готовы сотрудничать не за страх, а за совесть.

— Например, Савинков, покончивший жизнь самоубийством, — подсказал Жернявский.

— У него руки в крови, — нахмурился Васильев. — А Советская власть не всеядна. Или вы уподобляете себя Савинкову?

— Ни в коем случае, — улыбнулся Жернявский. — Савинков понял свою никчемность и вашу силу, поэтому и выбросился из окна. А я, откровенно говоря, в происходящем ни черта не понимаю. У меня такое впечатление, что народ взбеленился.

— Не прибедняйтесь, Роман Григорьевич, вы все отлично и правильно поняли. Народ веками, понимаете, веками жил в грязи и лжи. А сейчас он хочет истины, он ищет истину. И он найдет ее!

— Каждый человек хочет не просто жить, а жить наилучшим образом. Это в природе человека. И это невозможно без ущемления чьих-то прав.

— Вот мы и ущемили ваши права, — улыбнулся Васильев.

— Прекрасно! А потом? — не сдавался Жернявский. — Как вы будете решать эту проблему потом, когда исчезнут ненавистные вашему сердцу классовые враги? Недовольные?

— Вряд ли недовольные исчезнут, — почесал бровь Васильев. — Обыватель — категория внеклассовая. Во всяком случае, всегда найдутся умники, вроде вас, которые будут есть и пить в свое удовольствие, а в промежутках спрашивать: а что будет потом? Думаю, что с ними будет не меньше возни, чем с классовыми врагами. Впрочем, до этого еще далеко. Пока нас беспокоят не они, а...

— Бывшие колчаковцы, — покачал лукаво головой Жернявский.

— Бросьте вы, Роман Григорьевич, вериги-то на себя примерять. Не такой уж вы правоверный колчаковец, каким хотите себя изобразить. Если не ошибаюсь, вас в свое время чуть не расстреляли за помощь большевикам?

— Ах, это... — Жернявский поморщился. — Помощь моя невелика. И если уж честно — меньше всего я руководствовался идейными соображениями. Товарищи подпольщики предложили мне хороший куш. А при неразберихе, царившей в те дни, да при моей должности помощника городского коменданта заготовить фиктивные требования на выдачу арестованных, а затем спрятать концы в воду было легче легкого. В молодости я был авантюристом. Единственно, чего я не учел, а точнее, не учли мои друзья-подпольщики, это то, что среди троих один оказался провокатором из контрразведки. Так что, как говорится: факир был пьян — фокус не удался. Бряд ли контрразведка оставила их живыми. Повезло мне одному, хотя вполне мог разделить их судьбу.

— Представьте, с одним из ваших крестников я позавчера виделся.

— Что вы говорите! — удивился Жернявский.

— Только никакой он не большевик-подпольщик, а обыкновенный уголовник.

— То есть как?

— Запомятавали, Роман Григорьевич? Вы заготовили требования не на троих, как утверждаете, а на четверых. Трое политических и один уголовник. Шпилькин!

— Шпилькин? — Жернявский нахмурился, припоминая. — Ах, да! Верно, верно. Фальшивомонетчик. Ну, что же, вы, слава богу, не из колчаковской контрразведки, и я теперь могу сознаться, он тоже предложил мне взятку. Кстати сказать, гораздо более крупную. Так, стало быть, он жив? Вот уж действительно дерьмо, простите, не тонет.

— А вы разве с тех пор его не встречали? — невинно спросил Васильев.

— Я? — Жернявский прищурился. — Арсений Петрович, я, кажется, начинаю догадываться. Мой бывший протеже где-то нашалил, и вы решили... Не ожидал. Если у Советской власти и были ко мне претензии, то скорее в части недостатка активности, чем в ее избытке. Впрочем, ваши орлы, — при этом он кивнул в сторону Голубя, внимательно следившего за разговором, — видимо, следили

за мной и подтвердят, что я чист, как родниковая вода, если не считать кое-каких мелких грешков по женской части.

— Ох, уж эти мне перезрелые холостяки, — усмехнулся Васильев. — Никто за вами не следит, резвитесь на здоровье, — он поднялся. — Ну, что же, Роман Григорьевич. Не буду задерживать. Думал, правда, что вы сможете прояснить нам что-либо в отношении Шпилькина, но раз не знаете... Нет, нет, — Васильев заметил протестующий жест Жернявского, — ради бога, никаких подозрений! Не знаете — и слава богу.

Когда Жернявский, любезно раскланявшись, ушел, Голубь недоуменно взглянул на Васильева:

— Почему вы дали ему уйти? Ведь это же враг, разве не видно? Ведь все, что он говорил...

— А что он говорил? — внимательно глядя на него, спросил Васильев.

— Как — что! — вспыхнул Голубь. — Ведь он... Я, может, чего-то не понимаю. Но он же смеется над нами. Надо всем, что мы делаем!

— А что мы делаем? — Васильев по-прежнему внимательно глядел на него.

— Мировую революцию! — запальчиво выкрикнул Голубь и, смутившись своей неожиданной горячности, уже спокойнее проговорил. — Вам-то неужели это надо объяснять?

— Не надо. Сядь.

Васильев достал папиросы.

— Ты газеты читаешь? Знаешь, что в Польше творится? А сколько сот коммунистов казнено после взрыва Софийского собора? О майском процессе над румынскими коммунистами что-нибудь слышал? А постановление ЦК о дискуссии, навязанной Троцким, тебе ни о чем не говорит?

Васильев зажал зубами папиросу, прикурил и продолжал, как диктант читал:

— Мировая революция — не кинематограф: взял билеты и пошел смотреть фильм. Совершать ее, значит хорошо делать свое дело. Мы боремся с преступностью. Кстати, хреново боремся. Жернявский-то верно подметил: лозунги из нас так и лезут. А на счет того, что я отпустил его, так за что его задерживать?

— Но ведь у него любовница живет в том доме, где Шпилькин останавливался! Серова!

— Ну, спасибо тебе, — поклонился Васильев Голубю. — Вот обрадовал! Почему же, черт возьми, раньше-то молчал?

— Мы отработывали ее. Никаких стоящих связей, сама — дура.

Васильев посопел.

— По-твоему, Жернявский — нестоящая связь?

— Но я же только сегодня из вашего разговора узнал, что он знаком со Шпилькиным.

— Основа сыскной работы — информация. Твоя роль в организации этой работы, между прочим, заключается еще и в том, чтобы отделять мух от котлет, — перспективную информацию от бесперспективной. Мои люди тоже не знали связей Шпилькина, они просто отработывали его. Я согласен с тем, что Жернявский — гусь. Но ты слышал, как он говорит? Весь на виду, а не ухватишь. Чем ты его расколешь? Ведь не за что уцепиться, фактов нет. А тут еще Масленникова твоя...

Голубь недоуменно посмотрел на Васильева. Тот прошелся по кабинету.

— Несколько дней назад при облове задержали тифозного блатного. Случайно. Щипач. Пименов. Сидел у нас вместе с Парикмахером перед тем, как того перевели в тюрьму. Так вот, когда Пименов умер, при нем нашли записочку. Адресована в Красноярск, Сокольская площадь, дом два. — Васильев остановился перед Голубем и, выдержав паузу, произнес тихо: — Масленниковой.

Голубь опустил голову.

— В записочке, — продолжал Васильев, — Шпилькин пишет: «Передай своему: второй кусток цел, место знает Приказчик. Лию не трогайте». Понял?

— Приказчик — Жернявский? — спросил Голубь.

— А вот это я хотел у тебя узнать, — ядовито произнес Васильев. — Для этого предупреждал: отработай каждого! А что ты мне даешь? «Брагину в Ачинске делать нечего. Масленникова под Ачинском жила»? Ну? Сокольская площадь — это Ачинск?

Голубь тихонько кашлянул.

— Я думаю повторный обыск сделать. У дочки Парикмахера.

— Где? Огород вскопаешь? Или крышу разберешь? А может, Жернявского попросишь помощь? Для пользы мировой революции? — Васильев поднялся, поправил ре-

мень и подошел к нему. Неожиданно улыбнулся: — Думай, думай, голова, картуз куплю.

Голубь нерешительно взглянул на него.

— Арсений Петрович, а что, если записочке... ход дать?

— Эк тебя дергает в разные стороны. Какой ход?

— Шпилькин боится, что его заподозрят в присвоении второго «куска», поэтому честно уведомляет Брагина: я свое дело сделал. Дальше. Мы даем записке ход. Масленникова связывается с Жернявским. Так мы выходим на Брагина.

— Неплохо, — одобрил Васильев. — Только не забудь вот что: нужно без шума переговорить с любовницей Жернявского. Если Серова действительно дура — еще и лучше: ничего не поймет. Цель: информация о связи Жернявского со Шпилькиным во время его приездов. Но, повторяю: без шума!

— Сделаю, — кивнул Голубь. — Я это Коновалову поручу. Он на женщин убийственное впечатление производит.

— Ну все? — Васильев подумал и повторил: — Все. Хочу надеяться, что клубок этот ты разматываешь. Работай осторожно, но быстро. И учти: человек предполагает, а бог располагает. Вы с Брагиным сейчас вслепую идете. Умей маневрировать, если столкнешься с неожиданностью. Я тебе мало чем помогу. И так работы — невпроворот. В Уяре начмиля Гигуля убили. У нас, в Красноярске, Пеляев с дружкой братьев Яковлевых среди бела дня зарезал. А разбой в Березовке так и висит пока. Где остальные деньги, кто такой Лабзев, что собою представляет на самом деле Жернявский, какова роль Брагина — шибко я надеюсь, что ты кое-какие из этих вопросов должен прояснить. Ну, бывай. Обо всем сразу докладывай мне. Лично.

* * *

Катерине страшно. С того самого дня, как в Красноярске на Сокольской площади тетка познакомила ее с Васькой, Василием Захаровичем. Коренастый, ловкий, он то забрасывал кольцами, отрезами, деньгами, то бил жестоко, молча, с усмешкой. За пустяк: за слово поперек, за молчание некстати, за отказ выпить. То исчезал на месяц-два. Ничего не объяснял. Так же, не объясняя, посадил

на поезд, наказал, что говорить в уголовке, где жить... На робкое ее возражение забрал кофту в кулак, заципнув кожу на груди, и, напряженно улыбаясь (усы только оцетинились), тихо и отчетливо произнес:

— Удавлю, сука! Ремней из спины нарежу и удавлю на этих ремнях. Поняла?

Катерина сглотнула комок в горле и часто закивала головой. Ноги едва держали ее.

Здесь, в Ачинске, вздохнула свободнее. В уголовке, вопреки предсказаниям Брагина, никто не грозил ей, не бил. Невысокий, нерусского вида парнишка, пощипывая мягкие темные усики, записал ее рассказ, потом куда-то звонил, просил устроить ее на работу... Катерина даже усмехнулась: надо же, такую фамилию иметь — Голубь. И потом с каждым днем все больше крепла мысль: пойти к нему, к Голубю этому, попросить, чтобы помог избавиться от Брагина. Она представляла, как он, теребя свои мальчишеские усики, слушает ее, потом звонит куда-то... Но когда однажды ночью за воротами послышалось тихое ржание лошади, а потом воровской стук в окно, опять знакомо и тягостно сдавило грудь страхом. Однако Брагин в этот раз не бил, не изгалялся. Спокойно и серьезно выслушал ее отчет о встрече с Голубем, задумался. Похлопал по плечу: молодец, Катерина! Объяснил, с кем и как в случае чего связаться, чтобы передать срочные вести. Оставил денег, и только на вырвавшийся несмелый отказ люто блеснули зубы под щетинкой усов. Обошлось. Утренними сумерками проводила его и долго сидела на лавке, растирая синяки на плечах и груди, тупо глядя перед собой, смаргивая слезы. Нет, никакой Голубь тут не поможет. Куда деваться? Куда спрятаться, чтобы не трястись неведомо отчего, не зная этого страха, любви этой сучьей, будь она...

Задребезжало окно. Опять! Катерина набросила полусубок, вышла во двор.

— Кто?

— Открой, тетка, разговор есть.

5

Начальнику подотдела угрозыска Васильеву. Во исполнение вашего указания было организовано вручение записки Масленниковой. Вру-

чение прошло чисто, Масленникова ничего не заподозрила. Из дома вышла утром. На работе звонила по телефону, говорила не более минуты. Удалось установить — звонила на почту. Из отработывавшихся там лиц интерес представляет Казанкин, ранее проживавший в Парново, откуда родом Брагин. В ближайшее время туда будет направлен работник для детальной отработки Казанкина. Наблюдением за домом, где был задержан Шпилькин, ничего не установлено. Коновалов познакомился с Серовой. Результаты сообщу дополнительно. Жернявский выехал в Красноярск, выезд мотивированный: сверка отчетов. Голубь.

— Здорово, падло!

Не отрываясь от газеты, Жернявский вежливо наклонил голову. Он уже давно заметил пятерых человек. Правда, сперва около купе встали с равнодушно-напряженными лицами трое парней. Затем появился еще один, исчез и, наконец, вернулся с Брагиным. Все это время Жернявский делал вид, что читает газету, и его молчаливый кивок сейчас несколько сбил театральный эффект, которого ожидал Брагин.

— Какие новости? — ровным голосом спросил Жернявский, складывая газету.

— Сейчас узнаешь, — улыбнулся, блеснув зубами, Брагин. Он взглянул в сторону парней, те успокоительно кивнули. В купе зашел четвертый, тот, кто привел Брагина, и бесцеремонно сел рядом с Жернявским, прижав его к окну. Деловито вынул нож.

— Где деньги? Где деньги, которые Парикмахер последний раз привез в Ачинск? — напряженно улыбаясь, спросил Брагин.

Жернявский смотрел на него молча, покачиваясь в такт движению вагона.

— Ну? — тихо проговорил Брагин.

— Это надо спросить у Парикмахера, — спокойно ответил Жернявский и, покосившись на соседа, поправил газету на коленях.

— Спрошено. Теперь с тебя спрос.

На столик перед Жернявским легла записка. Он пробежал ее глазами и улыбнулся:

— Василий Захарович, вы же знаете: у нас с Парикмахером была договоренность. А в тот раз, когда его взяли, он мне, видимо, не успел позвонить. Что же я, больной, что ли, лезть в тайник? А если дом под наблюдени-

ем? Ведь хозяйка знает, что я иногда ночевал у Серовой, неужели она утаит это от уголовки? Для нее мы с Парикмахером — чужие люди. Меня и так недавно вызывали к Голубю...

— Где тайник?

Жернявский снова покосился на соседа с ножом. Брагин показал тому глазами выйти. Роман Григорьевич проводил его глазами, на обороте записки нарисовал что-то карандашом и передвинул бумагу Брагину.

— Вот, под второй ступенькой. С торца доска отодвигается... Только, Василий Захарович, не советую.

— Почему?

— Если уголовка знает про тайник — это ловушка, — объяснил Жернявский, — а если не знает, то деньги никто не тронет.

— Кроме тебя.

Жернявский улыбнулся: опасность миновала, теперь можно и расквитаться.

— Правильно утверждает современная педагогика, что битье — не метод воспитания. Вот вложил я вам тогда в Красноярске, а что толку?

— Т-ты... — Брагин оглянулся на дверь, побагровел, привстал.

— Сядьте! — резко приказал Жернявский. — Сядьте и слушайте... атаман Чуркин. Если там сейчас нет денег, вы, конечно, скажете, что я их взял. А то, что их может взять уголовный розыск, вам не приходит в голову? Когда вы перестанете, как щенок, кидаться за первой же костью? Еще раз говорю: не лезьте туда, где только что спалился человек. Будет время — достанем. — Жернявский помолчал и уже спокойно, деловым тоном продолжал.

— В конце июля опять ожидается почта с продналогом. Подробности сообщу, как только узнаю. Налет целесообразно устроить при подъезде почты к Ачинску, на окраине. Думаю, что для Голубя это будет тяжелое испытание. Пока он будет искать вас, я попробую сходить в тайник. Только до той поры — умрите. Договорились?

Брагин слушал молча. Вздохнул, коснулся мизинцем щетины усов.

— А я ведь тебя, Роман Григорьевич, было порешить хотел. Ох, и ловок ты выкручиваться!

Жернявский расхохотался, закинув голову. В купе разом появился один из телохранителей. Он недоуменно по-

смотрел на Жернявского и исчез только по знаку своего жоака.

— Что меня примиряет с вами, Василий Захарович, так это ваша откровенность, — просмеявшись сказал Жернявский и, аккуратно свернув газету, правой рукой убрал ее с колен. Под газетой в левой руке у него был браунинг.

Доброжелательно глядя на переменившегося в лице собеседника, Жернявский объяснил:

— В молодости в качестве офицера связи частенько приходилось ездить с пакетами в поездах. Так что опыт встречи с налетчиками есть, имейте в виду. А теперь к вам просьба. Дело в том, что меня действительно вызывали в уголовку и, судя по разговору, обнаружили мое давнее знакомство с Парикмахером. Хозяйка квартиры вряд ли добавит что-либо к сказанному в милиции раньше. Вот только одна знакомая... К сожалению, наши интимные встречи иногда совпадали по времени с приездом Парикмахера. А если до этого додумаются мои бывшие коллеги, неприятности грозят не только мне, но и вам, понимаете? Улица там тихая, а она любит сидеть допоздна в саду. Помечтать...

Жернявский врал Брагину. Тайник под крыльцом был уже опустошен им. Но Роман Григорьевич знал людей. Главное — все умно расставить. Когда человек не может получить то, чего он хочет, он раздражается. Но если при этом логично и спокойно объяснить временную невозможность выполнения его желаний, он успокаивается и тотчас начинает искать варианты, позволяющие приблизиться к желаемому. И тут надо предложить ему вариант. Горячих, неуравновешенных людей, как правило, устраивает такой исход. А Брагин как раз из этой категории.

Жернявский терпеть не мог этого деревенского бандита, но был тут один момент, который прочно удерживал его от действий. Уже будучи бухгалтером, Роман Григорьевич встретился с ним случайно в Ачинске, и Брагин, полагая, что бывший начмилль не преследовал его в свое время из идейных соображений, и считая его чуть ли не собратом по профессии, простодушно предложил ему быть наводчиком. Еще мгновение — и бравый поручик придушил бы бандита, но тут Брагин проболтался. Увлечшись перспективой совместного сотрудничества, он посулил Жернявскому столько же золота, сколько у него спрятано в лесу, возле Парново.

— Золото, — усмехнулся Жернявский. — Какие-нибудь бабьи мониста?

— Червонцы, — сухо ответил Брагин, обидевшись такой оценке имевшихся у него богатств. И видя, что Жернявский по-прежнему настроен скептически, не выдержал:

— Врача помнишь? За станцией жил?

Об убийстве врача и ограблении его квартиры в Ачинске знали все. Брагин поднес к лицу Жернявского руку с оттопыренным мизинцем.

— Его колечко. Знающие люди говорят, большие деньги за него взять можно.

Перстень был действительно редкостной работы. Это и определило решение Жернявского. Он сообщил Брагину о времени завоза товаров в кооперативные лавки, помогал ему готовить налеты. В последний раз ему удалось узнать о том, что в один из дней из Березовки пойдет почта с большой суммой денег и облигаций Крестьянского займа. Жернявский был взбешен, когда Брагин послушался его и, помимо членов своей банды, использовал в налете несколько знакомых уголовников. Он чувствовал, что бандит выходит из повиновения, а его цель узнать, где расположен брагинский тайник, так и не достигнута. Правда, Жернявский уже знал, что Брагин скрывается обычно верстах в двенадцати от Парново. Но тайник — не изба, как его найдешь? Вот тогда он и избил его. Роман Григорьевич не боялся последствий: без него Брагин был, как без рук.

И вот сейчас — очередной бунт. Надо спешить! А кроме того, вызов в уголовный розыск. Это тревожный симптом. Иезуит, этот Васильев, так незаметно подвел к Шпилькину, что не было времени сориентироваться. Теперь гадай, от Парикмахера он это выведал или в архивах нашел. Если в архивах — бог с ним. А вдруг Шпилькин начал колотиться? Тогда времени остается мало, ох, мало! Следовало использовать припасенный козырь — Масленникову. Еще тогда, посоветовав Брагину отправить ее в Ачинск, чтобы сбить с толку угрозыск, Жернявский рассчитывал узнать от нее, где может находиться брагинский тайник. Но как сейчас использовать этот козырь? А если она на крючке у уголовки? Здесь была опасность и, пожалуй, пострашней той, которую сулил ему разговор с Васильевым...

Так ничего и не решив, раздираемый сомнениями, Жернявский вернулся в Ачинск.

— Товарищ Голубь!

В приоткрытую дверь заглядывал милиционер Суркин и таинственно манил пальцем.

Голубь вышел к нему. Суркин повертел головой, хотя коридор был пуст, и отвел его к окну.

— Я сейчас на рынке был. Иду сюда — догоняет мужик. Говорит, а сам оглядывается. Просит с вами увидеться. Только не здесь.

— Где он?

— Я покажу.

Увидев крестьянина, Голубь хмыкнул. Тот стоял на углу в напряженной позе, совершенно один на всю улицу и тревожно озирался. Его с любопытством рассматривал беспризорник лет десяти. Мужик время от времени шикал на него и нервно тянулся к сапогу, за который был заткнут кнут. Беспризорник лениво отходил шага на два и снова, бесцеремонно ковыряя в носу, разглядывал его. За версту было видно не только то, что мужик кого-то ожидает, но и то, что он неумело пытается это скрыть.

Суркин цыкнул на беспризорника и мигнул мужику. Тот послушно двинулся следом за Голубем.

Спустившись улочкой, расположенной между огородами, к Чульму, Голубь остановился у кустов тальника. Подошел незнакомец.

— Вам привет, товарищ Голубь, от... от Бондаря, — он слотнул слюну и оглянулся.

— Ты чего озираешься?

— Зазираешься, — угрюмо ответил собеседник. — У Брагина своих людей, что у собаки блох. А мне что-то последнее время жить захотелось — спасу нет.

— Ну? — удивился весело Голубь. — Вот совпадение! И я до этого дела любитель. Проходи.

Он отодвинул ветку и гостеприимным жестом пригласил посланца в заросли кустов.

Мужик, его звали Семеном, привез от Подопригоры не только привет.

— Банда Брагина будет здесь двадцать пятого июля. Человек восемь.

— Что?

— Бондарь велел тебе передать, чтобы ты Брагина ждал в версте за станцией, ввечеру. А он, Подопригора, встретит его на обратном пути, если у вас что не выйдет.

Сил-то у него маловато самому на Брагина навалиться, да и поистратится банда людьми и патронами, если с вами встретится. Вот Бондарь после вас и угостит их своим пайком.

— Так, — Голубь соображал. — Хорошо хохол придумал. А это точно? Откуда Подопригора узнал?

— Он мне не доложил, — почесал бороду Семен, — однако я и без него догадываюсь. У нас недавно пасечника убили. Брагин убил. А сын этого пасечника, Ленька, у кулака работает, у Мячикова, на мельнице. Батрачит. Нынче, перед тем как мне в Ачинск ехать, к Мячикову Нинка, сестра Брагина, приезжала. Ее недавно ваши забирали да отпустили. Полагаю, Ленька что-то слышал. Тем более, мать его я видел, к Подопригоре заходила.

— Если у вас такие все сообразительные... — поежился Голубь.

— Не, — успокоил Семен. — Дело чистое. Просто я Подопригору хорошо знаю. Он все свои дела в тайности делает. Да и я остерегаюсь. Правда, сейчас чуть не погорел. На бывшего дружка брагинского напоролся, Казанкина, будь он неладен.

— Казанкина? — Голубь насторожился.

— Ну! Полгода как невесть куда делся из деревни. Мы думали, убили его. Сейчас гляжу — по рынку идет. Я аж потом умылся. Слава богу, не заметил.

— Слушай, зайдём в милицию, ты мне о нем поподробнее расскажешь.

— Нет! — как отрубил Семен. — Я свое дело сделал. Не дай бог узнают — все! И ваша задумка ухнет. Это же брагинцы.

Семен сплюнул и поднялся с земли.

— Ты, товарищ, от нас шибко далеко, дальше, чем восемнадцатый годок. Это у вас в городе все решено, а в деревне... Оно, вроде, и хорошо: разверстки нет, товарищества организуются, дело на коммуны поворачивается... А как шарахнет такой вот Брагин соседа ночью, да как услышишь наутро бабий вой по мертвому, так заоглядываешься.

— Классовая борьба, — неуверенно возразил Голубь.

— Во-во, — кивнул Семен. — Уж такая классовая, что спишь и не знаешь, в каком завтра классе очутишься — земном или небесном. Я тебе сейчас про Леньку-батрака говорил, у которого Брагин отца убил. Так вот, до него у Мячикова другой парень батрачил. Хороший па-

рень, золото! А тут в ячейку комсомольскую ходить стал. Мячиков молчит. Парень портрет Ленина вырезал из журнала, на мельнице на стенке повесил. Мячиков молчит. И вот раз на сходке выступил тот парень. Что-то шибко против кулаков говорил. И хозяин его, Мячиков, был на сходке. Сидит, скулы буграми ходят. Так-то, брат...

— Что «так-то»? — не понял Голубь.

— А ничего, — неохотно проговорил Семен. — Нашли парня дня через три. Глаза выколоты и зубы все по-выбиты. А на груди портрет прибит гвоздями. Тот самый, что он на мельнице повесил.

— Где нашли?

— Известно где. Не у Мячикова же на мельнице. Верстах в пяти от деревни на дороге. Ну, я пошел. Что Бондарю-то сказать?

— Все сделаем. Где он засаду устроит?

— За Парново верстах в семи дорога в лес заворачивает. Вот в этом месте.

Семен тяжело тряхнул руку Голубю, повернулся и исчез в кустах.

Двадцать пятого июля, просидев всю ночь со своими людьми и работниками ОГПУ в засаде, Голубь ни с чем вернулся в Ачинск.

Голова разламывалась от напряженной бессонной ночи и от вопросов, на которые нужно было найти ответы. Почему Брагина не было? Где он? Может, пройдет завтра? А вдруг он узнал об их замысле? Что теперь делать? Связаться с балахтинским начмилем? Держать засаду? Уточнить, когда пройдет почта из Балахты? А если она уже прошла? Тогда налета не будет? Или у Брагина другие планы? Что сейчас делает Подопригора?

Вопросы бились в голове, и Голубю уже казалось, что кто-то их произносит вслух.

Добравшись до своего кабинета, не снимая сапог, ремней, он рухнул на стол и заснул, как убитый. Разбудил его Коновалов.

— Тимофей, быстрее! Налет — со станции звонят.

— Что?! Где? Какой налет? Брагин?

Голубь таращил глаза со сна, вскочил, бросился к окну: смеркается, значит, часов десять.

— Куда, ч-черт! — прорычал Коновалов, схватив его за ремень.

Они ринулись на улицу. По дороге Коновалов прихватил двух милиционеров и подвернувшегося работника уг-

розыска. Пока звонили в ГПУ, разбирали оружие, седлали лошадей, прошло минут пятнадцать. Галопом кратчайшей дорогой поскакали к станции. Там встретил дежурный, наскоро объяснил: выстрелы слышны недалеко, в версте по тракту. Сейчас как раз время проехать почте...

— Рысью! — крикнул Голубь.

Вскоре они увидели пролетку на дороге и запутавшуюся в постромках убитую лошадь. В темноте из-под пролетки мелькали огоньки выстрелов: кто-то отстреливался. Справа за дорогой залегли люди. Дальше в кустах Голубь смутно различил лошадей. Банда!

— Забирай правее! — крикнул он Коновалову.

Тот согласно кивнул, и отряд разделился. Коновалов и еще двое поскакали дальше, заходя в тыл банде. Голубь с сотрудником спешили, залегли, открыли огонь — и в самое время: бандиты, заметив отряд, стали отступать к лошадям. Они не рассчитывали на нападение, кони стояли далеко, и теперь, попав под перекрестный огонь Голубя и неизвестного, стрелявшего из-под пролетки, они бежали к кустам, беспорядочно отстреливаясь. После нескольких выстрелов Голубь довольно улыбнулся. Один из убежавших споткнулся и стал сильно припадать на ногу. Затем еще один упал. Со стороны Коновалова тоже послышались выстрелы. Голубь обернулся к сотруднику, это был Суркин:

— На коней!

Когда они подъехали к кустам, там уже был Коновалов со своими людьми. Возле кустов стояли привязанные две лошади. Третья, убитая, лежала тут же. Стали искать их хозяев. Одного нашли возле дороги, двух других — в кустах.

— Убиты, — вздохнул Коновалов, осмотрев бандитов.

— Эй! Вы кто такие! — кричали с дороги, от пролетки.

— Угрозыск! — ответил Коновалов. — Не стреляй, парень! — и он двинулся к пролетке.

Пока перепрягали лошадь, перевязывали раненого почтаря (второй был убит), тот рассказал, что случилось. Они везли из Балахты продналог и почту. Уже подъезжали к Ачинску, когда навстречу вылетело восемь верховых. Напарник сразу открыл огонь, бандиты залегли. Они хотели прорваться, но с первых же выстрелов убили лошадь. Они с напарником укрылись за ней.

— Кабы минут на десять пораньше вам... — вздохнул почтарь, глядя, как укладывают в пролетку мертвого то-

варища. Левое плечо у него уже было перебинтовано, он курил, и рука, державшая сигарку, мелко вздрагивала.

— Бандиты, мать их так! — продолжал он словоохотливо. — Если путем-то, так надо было с двух сторон залечь и ударить. А они на арапа хотели взять Шпана! Тьфу! — почтарь сплюнул.

По дороге домой Голубь рассуждал, покачиваясь в седле:

— Масленникова звонила на почту. Там же работает Казанкин. Связной от Подопригоры говорил, что он приятель Брагина. Сейчас снова налет на почту. Причем прибытие почты в Ачинск было уточнено, и налет перенесен с двадцать пятого на двадцать шестое. Понимаешь? Где живет Казанкин?

— В общежитии, — ответил Коновалов, — но часто не ночует там.

— К Подопригоре не поедем пока, — решил Голубь. — В банде осталось пять человек, и даже если они пробьются через хохла, не страшно. Казанкин — вот что сейчас главное. Он связник Брагина и, видимо, наводчик. Возьмем Казанкина — Брагину конец! И брать нужно как можно скорее!

Въехав в город, остановились на какой-то улице: от тряской езды почтарю стало плохо, рана кровоточила.

— Гляди-ка! — Коновалов ткнул Голубя.

Суркин отошел за дорогу по малой нужде, и бандитские лошади, которых он вел в поводу, стояли одиноко и понуро, изредка всхрапывая. Вдруг одна из них медленно пошла по улице.

— Эй! — крикнул из кустов Суркин. — Куда, кривая холера!

Застегивая штаны, он выскочил на дорогу, намереваясь догнать лошадь, но Голубь остановил его движением руки:

— погоди! Бери пролетку, почтаря... Езжайте в милицию. А мы с Коноваловым поглядим за этой путешественницей.

Лошадь уверенно шла по ночным улицам. За ней на расстоянии ехали Голубь, Коновалов и сотрудник милиции. Вот она свернула в переулок, постояла, снова двинулась. Остановилась возле домика с палисадником. Дернула копытом, вырыв в земле лунку, и негромко заржала.

В темном окне приподнялась занавеска. Через некото-

рое время в избе скрипнула дверь, кто-то прошел к воротам, приоткрыл их.

— Манька, зараза!

Мужчина в исподнем белье высунулся из ворот, ухватил лошадь за узду и зло ткнул ее в шею:

— Тварина, нашла же... давай скорее!

— Здорово, папаша!

Из-за крупа лошади выглянул Коновалов. Он облокотился о седло и дружелюбно улыбнулся оторопевшему хозяину:

— Твоя животина?

— Я.., ме... какая животина? Вам чего надо?

— Как фамилия?

Мужчина оглянулся. Сзади стоял Голубь, направив на него наган.

— Казанкин.

Мужчина зябко переступал ногами и с ужасом глядел на милиционера, который, выйдя из-за палисадника, присоединился к Голубю и Коновалову.

6

— Так объясните мне, каким образом в ваших вещах оказались паспорт, военный билет и квалификационное удостоверение на имя Сысоева?

Лидка тупо глядела на угол стола и молчала. Она осунулась, посерела. Дежурный сказал — курила всю ночь. Вчера, когда они с Реуком пришли с постановлением на обыск, она, уперев руки в бока, ходила за ними и пронзительным голосом, срываясь на визг, комментировала каждый их шаг:

— Гляди, гляд-д-и-и, нахал! Ох, стыда у людей нет! Ох, нет стыда! Ну, чего же ты, лезь в шкаф, не стесняйся! Что там — трусья? Ну, смотри внимательнее, не то, не ровен час, проглядишь что. А то — понюхай, может, и унюхаешь... А вы что жметесь? — накинулась она на совершенно оробевших понятых. — Нет уж, позорить, так позорить, идите сюда, гости дорогие! Вон у меня в корыте исподнее, не стирано еще. Не смотрели? Принести?

Реук стушевался. Голубю тоже было не по себе. Чертова баба ходила по пятам, явно провоцировала скандал, и ничего нельзя было сделать. И только когда он, выдвинув один из ящиков тяжелого комода и погрузив туда ру-

ки, нащупал в белье банки с тушенкой, только тогда Лидка приутихла. Понятые ожили: помогали выпутывать банки из белья, считали и, опасливо поглядывая на Лидку, укоризненно покачивали головами.

Лидка взорвалась снова, когда Реук попытался вытащить из-под кровати чемодан.

— Не трожь! Это жильца моего чемодан! Оергеева! Не имеете права!

— Жильца или сожителя? — невозмутимо осведомился Реук, вытаскивая чемодан на середину комнаты.

— Твое дело десятое! Он у меня угол снимает. Вот придет — не возрадуешься. Как напишет прокурору, что вещи пропали, покрутишься еще, побегаешь. Ментовня поганая!

— Ничего, — отдуваясь, пробормотал Реук. — Не переживай. За нами вон люди присмотрят, авось и не пропадут его вещички.

Он осторожно открыл чемодан и покачал головой:

— Что же это получается? Оергеев твои комбинации носит? Здорова ты, Лидка, врать. А тут что?

— Не смеешь! — наливаясь кровью, закричала Лидка. Внезапно она выбежала на кухню. Голубь кивнул Реуку, тот бесшумно пошел следом за ней. Послышалась возня, звон стекла и тревожный голос Реука. Голубь выскочил следом и увидел, как Реук борется с Лидкой. Возле их ног лежала трехгранная бутылочка, из которой тоненькой струйкой вытекал уксус.

Минут через десять обыск продолжили. Лидка безучастно сидела на стуле и даже не повернула головы, когда Реук из бокового кармана чемодана вытащил документы Сысоева. После того они продолжали обыск уже автоматически. Спустились в погреб, где нашли еще несколько десятков банок тушенки, тускло поблескивавших прямо на цементном полу. Но это теперь никого не волновало: ни Голубя с Реуком, ни Лидку, ни даже понятых, сообразивших, что дело пахнет уже не тушенкой...

— Так как же мой вопрос, Лидия Петровна?

Лидка вздохнула, села на стуле прямо, закинула ногу на ногу и вдруг мило улыбнулась Голубю. Несмотря на помятый вид, она выглядела прилично. Под шерстяной жакеткой белая блузка, ворот расстегнут. Блестящие каштановые волосы пострижены «под мальчишку». Возле нижней губы маленькая, бархатистая родинка... «Черт побе-

ри, — подумал Голубь, — наконец на батарее сыграли боевую тревогу. Сейчас дадут залп».

Лидка незаметным движением поддернула юбку, навела круглое, белое колено на Голубя.

— Гражданин начальник! Я вам хочу сказать правду. Я сошлась с ним по глупости. Он же старик. На уме одно: достать шатун, достать какой-то палец, закрыть наряд... Мне двадцать четыре года. Я по улице иду — парни слюни пускают. А он появится дома, с друзьями водки нажрется — и пошло. Ведь он когда собрался от меня — я как будто заново родилась. А когда ушел в тот день — документов не брал. Ну, нет его и нет. И слава богу. Вдруг через месяц сестра его приезжает. Где Пашка? Мне бы, дуре, отдать его бумажки, а я испугалась. Пашка, оказывается, написал ей, что приедет. А его нет. Сестра в милицию собирается. А у меня документы его лежат. Ну, я и решила — все равно! Ведь не может же человек безо всяких документов месяц где-то мотаться? Значит, с ним что-то случилось. А кого заподозрят, если я через месяц его паспорт принесу? Реук — он и тогда на меня волком смотрел. Вот и не решилась я тогда сказать про документы. Понимаете меня? Вы меня понимаете?

«Значит, теперь у нас такая линия поведения. Версия о сохраненных документах, плюс голое колено — для достоверности изложения. Хорошо, это располагает к откровенности, к доверительности. И — расслабляет. Попробуем расслабиться. Бог уж с ним, с Сысоевым. Надо о другом».

— Понимаю. Тем более, тут еще Оергеев рядом — молодой, красивый...

Лидка запнулась, взглянула на него лукаво и покачала головой:

— Чего попало, ну, чего попало!

Она заботливо оправила юбку, отчего колено заголилось еще больше. Закинула руки за спинку стула: вырез на блузке раздался, обнаружив две смуглые выпуклости. Артподготовка шла полным ходом. Голубь с удивлением смотрел на молодую женщину, пытавшуюся вчера отравиться, находившуюся пять минут назад в состоянии прощрации... Как быстро перегруппировалась!

— Давно вы знакомы с Оергеевым?

— А что — ревнуете?

Лидка придвинулась ближе, для ясности поправила воротничок блузки, отчего обзор выпуклостей стал максимальным.

— Это вам Реук наговорил. Вы его не слушайте. Михаил — просто хороший парень. Он меня деньгами выручил, когда надо было долг отдать этому... Вы думаете, в буфете работаю, значит богатая? Вы прикиньте, сколько я на этой тушенке заработаю. Нашли воровку! А дом, думаете, мне ничего не стоит? Хорошо, Миша все двери подогнал, крышу перекрыл, пол в погребе зацементировал — и ведь все бесплатно...

«Стоп! Какой пол? В погребе? Цементный? На котором тушенка стояла? Когда зацементировал? Впрочем, это и без нее можно узнать. Надо завязывать. Только тихо и мирно. Пока все не проверим. Насчет пола».

— Женщины, женщины, — горько вздохнул Голубь. — Один пришел, другой ушел...

— А вы святой, что ли? — Лидка интригуяще вскинула на него глаза.

— Ангел, — кивнул головой Виктор. — Только вот курю. Я из курящей разновидности.

— Чего попало, ну, чего попало! — Лидка чарующе рассмеялась. — Сказать откровенно, я вас вначале боялась. А вы — просто комик. Надо же... Ангел! А как ваше имя-отчество?

— Виктор Георгиевич.

— Виктор Георгиевич, а меня нельзя под расписку отпустить? Ну, сами же видите, какая я преступница. У нас два года назад одна девушка недостачу имела в четыреста рублей, и то ничего. Внесла — и никаких делов. А?

— Это со следователем надо будет как-то переговорить. Он решает...

— Переговорите, очень вас прошу! Если что — в обиде на меня не будете.

— Хорошо, хорошо, — заторопился Голубь. — Мы тут пока разговаривали, я записывал... Это протокол допроса. Ознакомьтесь.

Лидка, преданно глядя в глаза Голубю, взяла листок и углубилась в чтение. Пробежав текст глазами, попросила ручку.

— Все верно?

— Да. Только к чему это: про двери, крышу, пол... Речь ведь о документах Сысоева. При чем здесь эти мелочи?

Голубь сострадательно прижал руки к груди:

— Лидия Петровна, милая, с нас ведь тоже спраши-

вают. Чистая формальность, вы сказали, я записал. Разве неверно?

— Верно, верно, — успокоила его Лидка. Подойдя к двери, она уже деловито напомнила: — Так не забудьте со следователем-то...

— Ну, что вы! — развел руками Голубь. — Сказал — переговорю.

Лидка подошла к двери, открыв ее, улыбнулась:

— В случае чего — с меня причитается, — и исчезла за дверью.

Голубь шагнул было следом сказать дежурному, чтобы проводил задержанную, и столкнулся в дверях с Реуком. Тот слышал последнюю фразу Лидки, и у него был слегка ошалелый вид. Реук зашел в кабинет, недоверчиво озираясь.

— Вы чего тут делали?

Голубь расхохотался:

— Только разговаривали, дорогой, только разговаривали. Правда, о любви.

— То-то и есть, что о любви. Вот бабы! А я думал, она сегодня еще одну истерику закатиет. Специально напросился за Оергеевым ехать, чтобы с ней не встречаться. Как ты ее разговорил?

— Сама разговорилась — я только поддакивал. Да на колени ее смотрел бараньими глазами.

— Что-нибудь интересное есть?

— Одна ма-аленькая деталь. Но нужно уточнить.

— Уточню, — пообещал Реук. — Говори.

— Оергеев после ухода Сысоева зацементировал пол в погребе. Понимаешь?

— Понимаю. Соседей допросим. Когда они видели эти работы по ремонту погреба. А ты думаешь, он там?

— А что тут думать, искать надо. Никуда он не уходил. Не найдем в погребе — уборную придется чистить, огород проверить. Ты на Оергеева в паспортном сведения взял?

Реук протянул ему карточку с фотографией.

— Стой!

Голубь внимательно смотрел на фотографию. Лицо знакомое. Кто? Белов? Нет, тот разыскан. Гошидзе? Почему Гошидзе? Лицо типично русское. Нос картошкой. Что же это? Стоп! Почему Оергеев? Нет, русский. Михаил Арканович, Арканович, Арканович... Лицо знакомое и отчество где-то слышал. Характерное отчество.

— Ты что? — Реук из-за плеча взглянул на фото.

— Где у тебя дело с ориентировками?

Полчаса листали дело, сверяли ориентировки. Реук закурил.

— Может, тебе показалось?

Голубь помотал головой:

— Я его где-то видел. Давно. Или слышал фамилию. Ну-ка дай еще взглянуть.

Он снова стал рассматривать карточку.

— Тьфу! Смотри! Это же Сергеев! Не Оергеев, а Сергеев! Верно — и прописка минская. Он же во Всесоюзный розыск объявлен. Два года назад. Болван!

— Кто?

— Я, конечно. И ты. Розыскник!..

— Ты что на меня кричишь? — возмутился Реук. — Я всего год в розыскниках хожу. Ты бы с меня еще доверенные ориентировки стал спрашивать!

Он прошелся по кабинету.

— Ну, что? Я тогда лечу в партию за Сергеевым. Ах, гад ползучий! Обманул, как пацана!

— Одному за ним рискованно, — возразил Голубь.

Реук взглянул на него:

— Ты его видел? Метр с шапкой. Да я в случае чего из него вот этими руками яишню сделаю. И потом — в партии людей мало? Вдвоем нас увидят — сразу поймут, что неспроста прилетели. А ко мне привыкли. У меня там двое знакомых ребят. Вон бутылку куплю да скажу, что за рыбой приехал. Ты, пока я летаю, лучше реши вопрос с санкцией на повторный обыск. Соседей допроси по тому, что им известно о ремонте погреба. Это ведь тоже время.

— Нет, это не дело, — упрямо замотал головой Голубь. — Если боишься, что я тебя засвечу, бери участкового. Его тоже в партии знают, вдвоем за рыбой поедете. Минчане Сергеева за убийство разыскивают. Если он действительно и Сысоева в погреб упрятал, ему терять нечего. Иди за участковым. Сядем втроем и подумаем, как вы туда появитесь...

Вечером Голубь докладывал начальнику милиции материалы дела...

— Значит, завтра повторный обыск? — начальник машинально полистал бумаги. — Хорошо вы нам помогли. И кража на Туркане пошла, и Сергеева разыскали. Если еще и Сысоева найдем, совсем ладно будет.

— А если не найдем? — улыбнулся Голубь.

— А если не найдете, жаль, конечно, будет.

Он меланхолично побарабанил пальцами по столу и вдруг с жаром закончил:

— Будем продолжать поиск! Правда, абсолютной гарантии дать не могу, что разыщем, — он невинно взглянул на Голубя. — Если уж Управление уголовного розыска не может. Асы, так сказать...

— Дипломат вы, Павел Игнатьевич, — вздохнул Голубь. — Если найдем, то вместе, а если не найдем, то Голубь?..

— А как вы думали? Мне, брат, по должности дипломатом надо быть.

В дверях показался дежурный:

— Павел Игнатьевич! Сейчас радиogramму принял. Сергеев при задержании ранил Реука. Обоих на вертолете везут сюда. Просят «скорую» на аэродром: Реук очень плох...

7

Двадцать седьмого июля в семи верстах от Парново произошла стычка между бандой Брагина и отрядом милиции во главе с балахтинским начмилем Подопрigorой. Последний убит. Банда потеряла двух человек и отступила.

(Из оперативной сводки по Сибкраю за 1925 год)

Жернявский, привалившись спиной к стене, следил, как Катерина перевязывала ногу Брагину. Тот лежал на кровати и болезненно морщился. Жернявского знобило: последние двое суток он не сомкнул глаз. Роман Григорьевич любил рискованные авантюры, но даже ему казалось невозможным то, что он задумал. Впрочем, пока все удавалось. Записка Голубю послана, это дает ему несколько часов форы, пока уголовка не убедится, что Казанкин не король, как он им написал, а всего лишь шестерка. Теперь — Брагин. Тут тоже, кажется, все было рассчитано. Он откровенно рассказал ему про записку. В ней значилось, что Брагин скрывается в Ачинске, и Казанкин знает адрес, так как является его связным.

Кроме того, Жернявский привез лекарство, бинты и

самое, на его взгляд, главное — деньги из тайника Парикмахера, восемь тысяч. Он привез свое оправдание, свидетельство своей честности. Наконец, Жернявский доставил Катерину и внес порядок и систему в сумятицу, царившую в избушке. Он послал одного из бандитов в Парново к родственникам Брагина за подводой (из-за раненой ноги Брагин не мог сидеть в седле), второго поставил в охранение. И теперь позволил себе короткий отдых перед главным, ради чего приехал сюда.

Брагин после перевязки тоже впал в какое-то оцепенение. Неудачный налет, стоивший ему половины банды и простреленной ноги, ночной марш и засада Подопригоры, из которой он едва ушел с двумя подручными, — все это обрушилось на Брагина так неумолимо, что он почувствовал себя обреченным. Его даже не радовала смерть балахтинского начмилы. Брагин застрелил его в самом начале боя — это, собственно, и дало ему возможность уйти. Приход Жернявского, его разумная, спокойная предусмотрительность снова разбудили в Брагине желание бороться, жить. Но он здорово устал. Для него, жившего одним днем, эти броски из холода в жар воспринимались безо всякой взаимосвязи, были непонятны. Они его выматывали. О точном времени налета знали Мячиков, Нинка и Казанкин. Нинке и Мячикову он верил, как самому себе, а Казанкин сам уведомил о прибытии почты в Ачинск. Жернявского он исключил из дела, как только тот сообщил, что почта повезет большую сумму денег, так что тот тоже не знал подробностей операции. Откуда уголовка так быстро появилась — леший знает!

— Да, Василий Захарович, жаль, что вы меня не посвятили в подробности вашего последнего анабасиса. Возможно, сейчас бы не сидели здесь, как подбитая ворона.

Брагин скосил глаза на Жернявского — вот черт худой, прямо мысли читает!

— Вообще, наши неудачи начались после того, как вы стали самовольничать, — продолжал Жернявский. Он кашлянул и пересел ближе к столу, к керосиновой лампе. Перемещение это имело еще одну выгоду: для того чтобы выстрелить, Брагину пришлось бы прежде повернуть голову — Жернявский сидел теперь позади него и мог контролировать каждое его движение. — Вы совершенно зря использовали тогда свою знакомую шпану. Они засыпались и уже, вероятно, назвали Лабзева. Отождествление его с вами — вопрос времени. Налет под Ачинском был сплани-

рован настолько беспомощно, что мне не хочется говорить об этом. Вы так и не поднялись выше сельского грома. Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения. Начнем собираться. Скоро должна прийти подвода...

Брагин уловил в голосе Жернявского что-то необычное. Он взглянул на Катерину, сидевшую в ногах, и все понял: она, прижав руки к груди, со страхом смотрела поверх него. Жернявский держал их обоих под прицелом браунинга.

— Ежели ты, Роман Григорьевич, насчет моих запасов, так они не здесь, — хрипло произнес Брагин, не поворачивая головы.

— Выньте руки из-под одеяла и закиньте за голову, — ответил Жернявский, — до припасов еще дойдем.

Брагин повиновался, помедлив.

— Умница! — похвалил Жернявский. Он обыскал Брагина, забрал оружие. — Теперь слушайте. Укажите тайник, и я честно беру половину, после чего мы расстанемся. В противном случае — очень долгая и мучительная смерть.

— А если Иван из охранения придет? — облизнув губы, поинтересовался Брагин.

— Иван не придет, — улыбнулся Жернявский. — Так как же мое предложение?

Брагин подумал.

— Сам не найдешь, — он кряхтя сел на кровати. — Я покажу. Здесь за ручьем. Возле березового пня...

Он натянул сапог на здоровую ногу. Кивнул Катерине:

— Принеси полотенце. И веревку — ногу обмотать. Сапог-то я не надену...

Катерина робко встала. В ту же секунду Брагин правой рукой сильно толкнул ее на Жернявского, одновременно левой схватив обрез, укрытый в ногах. Два выстрела прозвучали почти одновременно. Наступила тишина. Жернявский некоторое время держал под прицелом лежавшего Брагина. Затем столкнул с себя недвижимое тело Катерины, поднялся, подошел к кровати.

Брагин полусидел в промежутке между кроватью и стеной, молча смотрел на него. Одну руку он прижал к груди, меж пальцев обильно шла кровь. Жернявский осторожно убрал лежавший рядом обрез.

— Вы слышите меня, Василий Захарович?

Брагин тихо наклонил голову. В углу рта тоже появилась кровь и тоненькой струйкой потекла по подбородку.

— Вы застрелили Катерину. Я снова спрашиваю вас: где тайник?

В избе было душно, пахло керосином и порохом. Лампа чадила, язычок пламени то горел спокойно, то вдруг судорожно извивался. Не отрывая от него взгляда, Брагин сглотнул кровь и прерывисто прошептал:

— Худо дело... Убил ты меня. Помру сейчас... чувствую. Так что извини, Роман Григорьевич, я напоследок себе... удовольствие... доставлю.

Он медленно отнял от груди окровавленную руку, сложил кукиш и с усилием поднес его к лицу Жернявского. Тот поднялся. Изо всех сил пнул раненого. Вышел на середину избы, огляделся. Увидел на столе деньги, привезенные им, сгреб в кучу, сунул в карман. Заметив, что сапог в крови, он присел возле лежавшей ничком Катерины и краем ее юбки аккуратно вытер каблук. Взглянул на огленные недвижимые ноги женщины и вздохнул:

— Господи боже мой! Ты-то, бедная, за что пропала? Вольно же было ехать сюда на гибель.

Он прикрыл ее ноги юбкой и какое-то время смотрел на залитое кровью лицо Катерины. Еще раз вздохнул и покачал головой.

Затем Жернявский медленно и аккуратно стал обыскивать избушку. Слазил на крышу, осмотрел подполье — неглубокую яму, в которой хранилось ведра два картошки. Обследовал все углы, простукав их рукоятью браунинга. Встав на табуретку, отодвинул икону и, найдя за ней деревянную коробку, выгреб из нее пачку денег.

— Мизер, — бормотал он, пересчитывая их. — Это же мизер!

Жернявский вышел и через несколько минут вернулся, волоча за ноги тело Ивана — бандита, которого он послал в охранение и убил сразу же тогда, в нескольких метрах от избушки.

Наконец, Жернявский, еще раз окинув взглядом избушку, снова направился к Брагину. Тот лежал с закрытыми глазами, но когда Жернявский нагнулся к нему, поднял веки.

— Василий Захарович, я уезжаю. Напоследок тоже хочу удовольствие себе доставить. Живым сожгу, как таракана, понятно? — и он, усадив его, стал прикручивать веревкой к кровати.

Брагин снова закрыл глаза и прошептал, силло и трудно дыша:

— Шел бы ты, Роман Григорьевич, своей дорогой... я и так помираю... А барахла моего все одно тебе не видать. Я хоть в дураках у тебя хожу, а давно тебя раскусил. Давеча... В Красноярске обиделся ты за то, что наводчиком тебя назвал. А ведь ты ни к чему другому не способен. Я — бандит, душегуб... А ты хитрее. Ты к любой власти присосешься... ровно глиста поганая...

Жернявский слушал, как всхлипывает и судорожно ловит воздух Брагин при каждом вздохе. Смотрел с усмешкой в лицо обреченному.

— Жаль, что я раньше этого от вас не слышал... таких зрелых мыслей. Прямо для передовой статьи «Крестьянской газеты». Ну, что ж, я действительно приспособленнее вас. Ваш конец закономерен: не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц. А я еще долго проживу. И, возможно, даже буду полезным членом нового общества. Бухгалтер, например, я неплохой. Мне ведь что нужно? — Жернявский пошелестел деньгами. — Пустяки. Ради этого совсем не надо убивать. Нужно иметь только умную голову, а дураки найдутся. Дураки были во все времена — к счастью, у новой власти против этого никаких рецептов пока нет: она больше озабочена вопросами классовой борьбы.

Жернявский перестал юродствовать и, нагнувшись к Брагину, прошептал медленно, с угрозой:

— Так где тайничок-то?

Брагин, напряженно скосив на него глаза, молчал.

— Ну, и черт с тобой, дурак, — пробормотал Жернявский. Он поднялся и, подойдя к кровати, достал из-под нее примеченный им во время обыска бидон с керосином...

Катерина очнулась от нестерпимой боли и удушья. Не понимая, где она и что с ней, подняла голову: по полу клубами стлался дым. Рядом кто-то лежал и по его телу скакали, то вспыхивая, то угасая, языки пламени. Катерина услышала слабый хрип возле кровати и поползла туда. Там, повиснув на веревках, шевелился Брагин. Она зубами развязала узлы и, распутав веревку, оттащила его на середину избы. Он что-то шептал, шаря у себя на груди. Катерина приподняла ему голову.

— Скорее... Слышишь, Катька! Под койкой... подними доски. Там — ход. А-а... Кто дурак? Брагин? Смотри! Жив буду — озолочу... Перед богом — женой будешь! Вот... их благородие не догадались обыскать... побрезго-

вали... — он схватил ее руку и надел на палец скользкий от крови перстень. — Вот только меня сперва...

Брагин все быстрее шарил руками. Вдруг изо рта хлынула кровь, он завалился на бок, да так и замер, неудобно подобрав под себя руку.

Теряя сознание от боли в голове, почти ничего не видя и задыхаясь от дыма, Катерина подползла к кровати. Ломая ногти, попыталась поднять одну доску, другую. Третья поддалась. В лицо пахло душной, прохладной сыростью...

* * *

Голубь стоял, кусая губы, глядя на легкий дымок, курившийся над пепелищем. Теперь стало ясно: Казанкин говорил правду. Кто-то ловко подкузьмил его этой запиской. Но кто, Масленникова или Жернявский? Ни той, ни другого в Ачинске нет. Испарились. Исчезла Серова. И Брагин исчез. Подопригора убит. А виновник всему он — Голубь.

— Что глядишь невесело?

Голубь угрюмо посмотрел на подошедшего Коновалова.

— Чему веселиться? Сашка меня, наверно, до последней секунды ждал...

— Не казни себя, Тима, — Коновалов тронул его за плечи. — Ты не Иисус Христос. В записке было сказано, что Брагин в Ачинске. Да и с Казанкиным если бы не разобрались... Ты об этом зимовье от кого узнал? От Казанкина. Об участии Брагина в березовском налете? От него же. А если бы мы не раскололи в ту же ночь? Сейчас хоть факты можно предъявить.

— Кому предъявлять, костям вон тем? И что предъявлять? Гори оно огнем — предъявление это... — Голубь кивнул в сторону пожараща.

На обратном пути Голубь неожиданно подъехал к Коновалову.

— Я подам рапорт Васильеву.

— О чем?

— Об увольнении.

— Ты сдурел!

— Я уйду из уголовки, Коновалов. Сашкина смерть на моей...

— Интеллигент вонючий! — заорал Коновалов. — Гимназист! Уксусу выпей — еще красивше будешь. Ду-

маешь уволишься — Сашка оживет? А ты... Я знаю, почему ты заныл. Служебного расследования боишься. Заранее штаны снял: виноват, мол, сознаю и прошу уволить. Эх, Тима, я-то думал, у тебя кишка покрепче.

— Нормальная у меня кишка, не кричи, — ответил Голубь, собирая поводья. — А из милиции я уйду. Не могу я за свою глупость человеческой жизнью расплачиваться. Тяжело это, Коновалов. Я тебе объяснить не могу...

Коновалов помолчал, потом сухо и почти спокойно сказал:

— Хочешь уходить — на здоровье. Поминки устраивать не буду. Сашке устрою, а тебе — нет. Разными путями вы из милиции уходите.

В семи верстах от Парново обнаружено сгоревшее зимовье и в нем останки двух человек. Установить их не представляется возможным ввиду сильного обгорания. Есть основания предполагать, что останки принадлежат двум членам банды Брагина. Сам Брагин, видимо, скрылся со своей сожительницей Масленниковой, так как по месту жительства последняя не обнаружена.

(Из оперативной сводки по Сибкраю за 30 июля 1925 года)

ЭПИЛОГ

— Голубь! К телефону.

— Здорово, начальник! — услышал Виктор в трубке знакомый насмешливый голос.

— Реук! Ожил, бродяга! — закричал он. — Ты откуда звонишь?

— Снизу, с вахты. У вас тут порядок, как на мясокомбинате. Пройти нельзя. Ты спуститься можешь? Давай где-нибудь посидим, все равно уже поздно. Или ты занят?

Они пошли в кафе недалеко от управления. Здесь было пусто, продавщица ушла в подсобку и гремела там ящиками.

— Лежал я четверо суток без сознания, ощущение — будто ночь хорошо поспал... А потом начал летать.

— Как это?

— Лежу на кровати, а кажется, что она поднимается вертикально — ну, и я, естественно, с ней. И такое ясное

ощущение, что хватаешься за кровать, чтобы не выпасть. Кормили по-царски: двадцать пять граммов бульона и двадцать пять граммов воды. Правда, есть не хотелось.

— Бедный ты, бедный! — Голубь жалостливо посмотрел на друга. — Что, больше нельзя было?

— Он мне подвздошную кишку порвал, — объяснил Реук, — желудок и еще что-то. Понимаешь, мы когда из вертолета вылезли, Сергеева уже в партии не было.

— Я с ребятами к зимовью подошел — тишина. Участковый к окну встал, а я в дверь стучу. Опять тишина. Я дверь толкнул — она медленно так открылась. Стою, ничего не понимаю: нет его, что ли? Или спрятался? И уже в какую-то секунду до выстрела увидел в щели двери ствол. Ну, кинулся, конечно, в сторону... Выстрелил он из «тозовки» — я бы царапиной отделался. А там — жакан! Но тебе я тоже не завидую, — усмехнулся Реук.

— Это когда Сысоева откопали? Завидного, конечно, мало. Лидка в обморок упала. А потом — началось. Она кричала на всю улицу, как только Сергеева не называла. Проболталась, что Сергеев паспорт убитого берег для себя.

— А тот?

— А что тот? За ним в Минске убийство, ты лежишь, неизвестно, на каком свете — и тут еще Сысоев. Семь бед... Скрипел на нее зубами, потом уж взмолился: уберите эту тварь, пока я ее не пришел, сысоевские деньги-то вместе делили... Лидка, как услышала, аж взвыла: врешь, я не знала, что он в погребе! Сергеев ей: зато все остальное знала! Словом, нашли друг друга: носок да рукавичка — и оба шерстяные.

— Да, — вздохнул Реук, — весело время провели. Да ко всему еще и дома горе. Долго не забуду.

— Как дома? Ты же холостяк?

— А помнишь, мы на Туркане к бабке заезжали? Баба Катя. Она еще до войны мать мою удочерила, а после ее смерти меня на ноги поставила. Я ведь рано осиротел. Ну вот, а пока я в больнице валялся, она ко мне ездила — это осенью-то с Туркана, при ее возрасте. Простудилась, конечно. Схоронил я ее недели две назад. Последние дни от нее не отходил. Бредила, какую-то избушку вспоминала, пожар, тайный лаз... И почему-то к этому делу приплетала все время тебя и какого-то Брагина.

— Меня?

— Тебя. Вроде как ты ее должен от кого-то спасти... Бред, одним словом. Когда в себя пришла, я у нее пытался выяснить, о чем она бредила. Она улыбается и молчит. Я еще ей напомнил, как она тебя звала. Пошутил, уж не влюбилась ли ты, бабка, в Голубя. А она — и впрямь: перстень сняла с пальца (у нее шикарный перстень, сколько себя помню, носит) и мне подала. Передай, говорит, Голубю своему, скажи от Катерины Масленниковой память.

Реук вынул из кармана комок бумаги, развернул его.

— Держи бабкин подарок.

Голубь с удивлением рассматривал серебряный перстень старинной работы. На внутренней стороне ободка он различил какие-то буквы. Он повернул перстень к свету и прочитал, видимо, давно выцарапанную и полустертую временем надпись: «БРАГИНЪ».

— Больше она ничего не говорила?

— Про твоих родителей спрашивала, не из Ачинска ли.

— Родители? — Голубь пожал плечами. — Нет. Дед у меня жил одно время в Ачинске. В двадцатые годы еще. Может, она его знала?

— Он у тебя кем был?

— Дед у меня был боевой! Комсомолец двадцатых годов. В ЧОНе за бандами гонялся, в милиции работал. Только недолго. Что-то там у него случилось: бандита какого-то упустил, а тот потом застрелил его друга... Или наоборот: сперва бандит застрелил его друга... Что-то в этом роде. Словом, ушел он из милиции. Я это из материнских рассказов знаю, отрывочно. Дед-то у меня не из говорливых был.

— Ну, а я о бабе Кате и того меньше знаю.

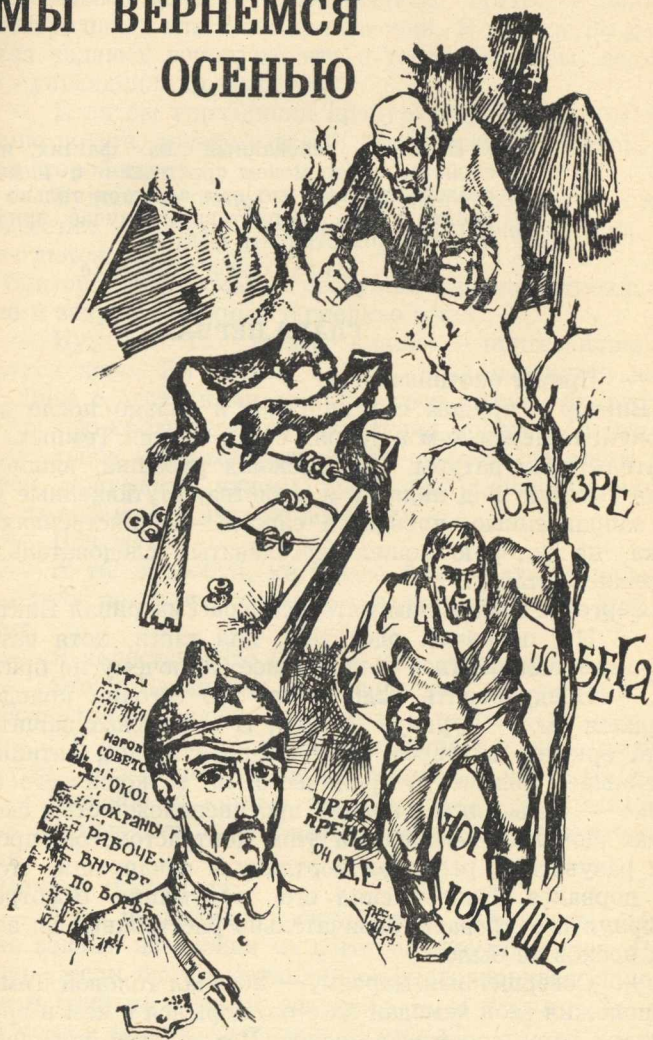
— Вот и спросил бы, пока с ней сидел.

— Я же говорю, спрашивал. Она сперва отмалчивалась, а потом сказала, что за свои грехи сама перед богом ответит. Еще что-то из писания мне цитировала, я точно забыл, а смысл помню. Что-то вроде: блажен тот, кто ни хрена не знает.

— Может, она и права, — проговорил Голубь, глядя на перстень. — Только, кажется мне, что бабке твоей было о чем рассказать. Впрочем, сейчас уже все равно.

Они расплатились и вышли из кафе. Стемнело. Сквозь пелену мелкого осеннего дождя виднелись желтые расплывчатые круги фонарей.

МЫ ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ



Вымысел, основанный на фактах, имеет свойство со временем срастаться с ними настолько прочно, что вам остается только уверовать в него. В противном случае придется вместе с ним отрицать факты.

Из разговора в автобусе

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Привет охотникам!

Виктор с трудом стянул сапог и только после этого обернулся. Перед ним в дверях стоял Сергей Темных, следователь прокуратуры. Белоснежная рубашка, вишневого цвета галстук, под пиджаком жилетка, отутюженные брюки, заправленные, правда, в сапоги, — единственная уступка, на которую пошел щеголеватый следователь, отправляясь в тайгу.

Сергей с меньшим интересом рассматривал Виктора.

— Ну, положим, одет ты... для тайги, хотя ватник, например, мог найти и попримечнее. А почему не брит?

— Предупредить надо было, что сегодня приедешь, побрился бы, — буркнул Виктор. В солдатских защитного цвета брюках, в старом, латаном-перелатаном ватнике, в потерявшей вид не то кроличьего, не то кошачьего меха шапке — он выглядел полной противоположностью своему гостю. Донельзя обиженный этим контрастом, он, продолжая разуваться, размотал портянку и обнаружил, что носок порвался. Виктор снял его, задумчиво осмотрел и швырнул под кровать, окончательно расстроившись: запасных носков не было.

— Совершенный маразм, — покачал головой Темных. Он положил свой чемодан на стол, порылся в нем и вручил Виктору пару шерстяных носков. После этого, подняв правоучительно палец, продолжал. — Ты как работник уголовного розыска деградируешь, и этому, сколько я заметил,

споспешествуют три условия. Первое — постоянное и преимущественное общение с преступным миром. Второе — дефицит свободного времени, мешающий тебе хотя бы в общих чертах ознакомиться с культурными ценностями, накопленными до тебя человечеством. Третье — иллюзия бесконтрольных властных полномочий. Я вообще на досуге иногда задаюсь вопросом: что с тобой было бы, если бы вдруг упразднили прокуратуру?

— Если бы упразднили прокуратуру, у тебя было бы меньше досуга, только и всего, — прокряхтел Виктор, стягивая второй сапог.

— Будешь дерзить — заберу носки обратно, — кротко заметил Темных. — А теперь расскажи лучше, как подвигаются наши дела.

Виктор неторопливо переобулся, удобно устроился на койке и закурил. Темных терпеливо ждал.

— Ну, что? По всему видать — приостанавливать придется дело. Во всяком случае, пока надеяться не на что. Днем с охотниками хожу по лесу, птичек фотографирую, ночью в засаде сижу. Баландин вокруг деревни мотается, хлеба надеется раздобыть, патроны наверное кончаются, документы нужны. Раза два ночью выходил из леса, да собаки его чуть не погрызли.

— Почему?

— А ты попробуй, не меняй белья в тайге полмесяца — тебя не то что собаки — жена близко к дому не пустит.

— Я холостяк. Что ты намереваешься делать?

— Это у Баландина надо спросить. Он, видимо, уже на последнем самолюбии держится. В тайге весна, есть ему нечего... Я тут между делом кое-какие справки навел — тебе для работы пригодится. Материалы в папке на столе.

— Спасибо. А как ты тут вписался? Все еще в фотокарабах ходишь или уже опять — старший лейтенант милиции?

Виктор улыбнулся:

— Уже подрядили доску Почета оформить. Имею также заказы населения на изготовление портретов. Жить можно... если бы не Баландин, — он повернулся лицом к стене и сонным голосом попросил. — Я посплю. Ты разбуди меня к вечеру, часиков в десять, а?

Сергей взял папку с материалами и стал ее просматривать.

Баландин в пьяной ссоре застрелил соседа и скрылся

в тайге — вот и все дело, не считая нюансов. У Виктора одна цель — найти убийцу. Ему, Сергею Темных, требуется собрать и тщательно зафиксировать все доказательства вины Баландина для суда, когда его разыщут. Ведь все равно когда-нибудь да разыщут.

— Например, к морковкину заговенью, — пробормотал Сергей, закрыв папку с материалами.

Дело, однако, от этого страдать не должно. Любая мелочь может в суде сыграть решающую роль в поисках истины, и, если даже сама истина очевидна, в суде ее нужно все равно доказывать. На то и суд.

— Начну-ка я, пожалуй, с сельсовета? — задумчиво спросил Сергей, глянув в зеркало и, получив от своего отражения утвердительный кивок, пошел одеваться.

...Виктор за время работы в управлении уголовного розыска изъездил большую часть края. Знал в лицо почти всех начальников милиции, следователей прокуратуры, не говоря об оперативниках. С Сергеем же познакомился только в этой командировке. У них сразу установились приятельские отношения, сдобренные изрядной долей иронии. Уже на оперативном совещании в окружном отделе милиции следователь привлек его внимание не то, чтобы аккуратным — праздничным видом. Со смешанным чувством удивления и обиды Виктор подумал тогда, что и ему никто не запрещал появиться в отделе таким же пижоном. Нет — привык быть сереньким. Однако с признанием достоинств следователя решил повременить до той поры, пока тот не заговорит.

Темных же молчал, слушал начальника милиции, грузного, седоватого майора, излагавшего обстоятельства убийства и ход работы по розыску Баландина.

— Поселок находится в 165 километрах от Байкита... по реке, — продолжал начальник, постукивая карандашом по столу. — Через два дня после происшествия вылетели туда вертолетом начальник районной милиции и старший инспектор угрозыска...

— Почему через два дня? — спросил Голубь.

— Погоды не было, — ответил вместо начальника Темных, а тот продолжал. — Однако за день до их прилета Баландину удалось проникнуть домой, взять припасов и снова скрыться, причем охотники пытались его задержать, и он, отстреливаясь, ранил одного из них. Сейчас там находится старший инспектор угрозыска. Пока вот четыре дня прошло — Баландин не появлялся. Есть мнение,

что он ушел из этого района тайги и направился в сторону Байкита...

— Чье мнение? — снова спросил Голубь.

— Начальника Байкитской милиции, — поднял на него глаза майор. — С ним по рации из поселка разговаривал старший инспектор. Сказал, что бессмысленно сидеть в поселке. Просился в Байкит, — майор усмехнулся. — Дочка у него там родилась. Но версия в общем-то убедительная. Возле Байкита оленьи стада, совхоз там. А ему одному в тайге сейчас тяжело. Хлеба он успел взять — почему бы и не податься к Байкиту?

— А дальше?

— А дальше — на запад, к Енисею. Ну, и к вам — на магистраль.

— Документы у него с собой?

— Нет, — покачал головой начальник милиции. — Вот из-за этого я работника и держу в поселке. Без документов Баландину на людях не показаться. А ему ведь первое время хотя бы легализоваться надо. Документов же его дома не нашли. Скорее всего, мать спрятала. Обыск делали — бесполезно.

— Ну, и что вы предлагаете? — спросил Виктор Голубь.

Начальник пожал плечами.

— В стадах все пастушьи бригады имеют рации. Появится Баландин — предупредят. Поселок контролирует наш работник. Остается ждать, когда у Баландина не выдержат нервы, или он...

— Захочет кушать, — подсказал следователь, невинно глядя на Голубя.

— Да, — невозмутимо подтвердил майор. — А вы предлагаете гоняться за ним по тайге? — он мельком оглядел отутюженного следователя и с едва уловимой иронией закончил. — Не рекомендую: он с пяти лет охотник.

Снова наступила тягостная тишина. У Виктора зрели возражения по поводу позиции начальника милиции, но он терпеливо ждал, когда заговорит Темных. Судя по реплике, он тоже не согласен с планом розыска.

— Разрешите? — Темных поправил ослепительный платочек, ровной полоской белевший в кармашке пиджака. — Позиция руководства отдела мне ясна. Закрыт район Байкита, закрыт поселок. Остается ждать, в каком из этих двух мест появится Баландин. Это зависит, как я понял, от запасов продуктов, которые он успел взять.

— Там небольшой сидор у него был, — неохотно вставил начальник милиции. — Охотники говорили: краюхи две хлеба, картошка... Дня в три-четыре съесть должен... Если, конечно, не растянет.

— Четыре дня прошло, — заметил Темных, — тем не менее, Баландин не появляется. Где же он может быть? — следователь загнул палец. — Первое: он охотник, знает уголья и расположение лабазов, а там всегда найдутся продукты. Сколько он таким образом может прожить, не привлекая нашего внимания?

— Долго, — покачал головой начальник милиции. — Сейчас охотники вышли из тайги, сидят по домам. Может, ближние лабазы кто из них и посещает, а дальние — навряд ли...

Темных загнул следующий палец:

— Второе. Я недавно работаю на Севере, но мне кажется, что разговор байкитского инспектора по радиации вряд ли составляет секрет для небольшого поселка. Это я к тому, что если в поселке известно мнение милиции о предполагаемом передвижении Баландина к Байкиту, то почему оно не может быть известным самому Баландину? У него там родственники, которым путь в тайгу не заказан — хоть днем, хоть ночью, так?! Я предполагаю это в качестве версии. Возможно такое?

— Хм... возможно, — проворчал майор.

— А если возможно, то Баландину выгоднее оставаться возле поселка, пока... — Темных с юмором взглянул на Виктора, — пока милицейское начальство не дозреть до принятия этой версии в качестве основной и не отзовет инспектора обратно в Байкит. И, наконец, — Темных помолчал. — Вашего сотрудника угрозыска все знают, в том числе и Баландин. И куда бы он ни пошел...

— Что ж ему, оперативнику, по-пластунски ползать в поселке? — обиделся майор.

— Это он, видимо, к тому, Иван Данилович, — перебил его Голубь, — что меня там никто не знает.

Начальник посмотрел на него. Прищурился.

— В шпионов играть будем? И кто нам это предлагает? Прокуратура?

— Очень плохо, что прокуратура, — спокойно возразил Голубь. — Самим надо было догадаться.

— Иван Данилович, — вставил Темных, — я не собираюсь навязывать своего мнения. Но ведь вы прекрасно понимаете: посижу я там неделю, допрошу людей — при-

остановлю дело. Если у вас нет других предложений, то... Баландин нам за это только спасибо скажет.

— Действительно, Иван Данилович, — поддержал его Виктор, — давайте сейчас решать, что делать. А то ведь он, — Виктор показал на следователя, — приедет в поселок и, не будучи в курсе наших планов, всю малину... испортит.

— Как бог свят, — весело согласился Сергей. — Я лицо официальное, притворяться не умею.

Начальник покрутил головой, глядя то на одного, то на другого.

— Это когда же вы спеться успели? Ну, хорошо. Только давайте отчетливее продумаем идею вашего... изобретения. Расшевелить, что ли, Баландина?

— Создать видимость обстоятельств, которые притупили бы его подозрения, внушили мысль о возможности появления в поселке, — объяснил Голубь. Темных одобрительно кивнул ему, и Голубь продолжал, — пусть ваш инспектор еще раз обговорит эту свою версию об отсутствии Баландина с начальником, подтвердит ее какой-нибудь придуманной правдоподобной информацией — и тот отзовет его из поселка. Я же туда прибуду под видом геолога...

— Геолога — это... — поморщился майор. — В такую рань геологу в тайге делать нечего.

— Ну, журналиста, неважно...

— Фотокорреспондентом! — подсказал Темных. — Фотокорреспондент приехал снимать виды. И привезти его должно нейтральное лицо, ну, там кто-нибудь из отдела культуры...

— А в качестве провожатых в тайге попросить дать ему двух-трех охотников. Вот тебе и поисковая группа! Надежные кандидатуры мы выясним через тамошнего инспектора и тебе дадим, — майор взглянул на Голубя. — Годится?

— Дня через два, — продолжал Темных, — подъеду я. Поселимся, естественно, в одном доме приезжих...

— У них там нет дома приезжих. Ничего, подберем вам... чтобы подальше от глаз и вместе, — проговорил майор, делая пометку в блокноте. Он покачал головой. — В общем, конечно, до ЦРУ нам далеко, и фотокорреспондентская деятельность твоя продлится, на мой взгляд, не более трех-четырех дней. Потом тебя все раскусят. Но нам этого хватит. Если за это время Баландина не беспокоят твои фотоэкскурсии и не соблазнит отъезд байкитского

инспектора — а мы организуем ему пышный отъезд, — то... Либо его там нет, либо он все понял. Что до первого, то ты, я думаю, с охотниками в первые же дни разберешься. А если он все поймет...

— Тогда Баландин вынужден будет уходить на Байкит, — пожал плечами Голубь. — Тоже неплохо.

— Неплохо... — пробормотал майор. — Только кто же в поселке будет, пока ты по тайге шастаешь? Может, все-таки оставим инспектора, а?

— Нет. Баландина нужно выманить из тайги. А для этого — убрать милицию из поселка. Пусть инспектор перед отъездом организует дневные дежурства охотников возле дома Баландина. Я думаю, мы с ним увидимся и обсудим это.

— Ну, что же, — майор пожевал губами. — Диспозиция вроде обозначилась. Давайте рассмотрим технические детали...

С совещания Сергей и Виктор вышли вместе.

— Что же это ты, товарищ из управления, молчал? — поинтересовался Сергей, предлагая Виктору сигарету. — Это ведь тебе нужно было выступать, а мне слушать.

— А у меня правило — не соваться со своими предложениями без особой нужды, — невозмутимо ответил Виктор, прикуривая. — Скажи спасибо, что тебя поддержал. И потом, чего ради я должен бить горшки с Иваном Даниловичем? Оно, как видишь, и без битья все закончилось... к обоюдному удовольствию.

— Ну, ты... миротворец, как я погляжу. С чего бы это?

— С того, — пожал плечами Виктор. — Может, я с Данилычем насчет рыбы договорился. Красной. Откуда ты знаешь?

— Вот пижон! — изумился Сергей. — И много вас таких в управлении?

Голубь поправил ему галстук и нравоучительно продекламировал:

— Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?

Темных некоторое время смотрел на него, потом вздохнул:

— Ладно. Пошли ко мне. У меня тоже рыба. Правда, не красная, да ведь ты же — с магистрали. И пелядке рад будешь...

— Вот это другой разговор, — удовлетворенно кивнул

Виктор. — С этого бы и начинал. А то «пижон», «миров-творец»... Тоже мне, евангелие от Сергея.

На другой день Виктор вылетел в поселок. Инструктор отдела культуры, молоденькая девушка, полдня водила его, показывая достопримечательности. Проклиная ее добросо-вестность, Виктор стоял на берегу Тунгуски, куда девушка привела его. По реке шел лед.

— Вот погодите, река очистится через день-два, — объяснила ему девушка, — и вам обязательно надо будет съездить на мыс Пролетарского. Это недалеко.

— Мыс... как вы сказали? — удивился Голубь.

— Пролетарского, — повторила девушка. — Был та-кой человек. Погиб здесь в 1936 году. Неужели вам ни-чего не сказали в окружном отделе культуры?

— Да, я, знаете ли... — промямлил Виктор. — Мы все больше насчет пейзажных снимков обговаривали... У ме-ня тематическая командировка... целевая. Но я заеду на обратном пути в Байкит и все узнаю. Пролетарский... ин-тересная фамилия.

Он уныло подумал, что девушка вряд ли увидит его в Байките и сочтет трепачем. А жаль, девушка была кра-сивая.

...За то время, пока Сергей не был в поселке, Виктор перезнакомился с охотниками, организовал несколько по-исковых групп, которые под видом сопровождающих целы-ми днями прочесывали с ним тайгу. Недалеко от балан-динского жилья, в спрятавшейся за оградой баньке каж-дую ночь выставлялась засада, о которой в поселке кроме Виктора знало два-три человека. Зато о другой, «скрыт-ной» засаде, устроенной в дневное время в сарае возле дома Баландина, знал весь поселок.

Виктор уже привык к жесткому режиму, почти не ос-тавлявшему времени для сна. В поселке к нему привыкли, и никто, кроме посвященных, не сомневался в том, что с утра фотограф лазит с охотниками по тайге, днем запира-ется и проявляет свои снимки, а ночью спит. Правда, по-говаривали, что командированный наповадился тайком бе-гать к воспитательницам (все четверо жили при яслях и бы-ли незамужними). Кто-то даже вроде видел, как он утром возвращался к себе, озираясь, как кот. Но, учитывая ве-сеннее время, избыток в поселке женского одинокого насе-ления, а также несерьезную профессию приезжего, — яв-

ного осуждения в адрес фотографа общественное мнение не высказывало. А Голубь, узнав об этом, был даже горд и пожалел, что недостаток времени не дает ему возможность подтвердить слухи.

Иногда перед тем как заснуть, он вспоминал то, что сказала ему девчонка из отдела культуры о Пролетарском. Он тогда удивился, потому что не мог сообразить, где слышал эту необычную фамилию. Несомненно псевдоним, причем оттуда, из тридцатых годов. Пролетарский, Первомайский, Веселый... Веселые, задорные фамилии. Где-то ему встречалась и эта. Но где, когда?..

ГЛАВА ВТОРАЯ

В январе 1937 года на станции Сиверская, недалеко от Гатчины, с поезда сошел невысокий человек лет тридцати. Круглое небритое лицо его выражало тоскливую озабоченность, он простуженно шмыгал носом и перекладывал из одной руки в другую небольшой деревянный чемоданчик. Выйдя из дверей вокзала, достал какую-то бумажку и принялся разбирать написанное.

— Гражданин, предъявите документы!

Человек вздрогнул от неожиданности и с готовностью полез в карман за паспортом. Этот паспорт милиция проверяла несчетное количество раз, и всегда все сходило, поэтому он не волновался. В чемодане у него были: паяльник, напильник, кусок олова, канифоль, немного сала и краюха хлеба.

— Чем занимаетесь, гражданин Волхонкин? — спросил милиционер, продолжая изучать паспорт.

— Я лудильщик, вот приехал по адресу... здесь написано... — он достал бумажку и показал милиционеру.

— Ладно, можете идти.

Милиционер взял под козырек, возвратил бумажку, паспорт и пошел на вокзал, лениво посматривая по сторонам. Волхонкин поглядел ему вслед, выругался шепотом и, подхватив чемодан, побрел прочь от вокзала.

За этой сценой из окна пустого зала ожидания следили двое мужчин, по виду — проезжих пассажиров. К ним-то и подошел милиционер.

— Говорит, по улице Либкнехта восемнадцать у какой-то бабки сторговался кастрюли чинить. Бумажку показал с адресом, — сообщил он тому, что постарше.

— Если адрес случайный — будем брать вечером, — сказал тот, что постарше своему напарнику.

Вечером Александр Волхонкин, он же Георгий Самарин, был задержан.

...В камере Самарин повалился на нары, закинув руки за голову. Видимо, теперь его повезут в Красноярск, может, в дороге будет возможность побега... В коридоре кто-то подошел к двери, заглянул в глазок. Проверяли. Нет, видать, отбежался. Теперь надо готовиться к очным ставкам. С Жернявским в первую очередь... Самарин вспомнил худого добродушного старика. Если бы не он, если бы хоть кто-нибудь другой, ну, Козюткин, что ли, — тогда бы еще оставалась слабенькая надежда. А теперь ее не было. Никакой надежды. Ничего не было. Одни воспоминания...

Георгий Самарин считал себя везучим. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, семья переехала из Петрограда в Сибирь. Деревенские мальчишки, с которыми Георгий быстро и легко сошелся, смотрели на него — питерца — с почтением, и это наводило на мысль о некотором преимуществе. Когда ему, шестнадцатилетнему парню, предложили стать заведующим районной избой-читальней, Самарин снова понял это, как некое отличие его от своих сверстников. Ему хватало ума не обнаруживать превосходства над сверстниками, но про себя он считал их людьми второго сорта, неспособными выполнять роль, предназначенную для него. Правда, что это за роль, он и сам хорошо не представлял. Свое следующее назначение на должность секретаря сельсовета Георгий принял уже как естественное признание своих достоинств и очередную ступень, ведущую к этой самой неведомой еще, но значительной роли. Без особых усилий Самарин постиг свои новые обязанности, обзавелся массой знакомых, которым был нужен и полезен, при случае не отказывался от подношений, не отягощая себя оправданиями. Последнее время он, правда, стал все чаще испытывать раздражение — от глупых просителей, от их дурацких подарков, от мелких дел и обязанностей, на которые ему было в сущности наплевать. Он чувствовал, что полоса везения, по которой он привык с детства шагать, кончилась, а возделенной роли так и нет. И именно это его угнетало, а не надоевшая канцелярская работа.

Самарин прибыл в Байкит осенью тридцать пятого года.

В райисполкоме он обратил внимание на высокого черноволосого парня его возраста. Тот, видимо, ждал приема: раза два коротко взглянул на Самарина, присел рядом на скрипучую скамью — ждать было скучно.

— Откуда, товарищ?

Самарину тоже надоело сидеть молча.

— Из Красноярска по направлению. Вообще-то я ленинградец...

— Что ты говоришь! Вот встреча, так встреча! Я тоже ленинградец... На Литейном жил, а ты?

— Я не в самом Ленинграде — в Ораниенбауме.

— А к нам на Север как попал?

— Был избачом, потом секретарем сельсовета. Сейчас вроде как на повышение сюда послали. А тебя?

— А его тоже на повышение, — раздался неожиданно чей-то голос.

Самарин обернулся: позади с папкой под мышкой стоял невысокий с гладко обритой головой человек и, улыбаясь, глядел на них. Бритоголовый тронул легонько папкой Самарина, кивнул его собеседнику и, открыв ключом дверь, на которой было написано «Пред. Байкитского Туз. Рика Лозовцев», показал рукой — проходите.

— Садитесь. Вы, как я понял, Самарин? Прощу извинить за подслушанный разговор, но свободной должности секретаря у меня нет. Пока... Кроме того, некоторые исторические и географические особенности развития нашего района требуют от советских работников определенного опыта работы именно в условиях Севера. Что?

— Но мне говорили...

— Первое время будете работать уполномоченным по заготовкам пушнины. Здесь вы быстрее познакомитесь с людьми, с системой нашего хозяйства — она имеет некоторые специфические особенности. Ваша задача — активизировать деятельность интеграла...

— Какой интеграл! Товарищ Лозовцев, я не понимаю... Я же по направлению в ваш Рик... секретарем... — начал Самарин дрожащим от обиды голосом.

— А я вас что — на Северный полюс посылаю?

— Но ведь не секретарем...

— Послушай, Самарин... как тебя зовут?

— Георгий.

— Так вот, Георгий, чего ты бузишь? Ты местный язык, обычаи знаешь? Ты задачи интеграла знаешь? Ну, каким ты сейчас будешь, к черту, секретарем Рика? Туз-

рика! Знаешь, что это такое? Ту-земный районный исполнительный комитет!

Лозовцев спросил Самарина о чем-то на непонятном языке.

— Что? — растерялся тот.

— Переведи, — кивнул Лозовцев его новому знакомому.

Тот, улыбаясь, перевел фразу.

— Понял? А ты мне говоришь «что». Как же ты будешь проводить на местах политику партии в отношении малых народностей Севера, если даже языка их не знаешь? Теперь посмотри на мое предложение. Ты знаешь, что такое пушнина? Это — золото. Валюта! Государственной важности дело. Нужно наладить учет, контроль за ее поступлением. И Советская власть это дело тебе доверяет, потому что видит — оно тебе по силам. Так какое право ты имеешь отказываться от этого поручения, а? — Лозовцев ткнул в сторону черноволосого парня. — А ты что молчишь? Скажи ему, прав я или нет! Кстати, вы незнакомы? Знакомьтесь! Это, Николай, наш новый уполномоченный по заготовке пушнины, Самарин Георгий... как по ба-тюшке?

— Васильевич, — пробормотал Самарин, немного ошалевший от такой напористости. — Но я же еще не...

— А это, — не обращая внимания на его попытку возразить, продолжал Лозовцев, — начальник нашей Байкитской милиции, Николай Осипович Пролетарский.

Он повернулся к парню:

— На бюро твоя кандидатура утверждена, приказ о назначении подписан, согласие, вроде, имеется...

— Да, согласие-то имеется, — вздохнул Пролетарский. — Вот опыта у меня не имеется. А опыт, сами понимаете, это...

— И ты туда же! Опыт — это привычка быть битым. Судя по вашему поведению этот опыт скоро у вас обоих появится. И довольно об этом. Послушайте меня, — Лозовцев обнял за плечи Самарина и Пролетарского. — Вы хорошие, умные ребята. Поймите — никто, кроме вас сейчас не сделает эту работу. Привыкайте к ответственности. Через десять-двадцать лет вырастут другие люди — а вы что же? Все в мальчишках будете ходить? Куда пошлют? Хороши строители социализма! Я вам даю дело, на котором вы можете себя попробовать. Как наша смена. Как будущие хозяйственные и партийные руководители. Как муж-

чины, в конце концов! Хотите узнать, на что вы годитесь? Пролетарский и Самарин молчали.

— Ну, вот, — удовлетворенно произнес Лозовцев, — приятно слышать умные речи. Тогда — в добрый путь! Выдвиженцы вышли из Рика вместе.

— Ну, как тебе прием? — поинтересовался Пролетарский.

— Несерьезный какой-то мужик, — поморщился Самарин.

— Нет, брат, не понял ты его. Мужик самый серьезный. Со Щетинкиным и Кравченко вместе воевал, еще тогда... против Колчака.

— Что ты говоришь? — рассеянно произнес Самарин.

— Точно. А потом здесь Советскую власть устанавливал. Первые кооперативные лавки организовывал. Его с тех времен эвенки так и прозвали — «красный купец».

— Слушай, а что это он про интеграл какой-то говорил? Я в математике, знаешь...

— Так я же и объясняю: он этот интеграл и организовал, ну — форма кооперации... форма объединения охотников для совместного пушного промысла. Интеграл снабжает охотников необходимыми товарами, продуктами, снаряжением, а они сдают добытую пушнину в интеграл. Тебе обязательно придется разобраться в этой конторе.

— А куда денешься, — уныло вздохнул Самарин.

— Георгий Васильевич, погодите минутку!

К новым знакомым от здания райисполкома спешил по тропинке пожилой высокий человек в старом пальто и шапке-ушанке. С трудом отдышавшись, он отрекомендовался:

— Жернявский Роман Григорьевич, главный бухгалтер интеграла. Вы Самарин, новый уполномоченный, верно? Настоятельным образом прошу вас остановиться у меня. Кстати, и вам будет полезно, ведь никто лучше меня не расскажет о будущей вашей работе. Наконец, я выполняю поручение председателя Рика — он поручил мне взять заботу о вас. Так что — не откажите, Георгий Васильевич. Я тут недалеко живу.

— Ну и напористый народ здесь у вас, — проговорил Самарин Пролетарскому. — Этак вы меня к вечеру жени-те, а завтра я при таких темпах папой стану.

— Очень даже спокойно, — согласился тот и повернулся к Жернявскому. — А меня что же не приглашаете, Роман Григорьевич?

— Николай Осипович, боже мой, да за честь почту! — воскликнул Жернявский. — Мне просто неудобно было делать это по некоторым, известным вам, вероятно, соображениям. Но я давно тешусь тайной надеждой затащить вас к себе. Еще когда вы приезжали по делу о хищении соболей, помните? Мы еще с вами тогда дискутировали о политике... Словом, я скоро вернусь, так что идите ко мне и ждите.

Жернявский церемонно поклонился и направился мимо них по тропке.

— Ну, что, гульнем? — ткнул Самарин Пролетарского в бок, — обмоем вступление в должность?

Пролетарский помялся, потом махнул рукой:

— Была не была! Ленинградцы сюда не каждый день едут.

— А что это он тебе про какие-то соображения намекал? — заинтересовался Самарин, когда они направились к дому бухгалтера.

— Ха! Знаешь, кто он?

— Кто?

— Контрик. Бывший поручик колчаковской армии.

— Но-о!

— Вот и «но». Мы как встречаемся — сразу в топыры. Но что у него не отнимешь — никаких провокаций не допускает. Видишь — даже в гости не приглашал, боялся мне повредить.

— Слушай, я тебя спросить хочу — не обидишься? — Самарин искоса глянул на собеседника. — Что это у тебя фамилия такая? Псевдоним?

— А чего обижаться, — усмехнулся Пролетарский. — Я в восемь лет осиротел. Ну и крутился между добрых людей. У всей нашей слободы в родственниках ходил — я ж фабричный. Так и звали все — Колька Пролетарский. Потом уж, когда документы получать стал — выправил себе эту фамилию. Привык к ней. По отцу-то я Осипов.

Жернявский пришел, когда друзья уже приготовили немудреный стол, растопили печь и немного прибрали в комнате: старик жил одиноко и не особенно заботился о порядке. Самарин посмотрел лежащие на подоконнике книги: старую подшивку «Красной Нивы», «Два мира» Зазубрина, церковные книги — библию, евангелие.

— Интересуетесь библиотекой? — спросил Жернявский, вытаскивая из старой сумки хлеб и две заиндевевшие бутылки водки. — Да, были когда-то книги-книжечки.

Отец у меня любитель... земля ему пухом, приохотил читать. Прошу к столу.

Все расселись.

— Ну, по праву хозяина — за знакомство!

Выпили. Помолчали.

— Роман Григорьевич, — нерешительно спросил Самарин, — извините, вы верующий?

— Это вы библию увидели, — улыбнулся Жернявский. — Нет, стопроцентный атеист, уверяю вас. Но религиозные книги держу и перечитываю. Оч-чень любопытные книги. Христианское учение не может не заинтересовать хотя бы потому, что этот общественно-политический феномен пережил несколько социально-экономических формаций, практически не меняя своей сущности. Судите сами: столько событий прошло, гибли и возрождались государства, а эта по виду простенькая сказка о сыне плотника из Назарета продолжала покорять людей. Ведь кажется, по всем законам учение должно было устареть, подвергнуться моральному износу, нет — живет! И, что характерно, христианское учение удовлетворяло не только разные исторические эпохи — оно удовлетворяло и разные классы. Вот, не угодно ли?

Жернявский потянулся к окну, взял книгу в темном переплете, пролистал несколько страниц и прочел:

— «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Ну, велика ли мудрость? А ведь до Христа были разумники посильнее. С Сократом, например, не сравнишь. Так почему же проповедь именно его — бедного, полуграмотного еврея — стала молитвой царей и рабов, мудрецов и вступающих в жизнь молодых людей. На мученическую смерть шли с этой молитвой! Две тысячи без малого лет помнят люди все, что он говорил. Ну, скажите, Николай Осипович, вот вы скептически улыбаетесь — скажите мне по чистой совести: легла ли в сокровищницу человеческого разума какая-нибудь другая мысль, которая вот так же покорила бы людей?

Пролетарский, покачиваясь на стуле, весело ответил:

— Покорила — не знаю. А вот чтобы людям глаза открыла...

— Это все равно... Ну-те-с!

— «Пролетариату нечего терять кроме своих цепей — приобретет же он весь мир».

Жернявский с книгой в руках, торжествуя, подошел к Пролетарскому.

— Цитирую. Евангелие от Матфея. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Каково сказано, а? Две тысячи лет назад — и прямо к сегодняшней встрече нашей!

Самарин расхохотался и хлопнул Пролетарского по плечу, он заметно опьянел.

— Вот это удар! Лежи, Николай, не брыкайся. Нокаут!

Пролетарский отбросил руку и встал.

— Ну, положим, не нокаут. Можно вопрос, Роман Григорьевич?

— Извольте, извольте.

— Скажите, вот вы сейчас восхищались мыслями о кротости духа, о спасении души... Так?

— Так.

— Вы, как будто, разделяете эти мысли?

— Да, но, повторяю, не все учение. В бога я не верю.

— Не в этом дело.

— А в чем же?

— А в том, что лет двадцать назад у вас на этот счет была иная, прямо противоположная точка зрения. Так?

— Николай, зачем ты это? — Самарин тронул его за плечо.

Пролетарский, не обращая на него внимания, продолжал:

— Уж простите, но нелогично получается: вы ведь в восемнадцатом году руководствовались не евангелием от Матфея, а приказами Колчака, верно?

— Прекрати, Николай! — Самарин сделал попытку встать.

— Замолкни! А когда вам, Роман Григорьевич, кузькину мать показали, вы и нашли себе в утешение сокровищницу эту. — Пролетарский ткнул пальцем в евангелие. — А что делать оставалось, если вам Красная Армия зубы вырвала? Кусаться-то нечем!

— Ну, зачем, зачем ты так! — отчаянно простонал Самарин. — Что тебе тут — комсомольское собрание? Пришли же выпить, посидеть. Неужели нельзя без этих... без этого... горлодерства часа прожить!

— Горлодерства? — Пролетарский недоуменно взглянул на Самарина. — Ты что — грибов поганых наелся?

Не понимаешь, о чем речь? Так все на свете пропить можно...

— Друзья, друзья! — Жернявский поднял руку. — Ради бога... Николай Осипович, Георгий Васильевич... Я вовсе не нуждаюсь в вашей защите. Ничего же не произошло. Никто никого не обидел. И спор очень интересный. Не надо только между собой ругаться. Я отвечу вам, Николай Осипович. Да, я воевал против Красной Армии. Да, выполнял военные приказы. Правда, не самого Колчака, а генерала Анатолия Николаевича Пепеляева — я у него служил.

— Роли не играет, — зло ответил Пролетарский.

— Определенную роль играет, — мягко возразил Жернявский. — Если вы интересовались этим вопросом, военные во главе с командующим войсками Енисейской губернии Зиневичем написали в 1919 году письмо Колчаку, в котором требовали передать всю власть ему, Пепеляеву. Если бы Колчак сделал это — возможно, все сложилось бы по-другому. Пепеляев был коренной сибиряк, его любили солдаты. Пепеляева поддерживала вся интеллигенция, эсеры...

— Да какое это сейчас имеет значение, что вы разговор-то в сторону уводите! Слава богу, историю я знаю. «Интеллигенция, эсеры...» Вы мне еще про опричников расскажите. Речь-то о вас идет, а не о вашем любимом генерале. Вот и скажите мне честно, без уверток: вы лично жалеете, что история не так пошла, как вам бы хотелось?

Жернявский помолчал, машинально листая книжку.

— Жалею, Николай Осипович.

— Так что же вы Иисуса Христа мусолите? Мозги людям пудрите?

— Видите ли, Николай Осипович, истории ведь все равно, что перед ней снимают — шляпу или голову. По здравому размышлению я предпочитаю снять шляпу. Вы верно заметили: кусать-то мне нечем, зубы у меня все вставные. Опять же катар желудка... Нет, в контрреволюционеры я не гожусь. Я обыкновенный старый, пошлый мещанин, который хочет одного — покоя...

В дверь постучали. Жернявский встал.

— Пойду, открою. Только прошу вас, друзья мои, — не ругайтесь. Ну, пусть я буду паршивая, облезлая контра, которую нужно уничтожить как класс. Только вы между собой не ссорьтесь. Это Север — здесь все должны быть друзьями, иначе не выживете. Уж поверьте мне.

Жернявский вышел. Пролетарский помолчал, затем подошел к Самарину.

— Ладно. Поручик прав. В конце концов, встрече это вредить не должно. Мир, а?

Самарин посопел носом, видимо, хотел покуражиться, но махнул рукой:

— Черт с тобой, мир. Только не митингуй больше. Куда годится, — старик в гости пригласил, а его чуть к стенке не ставят.

— Не буду, — усмехнулся Пролетарский, — пей свою водку спокойно.

— А у нас гостья! — раздался голос Жернявского.

Он появился в комнате с девочкой лет четырнадцати, черноволосой, с раскосыми глазами, в пальто нараспашку.

— Знакомьтесь, друзья. Это Иркума Дюлюбчина. Она пришла по очень важному делу. Говори, Иркума.

Девочка, смущаясь, стала объяснять:

— Мы в школе собираем библиотеку. Уже шестьдесят книг собрали... Вот. Может у вас есть книжки? Ребята в школе очень хотят иметь свою библиотеку.

— Конечно, поможем! Поможем, друзья?

Жернявский достал с подоконника «Красную Ниву» и роман Зазубрина. Посмотрел на библию.

— Держи, дружок. Церковные книги ребятам ни к чему. Они хороши для старости, да и то не всегда, как меня в этом только что убедили. А вот эти будут в самый раз.

Самарин виновато развел руками:

— А у меня ничего нет.

Иркума взглянула на Пролетарского.

— У вас тоже ничего нет?

— Есть... только не здесь. У меня в милиции Джек Лондон есть, три тома. Если хочешь, я принесу. Ты ведь в школу идешь? Я тебя провожу, мне все равно по дороге. До свидания, Роман Григорьевич, счастливо, Георгий.

Иркума и Пролетарский ушли. Самарин выразительно посмотрел им вслед.

— Да-а... Начальник милиции у вас действительно... Пролетарский.

— Ничего, ничего, — успокоил его Жернявский, — это знакомство полезно. Приятель начальника милиции — да вам на страшном суде бояться нечего будет! Зря только вы с ним ругаться стали. Ничего, можно списать на молодость. В другой раз будьте осторожнее — с должностны-

ми лицами этой категории надо держать ухо остро... Кстати, ваша должность тоже не без преимуществ.

— Ох, не напоминайте мне про нее, — поморщился Самарин. — Всю жизнь мечтал по тайге мотаться.

— Экое горе, — зевнул Жернявский. — Помотались бы с мое. А вы хоть знаете, что такое пушнина?

— Знаю. Уведомили. «Валюта»... «золото»...

— Послушайте, Георгий... нет, лучше Жорж — можно мне вас так называть?

— Валяйте.

— Я буду говорить откровенно. Я вас очень мало знаю, но вы производите впечатление неглупого молодого человека. Так вот, полагая вас таковым, для справки хочу сообщить, что господин Колчак, в симпатиях к коему упрекал меня Николай Осипович, в свое время продал, отдал... что там еще... подарил девять с лишним тысяч пудов золота американцам, французам, японцам, чехам. Вдумайтесь в цифру — девять тысяч! И только поэтому, именно поэтому полтора года царствовал. Не верьте никому, если скажут о других причинах. Золото — вот причина.

Самарин усмехнулся.

— Что это у нас сегодня только разговоров, что о Колчаке? Ну, растранижил он девять тысяч пудов. Так его уже шлепнули давно. И золота нет. Или вы знаете людей, которые...

— Знаю, — тихо ответил Жернявский.

— Серьезно? Уж не здесь ли они, в Байките?

— Именно.

— Так пойдемте к ним, к этим миллионщикам — может, поделятся, — Самарин развеселился от этой мысли.

— А они здесь.

— Это вы, что ли? — недоверчиво спросил Самарин.

— В какой-то мере, да. Но в первую очередь — вы, Жорж.

Самарин молча смотрел на собеседника, не понимая. Что-то случилось в их разговоре. Жернявский смотрел ему в глаза и ни тени добродушия не было в его взгляде.

— Вы, в силу своих новых обязанностей, Жорж, будете контролировать сдачу пушнины в интеграл. А пушнина — это золото. Понятно?

Самарин встал, обошел неподвижно сидящего Жернявского.

— Та-ак. А вы смелый человек, Роман Григорьевич. И последствий не боитесь?

— Я ничего не боюсь, милый Жорж. Как-то мне пришлось сидеть несколько дней в камере смертников. После этого мне уже нечего бояться.

— А если я... расскажу все нашему общему другу, Николаю Осиповичу?

Жернявский поднял палец:

— В свое время канцлер Бисмарк сказал: «Глупость — дар божий, но не следует им злоупотреблять». Что касается вашего заявления, то вы можете привести его в исполнение. Только выгоды вам никакой не будет. Это первое.

— А второе?

— Второе... — Жернявский подошел к Самарину сзади, осторожно положил ему руки на плечи. — Я достаточно пожил, Жорж, поверьте мне. Сколько вы собираетесь здесь оставаться? Год, два, пять? Ездить в тайгу, мерзнуть в чумах и пить водку со старым, желчным бухгалтером? Спорить с Пролетарским о путях развития нового общества обезьяноподобных? А потом? Я скажу вам, что будет потом. Вы состаритесь, у вас выпадут зубы, как у меня, но я-то успел вставить на магистрали искусственные, а вам придется терпеть. Затем вы замените меня на посту бухгалтера. А потом женитесь, наплодите детей. И все? Прекрасная жизнь, не правда ли? Но ведь есть другая жизнь. Веселая, беспечная, с умными друзьями, очаровательными женщинами. Я знаю, у меня была такая жизнь. Я знаю, я жил, — он помолчал и тихо добавил. — И еще буду жить.

Взглянул на Самарина и теперь уже громко и весело закончил:

— Для этого нужно совсем немного: мужество, предпримчивость. И — умение молчать, — он подошел к Самарину. — Что — испугался? Эх, Жоржик! Через год где-нибудь в Крыму, а может, чем черт не шутит, и в Швейцарии вы будете смеяться над своими сегодняшними сомнениями. И эта грязная нора, морозы, ваша работа — покажутся вам тифозным бредом. Ну что, по рукам?

Самарин внимательно смотрел на старика.

— Вы, Роман Григорьевич, оказывается, не только смелый, но и умный человек.

— Да уж... не дурак, — хмыкнул бухгалтер.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сергей вернулся поздно, растолкал Виктора и, когда тот сел на койке, сказал:

— Я иду с тобой.

— Куда? — сонно посмотрел на него Виктор. Зевнул, разыскивая рубашку, и пробормотал. — Тогда давай уж заодно и воспитательниц прихватим.

— Каких воспитательниц? — не понял Сергей.

— Есть тут... Холостячки.

— Ты... что? — вскипел следователь.

— Да не сердись, — махнул рукой Голубь. — Это я так. Пошли, конечно. Только, это... Не дай бог, Баландин придет — не суйся вперед, ладно. И слушай меня. Дискутировать там некогда будет.

— Я, между прочим, вооружен, — обиделся Сергей. — Нечего из себя майора Пронина корчить.

— Я не корчу, — неохотно проговорил инспектор, затягиваясь ремнем, — только ведь, кажется, ясным уговор был: я занимаюсь своим делом, ты — своим. Сколько я знаю, следователи в засадах не сидят.

— Старый опер учит несмышлениша из прокуратуры, — покачал головой Сергей. — Для справки старому оперу: дело находится в моем производстве, я его еще не приостанавливал, понял? А ты тут для оказания практической помощи, то есть юридически к делу отношения не имеешь. Пришей — пристебай. И если я иду с тобой на задержание, не в какую-то там засаду, а на задержание...

— Ладно, пошли, — махнул рукой Голубь.

Они прошли уснувшим поселком. Подмораживало. Изредка взлаивали собаки. Виктор и Сергей огородами вышли к крайней избе, одиноко черневшей на фоне леса. Тихо открыли дверь. В избе было темно.

— Корнилыч, — шепотом позвал Виктор. От окна отделилась фигура. — Это следователь из прокуратуры, познакомься.

Темных ответил на рукопожатие, нашарил табуретку у окна и сел.

— Ну, что, Виктор, долго еще? — спросил Корнилыч. — Его ведь нет, Котьки-то Баландина.

— Если б точно знать, что нет, — вздохнул Голубь. — Иди, брат, отдыхай, у меня сегодня напарник будет.

— Попомни мое слово, нет его здесь. Вот увидишь,

пойдет он к лабазу Батракова, возьмет там крупы, прочего провианту и подастся куда-нибудь.

— Съездишь к лабазу. Шуга не сегодня завтра пройдет — и съездишь. А засаду будем пока держать. Зря он, что ли, здесь крутится?

— Что же он, по-твоему, не знает про засаду?

— Милиции в поселке нет, — стал перечислять Голубь, — брат его из поселка не выходил, мать тоже. Сейчас ему, по-моему, самое время прийти...

— Что же он не идет?

— Откуда я знаю? Мучается, сомневается. Следы же видели мы с тобой в лесу... Иди, Корнилыч, спать. Гадать до утра можно, а нам утром в тайгу.

— Кто это? — спросил Сергей, когда человек ушел.

— Охотник, — ответил Виктор. — Внештатный инспектор у Сыромятова, ну, байкитского оперативника. Хороший мужик. Сыромятов меня с ним свел, а Корнилыч помог мне группу поисковую сколотить. Без него мне туго бы пришлось. Охотники-то не очень были довольны.

— Что так?

Виктор усмехнулся:

— По его рекомендации выбрал я несколько человек, встретился с ними на квартире у того же Корнилыча. Ну, и раскрылся: дескать, так и так, мужики, помогайте. Ну, они, конечно, согласились: мол, сколько можно терпеть такое! Бабы боятся по надобности в огород выйти из-за этого Котьки. Сделаем все, как скажешь, только ты как власть выдай разрешение. Какое разрешение, спрашиваю, по надобности на огород ходить? Разрешение, говорят мужики, что, если во время поиска увидим Баландина, — чтобы можно его стрелять.

— Вроде лицензии? — удивился Сергей.

— Вот-вот. Тогда, говорят, мы его в два счета представим. Я говорю, нельзя стрелять. Его судить надо. Ну, плюнули они, ищи, говорят, сам, нам помирать неохота. Вот тут Корнилыч и выступил. Убедил.

— Разумный человек.

— Еще какой разумный. Мне Сыромятов рассказывал, как с ним познакомился. Здесь несколько лет назад кража была. Лисьи шкурки с фермы пропали. Ну, Сыромятов осмотрел все это дело — ничего. Метрах в ста от тропинки на ферму следы уходят, старые, снегом присыпанные. Бог знает, кто прошел, когда, куда... Мало ли их. Вечером Сыромятов сидит в избе, тоскует, — он заходит,

Корнилыч. Пошли, говорит, гулять. Повел его к этим следам, стал учить: сверху след снегом присыпан — значит, метель три дня назад была. Велел ему ладошкой след попробовать, а под наметенным-то снегом след твердый — лед. Стало быть, говорит, человек в оттепель прошел, перед метелью, это как раз три дня назад. Заставил шаг измерить: шаг короткий — человек маленький. Провел по следу, в кустах примерзший клочок пуха нашел от шкурки. И так постепенно сообразил Сыромятов. Утром задержал парня, шкурки изъял. А все по следам...

На улице залаяла собака, другая, третья... Сергей встревоженно взглянул на Виктора:

— Баландин?

Виктор прислушался.

— Нет, собаки с ума бы сошли. Лениво лают, но что-то больно целеустремленно...

Он снова замолк, вслушиваясь в залиvistый лай.

— Нет, почудилось... Я вот думаю, — проговорил Виктор, когда собаки успокоились, — наворотили мы тут с тобой, а он, Баландин, на все наши комбинации плюет. Я понимаю, нужно, чтобы это до него дошло, сделать скидку на психику... А вдруг промазали мы, а? Вдруг он на Байкит решил податься или, вот как Корнилыч сказал, — к лабазам?

— А ты на что тут со своими следопытами?

— Мы нашли вчера кострище старое, трех-четырёх-дневной давности. Но там, видишь, снег, земля... Трудно определить давность следов. Снег весенний, почти лед. Остался один непроверенный район и все...

— А как охотники к нему относятся?

— Ты знаешь — по-разному. Корнилыч — тот при одном его имени стервенеет. А некоторые... Вот Корнилыч, например, каждый раз грозитя: найдем Котьку, и, если шевельнется при нашем виде — стреляю. А один парень тут его уел. Спросил: а что же ты его раньше не стрелял, когда он у нас в поселке жил? И объясняет: не мог же человек враз гадом стать. То есть, сегодня, например, свой брат, а завтра — зверь, которого надо убить. А?

— Это ты меня спрашиваешь? — удивился Сергей.

— Тебя. Дело-то в твоём производстве — ты и объясняй.

— Гляди-ка, — покачал головой следователь, — а ты злопамятный. Ну, что ж, отвечу. Пить меньше надо, друг

мой. Вот не накушайся он тогда — не было бы этой ссоры, убийства...

— И был бы гражданин Баландин примерным строителем нового общества, так что ли?

— Если юмор твой нехороший убрать, то в общем — так.

— А скажи-ка, мой непьющий друг, как же тогда отличать прикажешь в нашем обществе порядочных людей от непорядочных, хороших — от потенциальных преступников? По количеству выпитого? Кто после первой рюмки за ружье не хватается, тот свой, что ли?

— Во-первых, непорядочный человек — не обязательно потенциальный преступник. Можно быть безнравственным, не переходя рамки закона. А, во-вторых, — это ведь не я, а ты должен отвечать. Это ведь не я, а ты как работник органов внутренних дел занимаешься выявлением лиц, склонных к совершению правонарушений и преступлений. И, кстати, — Сергей ехидно похлопал его по колену, — предупреждением и пресечением их противоправной деятельности. Так что тебе и карты в руки.

— Ничего не понял, — вздохнул Голубь. — А еще образованный человек, интеллигент. Вот и все наши беды милиционерские оттого, что даже такие светлые умы, как твой, не видят проблемы в нравственной деградации личности, не ищут и даже не пытаются искать причин этой проблемы. Чесание в затылке начинается тогда, когда эта личность созрела для преступления. Да и то все быстренько разрешается звонком в милицию — алло, приезжайте, тут у нас трупик. И все. Проблема снята. До следующего убийства.

— Однако! — Темных уставился на приятеля. — Чего ты тут в этой баньке прозябаешь? Какого-то Баландина сторожишь? Тебе, брат, давно в Москву надо. В институт, на руководящую работу...

— Ты не ответил на вопрос, — заметил Виктор.

— А что отвечать? — пожал плечами Сергей. — Делай свое дело. В любой отрасли человеческой деятельности найдутся противоречивые вопросы, которые нельзя снять сию минуту. Ну, к примеру, сохранение природы и развитие промышленного производства. Но если директор какого-нибудь леспромхоза начнет объяснять причину невыполнения плана тем, что ему жалко рубить елочки...

— С тобой ясно, — махнул безнадежно рукой Виктор.

— А что ты-то предлагаешь? Сам?

— Я ничего не предлагаю. Я — власть исполнительная.

— Тогда ты тоже не подарок. Скажи, пожалуйста: такой размах в постановке проблемы — и такая скромность в вопросах ее реализации.

Сергей пошарил в карманах.

— У тебя сигареты есть?

— Баландина хочешь пригласить на диспут?

— Да я осторожно, вон — в угол отойду.

...Так они просидели до утра — то споря яростным шепотом, то добродушно подтрунивая друг над другом, то напряженно слушая тревожную темноту. Изредка Голубь, бесшумно открыв дверь, осторожно подходил к забору, отделявшему их от дома Баландиных, и подолгу стоял, вглядываясь в него. Под самое утро, сменяясь, подремали немного. И только когда в предутренних сумерках Голубь увидел, как к старому сараю прошествовали охотники из «легальной», дневной засады — только тогда они снялись и так же, как накануне вечером, огородами вернулись к себе.

...Пока Сергей разогревал тушенку и заваривал чай, Виктор задумчиво смотрел на него. Потом вздохнул:

— Завидую я тебе.

— А ты переходи к нам работать, — подмигнул ему Сергей, хлопоча у сковородки с тушенкой, — всю зависть как рукой снимет.

— Я не в том смысле. Работа, она везде работа, что тут завидовать.

— Тогда в чем дело?

— Я говорю, вот ты приехал — в галстук, в троечке, наверное, еще и нейлоновая рубашка лежит в бауле.

— Лежит, лежит, к свежим рубашкам привык: мать любила одевать меня чистенько... Кстати, а почему Сырмятов не допросил мать Баландина?

Виктор посмотрел на Сергея и произнес:

— И тебе не советую пока этого делать.

— Даже так?

Сергей поставил на стол сковородку, пододвинул ее Виктору.

— Ну-ка, ну-ка, разъясни!

— Он ее как-то встретил в магазине, в первые дни, и попросил подойти в сельсовет, вежливо попросил. И вот эта старуха берет костыль, у нее ревматизм или еще что-то с ногами, — так вот, она берет костыль и налаживает

им Сыромятова по шее, а после этого начинает кричать, что он хочет убить ее сына и что ей плевать на него, ну, и еще там всякие слова... Словом, отобрал он костыль, которым она махала, и прекратил этот разговор.

— Храбрая старуха, даром что без ног, — одобрил Сергей, выгребая тушенку со сковородки.

— Да! — Виктор со злостью ткнул вилкой. — Когда надо, она расчудесно обходится без костылей.

— Не понял, — заинтересованно взглянул на него Темных.

Виктор закурил.

— Ты же знаешь, что Баландин уже приходил домой. И засада была за день до приезда Сыромятова. Корнилыч, когда они по радию передали об убийстве, организовал мужиков стеречь ее дом, чтобы Котька припасов не набрал да не ушел от нас. А он — точно, в первую же ночь и пожаловал. Ребятам бы подождать, пока он на крыльцо выйдет, а они зашумели, мол, попалась, птичка, стой! Вылезают, кто откуда и давай кричать: «Выходи!» И вот появляется на крылечке старуха без костылей, заметь, а за ней — Баландин. Он кладет свою «тозку» на плечо матери и как ахнет из нее — у Корнилыча шапку сбил. Как ахнет еще, одному в ногу попал — мужики врассыпную. А он, подлец, за материнской спиной на улицу выбрался и махнул в лес. Старуха же стоит на дороге, в мужиков комья земли швыряет и ругает их последними словами. Так и ушел Баландин. Вот тебе и ревматизм! Ну, ладно, собирайся, пошли. У меня сегодня интересный должен быть день.

— Что так?

— Я же говорил — последний участок у нас непроверенный. Видишь ли, из поселка две дороги. С любой сопки их видно, и вообще весь поселок как на ладони. Я ведь в фотографах хожу на случай, если у Баландина в поселке связь есть. А в лесу весь этот театр ни к чему. Мы тут за эти дни так натоптали, что и козе понятно, зачем ходим. Если Баландин нас видел и не ушел — сегодня должны встретиться... или его лежбище найти. Я и решил взять его брата Вальку. Хороший парень, но ленивый — спасу нет. Если утром штаны забудет застегнуть — так весь день с открытой форточкой и проходит. А в остальном ничего — тихий, ласковый. Не в братца пошел... да и не в мать. Думаем с Корнилычем на случай встречи пустить его на переговоры с Баландиным. Может, тот дей-

ствительно от мужиков боится пулю получить, поэтому не выходит, кто знает...

Они направились к сельсовету. Деревянный тротуар, покрытый утренним инеем, поскрипывал под ногами. Солнце вставало из-за сопки, отражаясь золотыми молниями в окнах домов. Предутренняя тишина постепенно сменялась резкими и чистыми голосами сельского утра: где-то слышался стук топора, замычала корова, в ответ дружно забрехали псы. Заскрипели калитки — на улице начали появляться люди.

— Гляди, — ткнул Виктор Сергея, — вон, возле палисадника мать Баландина.

Через дорогу от них возле дома стояла старуха, опираясь на костыли. Она смотрела на них пристально, не мигая. Рядом на скамейке сидел плотный парень лет двадцати и лениво грыз семечки. Заметив Виктора, встал и, сказав что-то старухе, направился к ним.

— Ну, что, Валя, готов? — спросил Виктор.

— Ага, — кивнул тот и улыбнулся. — Мать только ругается.

— А ты знаешь, Виктор, — вдруг решил Сергей, — я, пожалуй, пойду с ней познакомлюсь. Как, Валя, — обратился он к парню, — можно с твоей матерью познакомиться?

— Не знаю, — покачал тот головой. — Она не любит тех, кто из милиции.

— Я из прокуратуры.

— Это одно и то же, — махнул рукой парень. — Вы ведь ищете моего брата. Как и он, — парень кивнул в сторону Голубя.

— Этот? — удивился Темных. — Фотограф?

— Так говорит мать.

— А ты что думаешь?

— Ничего не думаю. Виктор Георгиевич мне все рассказал.

— А ты все передал матери?

— Зачем? Я не баба. У меня своя голова. У матери своя.

— Как ее зовут?

— Антонина Афанасьевна.

Сергей, аккуратно обходя лужи, покрытые тонким ледком, перебрался на другую сторону улицы, подошел к женщине и, сняв шапку, что-то сказал. Та резко ответила ему, ткнув костылем в сторону. Сергей помахал Виктору шап-

кой, иди, мол, а сам снова стал что-то говорить старухе.

Возле сельсовета, куда с Валькой подошел Виктор, стояло человека четыре охотников. Тут же озабоченно прохаживался Корнилыч.

— Ну, что, товарищи, пошли? Только давайте определимся, — поздоровавшись, начал было Виктор.

— Погоди, Георгич, — прервал его Корнилыч и обернулся к Валентину. — Валька, иди, побудь пока в конторе. Иди, говорю, нечего тут...

— Зачем же, — остановил его Виктор. — Он с нами пойдет, стало быть, должен знать, как и что. Пусть остается. Значит так: сегодня прочесываем северный участок до болота. У меня к вам прежняя просьба: во время поиска оставаться в пределах видимости друг друга. О любом подозрительном следе или другом признаке присутствия Баландина информировать меня. В случае, если по следам или каким-то другим приметам будет ясно, что Баландин недалеко, все должны укрыться. Мы с Валентином начнем переговоры. Дальше — по обстановке. Без моего сигнала оружие не применять, даже если Баландин откроет огонь. В случае стрельбы целить только в ноги... Все.

— Нет, не все, — выступил вперед Корнилыч. — Ты как хошь, может Вальке и надо было открыться — не знаю, твое дело. Но я так скажу: Валька пойдет впереди всех. И ежели, упаси бог, Котька обозначится...

— Об этом не надо, Корнилыч, — перебил его Виктор.

— Нет, надо! — отрубил тот. — Ты, я говорю, себе как хошь. Котька нас не жалел. Хорошо, Пашке пуля по ноге скользом прошла. Хорошо, у меня дырка в шапке от Котькиной пули, а не в голове. Котька нас не жалел! — Корнилыч густо посопел носом и заключил, обращаясь к Валентину. — Пойдешь впереди, понял?

Виктор посмотрел на охотников — те молчали, переглядываясь, но чувствовалось, что они согласны с Корнилычем.

— Ладно, — согласился Виктор, — пусть идет впереди, — и вдруг, что-то вспомнив и развеселившись, повторил. — Пусть идет впереди. Только объясни мне, ради Христа, где у нас будет перед и где зад. Баландин — это ведь тебе не Серафима Егоровна. Как бы опять ошибки не произошло...

От дружного хохота охотников бродивший неподалеку петух метнулся от них на середину улицы и ошалело за-

орал. Виктор намекал на известный всем конфуз, приключившийся с Корнилычем в молодости, когда он только-только приехал в поселок. Как-то, охотясь на коз, он заблудился и на исходе третьих суток, голодный и измученный, услышал метрах в двадцати в кустах какую-то возню, вздохи. Подобрался поближе, пригляделся — вроде, коза. Во всяком случае — не медведь. Тихонько так ворочается, видно, кору объедает. Задом к нему стоит, а больше ничего не различить — темно еще. Приложился Корнилыч и выстрелил. Ответом был истошный визг, от которого он похолодел. Махом одолел он эти двадцать метров и похолодел еще больше: он стоял на задах поселка, дорогу к которому искал двое суток, а от него по огороду к дому бежала в одной рубашке Сима, его квартирная хозяйка. Двадцать лет после этого хохотали над Корнилычем...

Просмеявшись со всеми, Корнилыч махнул рукой:

— Ладно, пусть с тобой идет.

...Они обнаружили след Баландина через час. Посовещавшись, охотники пришли к выводу, что след ночной. Выставили вперед Валентина и двинулись дальше.

Виктор настороженно посматривал по сторонам, Баландин действительно мог быть где угодно — справа, слева, сзади... Лес, казавшийся несколько минут назад по-весеннему приветливым, стал вдруг угрюмым и враждебным. Рыхлый, комковатый снег неожиданно проваливался, и нога уходила в воду. Глаза машинально замечали вздрогнувшую ветку, вспорхнувшую птицу, и Виктор чувствовал, как в груди разливается неприятный холодок. Он догнал Корнилыча.

— Ну, что?

— Быстро идет, — проговорил тот, поглядывая то на след, то на идущего рядом Валентина. — Торопится. Я так понимаю: постоял он на горе, возле поселка, опуститься побоялся и рванул куда-то. Видать, дело к утру шло, он и... Стой!

Все остановились.

— Там, за кустами, — прошептал Корнилыч и, пригнувшись, махнул охотникам — хоронись! Сам же, поманив Виктора, подошел к березе и показал. — Вон, видишь?

Виктор заметил в кустах наломанные еловые ветки и тихо распорядился:

— Разведи людей вокруг. Валентина — сюда.

Корнилыч согласно кивнул и исчез, однако через несколько минут вернулся.

— Пусто. А с той стороны опять след, утрешний: в нем еще вода не замерзла.

Теперь они шли осторожно, не торопясь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

По Байкитскому интегралу в милиции было возбуждено несколько уголовных дел о хищениях, и все «темные». Просматривая их, Пролетарский уловил две закономерности. Во-первых, подозреваемые в хищениях уезжали из Байкита незадолго до того, как в милицию поступало заявление о хищении. Во-вторых, почти везде основным свидетелем был Жернявский. Отдельно взятые обстоятельства, они ни о чем не говорили: Жернявский — главный бухгалтер, вполне естественно, мог первым обнаружить факты хищений. Опять же, преступники, почувствовав, что могут быть изобличены, заблаговременно уезжали из Байкита на магистраль, в Красноярск, где легче и сбыть краденое, и самим затеряться. Но, с другой стороны, все они — работники интеграла. Значит, Жернявский же их и рассчитывал. Выходит: сегодня рассчитал работника, а завтра заявляет о хищении и указывает его в качестве подозреваемого?

Николай вздохнул. Все это было интересно, но бездоказательно. Нужно браться за интеграл серьезно. Эта затея с выпивкой у Жернявского — детство. И выходить на Жернявского нужно не ему, Пролетарскому, а кому-то другому, не имеющему отношения к милиции.

Он придвинул к себе лист бумаги, обмакнул перо в чернила и крупными буквами вывел: «Начальнику окружного отдела милиции Соколовскому». Написав полстраницы, перечитал и, немного подумав, закончил: «Учитывая вышеизложенное, прошу согласовать с окрфинотделом вопрос о назначении проверки хозяйственной и финансовой деятельности Байкитского интеграла».

...Прошло несколько месяцев. Страна жила бурной, интенсивной жизнью. Открылся седьмой съезд Коминтерна. В газетах появилось имя Алексея Стаханова. Люди с тревогой следили за приготовлениями Муссолини к войне с Абиссинией. На экраны вышел фильм «Праздник святого Йоргена».

И только в Байките дни тянулись тихо и неспешно. Зима 1936 года была мягкая, снежная. В середине января в Байкит приехал инструктор окрфинотдела Кофтун. Сразу

же он встретился с Лозовцевым. Разговор был долгим и неприятным.

— Степан Максимович, у нас есть ряд претензий к работе Байкитского интеграла. Во-первых, отчеты приходят крайне недоброкачественные. Мы не можем финансировать интеграл, не получая информации о его работе. У них постоянный перерасход по всем статьям, но чем это вызвано, из отчетов не ясно.

Лозовцев долго молчал.

— Вы в прошлом сами хозяйственник, — продолжал Кофтун, — знаете кооперацию не хуже меня. У нас нет отчета за второе полугодие 1934 года и четвертый квартал 1935 года. В прошлом году мы включили вас в план, закрыв глаза, на основании сведений полуторагодовой давности. Но сейчас этого делать больше нельзя. Мы идем на поводу у интеграла.

Лозовцев нервно прошелся по кабинету и заговорил:

— Прошу понять меня правильно. Вы знаете, что подавляющая часть охотников неграмотна. Заведующие складами, приемщики пушнины — тоже не счетные работники. Грамотных людей у нас единицы, текучесть кадров... Да что я вам это объясняю!

— Знаю, все знаю, Степан Максимович. Но определение качества пушнины, отпуск товаров и продуктов на фактории, их планирование, расход — все это производится здесь, в Байките — и как производится! Интеграл исчерпал лимиты на некоторые виды товаров, подчеркиваю, годовые лимиты — еще в полугодии. Что это, Степан Максимович? А ведь мы до сих пор удовлетворяли все ваши заявки. Выходит, либо заявки составляются безграмотными людьми, чего не скажешь о Жернявском, либо расход товаров не контролируется. Я не могу, да и не хочу делать какие-то выводы, но ведь не следует исключать и умышленную путаницу с целью укрытия хищений. А пушнина?.. Я захватил с собой документы, взгляните...

— Не надо ничего показывать. Я понял вас, делайте проверку.

...Пролетарский заканчивал прием у себя в милиции. Он проводил посетителя до дверей и там столкнулся с Лозовцевым. Тот сухо поздоровался, прошел к столу. Сел. Помолчал.

— Что это счетовод у тебя делал?

— Какой?

— Интеграловский. Козюткин.

— А-а... Квартирант его ночью скандалил.

— А он что?

— Да выгораживал его. Пили-то вместе. Просит наказать... но не сильно.

— «Вашим-нашим за копейку спляшем», — усмехнулся Лозовцев. — Ладно, речь не о нем. Что у тебя по интегралу?

Пролетарский достал из шкафа несколько папок, положил их перед ним.

— Вот. Материал по факту исчезновения собольих шкурок, от двадцатого ноября. Материал по заявлению о взломе дверей склада в декабре.

— Что похищено?

— В том-то и дело, что установить удалось очень приблизительно.

— Почему?

— Учеты на складах запущены, документация не соответствует во многих случаях действительному наличию товаров. Некоторые кладовщики фактически уже не работают, уволились, уехали на магистраль, но материальные ценности по акту до сих пор числятся за ними. Если судить по снятию остатков...

— Хорошо. Что, по этим твоим делам — ничего не удалось установить?

— Почему же? Установили двоих, живут сейчас в Красноярске. Поручение туда направлено. Были здесь кладовщиками. Как раз у них больше всего беспорядка.

— С Жернявским говорил?

— Да. Он упрямо ссылается на то, что практически все один тянет. Счетоводы-то у него... Видели Козюткина?..

— Ну, хорошо. Я спрашиваю, какой финал этих твоих дел по интегралу? Чем ты их собираешься заканчивать? Взаимопониманием с Жернявским?

— Финал будет, Степан Максимович. Нужно немного времени, чтобы разобраться.

— Поторопись, — строго сказал Лозовцев. — Сегодня приехал из окрфо Кофтун. По-моему, человек серьезный и разумный. Будет ревизовать интеграл. Познакомься с ним. Кое-что он тебе подскажет... кое-что ты ему. Посмотри, не было ли связи у твоих кладовщиков со счетоводами или Жернявским. Может, смысл имеет привлечь к этому делу приятеля твоего... Самарина? Кстати, где он?

— Мы редко видимся, он в командировках все время, — ответил Пролетарский и, помедлив, добавил. —

Да и... не очень-то у нас дружба выходит. Он все больше с Жернявским проводит время. А я туда больше не ходок.

— Хм, с Жернявским, говоришь? Это меняет дело. Ну, ладно, через неделю жду твоего доклада по кражам в интеграле.

...Поздно вечером в бухгалтерии интеграла Кофтун попросил Жернявского задержаться.

— Завтра мне понадобятся материалы бухгалтерии интеграла за позапрошлый, 1934 год, — сухо сказал Кофтун.

— Уже все, отработали прошлый год? — не то удивился, не то обрадовался Жернявский.

— Да, отработал, — все так же сухо обронил Кофтун, роясь в портфеле.

— Ну, и какое складывается мнение? — поинтересовался Жернявский.

— Мнение, окончательное свое мнение я выскажу после проверки, — сказал Кофтун, пристально глядя на Жернявского.

— Понимаю. Но общее впечатление хотя бы о части проделанной вами, безусловно, объемной и полезной работы вы можете сказать мне как главному бухгалтеру интеграла, который вы проверяете? — не унимался Жернявский.

— Отчего же? Могу. Мнение, Роман Григорьевич, самое неблагоприятное. Я еще раз прошу сегодня подготовить мне к утру необходимую документацию, отражающую работу интеграла в 1934 году.

— Ну, что ж..., — усмехнулся Жернявский. — А вы знаете, Анатолий Фаддеевич, я нахожу, что у бухгалтера очень много общего с графином.

— Почему с графином? — спросил Кофтун, продолжая рыться в портфеле.

— А его тоже все хватают и все — за горлышко. Ну посудите сами, как я вам успею к завтрашнему утру подготовить все документы за 1934 год? В лучшем случае, я вывалю все бумаги на стол — разбирайтесь сами. Но ведь вам не это нужно, верно?

— Ну, хорошо. Завтрашнего дня вам хватит, чтобы привести в порядок все это?

— Что такое один день? Господь бог землю создал за семь дней. И вот вам результат спешки: до сего времени никто ни в чем не может разобраться. А ведь бухгалтерия, согласитесь, дело не менее, если не более трудоемкое...

— Два дня! — перебил Кофтун его. — Два дня вам даю! — он наконец справился с замком портфеля и раздраженно добавил. — Надеюсь, вы не считаете себя господом богом и удовлетворитесь этим сроком? До свидания.

— До свидания, — задумчиво произнес Жернявский вслед Кофтуну.

Он сел за свой стол, достал из шкафа какую-то папку и долго изучал ее. Потом перегнулся через стул и постучал в стенку. Вошел Козюткин.

— Слушаю, Роман Григорьевич.

— Садитесь. Ну что, проверка, кажется, идет к концу.

— Слава тебе, господи! — возликовал Козюткин, но осекся под взглядом Жернявского.

— Простите за откровенность, Самсон Кириллович, но меня оторопь берет при мысли, как такой... недалекий, неумный человек вроде вас мог дослужиться в свое время до чина штабс-капитана в контрразведке генерала Пепелева.

— Роман Григорьевич, — медленно начал Козюткин. — Я вас очень прошу — прекратите издеваться надо мной! — последние слова он истерично выкрикнул и тут же испуганно замолк, оглянувшись. Затем продолжал торопливым шепотом. — Вы не имеете никакого морального права... вы ничем не лучше меня. Полтора года вы... вытираете об меня ноги... шантажируете... зачем... ведь всему предел есть... — он свалился на стул и беззвучно заплакал.

Жернявский некоторое время молчал, вертя в руках ручку.

— Успокойтесь. У нас с вами обоих никаких прав нет — ни моральных, ни юридических. Я лишенец, вы всю жизнь по чужому паспорту живете... и фамилию какую-то дурацкую себе подобрали, даже жалко вас, ей-богу. Но это вовсе не означает, что я в качестве собрата по несчастью должен утирать ваши слюни. Я прошел все фильтрационные комиссии и живу совершенно легально. Вы же, дражайший, — совсем другой коленкор. Успокойтесь. Для меня вы — никто. Пьяница, опустившийся человек. Я не пойду к Пролетарскому излагать паскудные факты вашей паскудной биографии... Да перестаньте вы хлюпать! — вдруг взорвался Жернявский.

Козюткин вздрогнул и торопливо вытер слезы.

— Итак, я продолжаю. Я вызволил вас из Красноярска и помог устроиться счетоводом, хотя из вас такой

же счетовод, как из меня паюсная икра, — не потому что я люблю однопольчан. Я пригрел вас так, на всякий случай, — он помолчал и добавил, пристально глядя на собеседника. — И этот случай, кажется, наступил.

— Мне что-то нужно сделать? — покорно спросил Козюткин, — спрятать какие-то документы, вещи?

Жернявский расхохотался.

— Вещи? Да вы их тут же пропъете... или у вас их отберут. Я бы вам шнурков от своих ботинок не доверил. Нет, Самсон Кириллович, для этого вы не годитесь.

— Что же тогда я должен сделать?

— Совсем немного. Сжечь школу.

— Что? Зачем?

— Затем, чтобы она сгорела, болван! Дотла! Затем, чтобы Кофтуна не смог проверить липовые наряды на производство липовых работ. Наряды, которые, кстати, вы выписывали...

— По вашему указанию...

— Молчать! — рассвирепел Жернявский.

Он некоторое время кружил по комнате.

— Ну, хорошо, объясняю еще раз. Но последний! Единственное, на чем Кофтуна может поймать нас..., — он заметил ироническую улыбку счетовода и опять взорвался. — Да, черт возьми, нас обоих — и вас, и меня! Так вот, единственное, на чем он может нас поймать документально, это фиктивные документы на строительство школы. Все остальное — ерунда, можно свалить на учет, на тех, кто уволился, на неграмотность охотников... В крайнем случае, выгонят с работы — плевать. Но школа... — он схватил папку, потряс ею перед Козюткиным. — Вот... доски, дранка, утепление стен и потолка, щебенка, обшивка — где все это? Нету! Это липа, за которую заплачены деньги. Поймите, если я попадусь, я вас не пожалею, я выложу вас Пролетарскому с потрохами. И тогда — храни вас бог, господин бывший штабс-капитан!

— А дети? — после некоторого молчания спросил Козюткин.

— Что с вами? — удивился Жернявский. — К старости у вас проклевываются несвойственные вам качества. Успокойтесь. Дети — наше будущее. Я сам полезу в огонь их выручать. Жертв не будет: мне не нужны сгоревшие дети — мне нужна сгоревшая школа. Не отвлекайтесь и слушайте меня. Завтра выпишите завхозу наряд на получение керосина. Выдайте побольше.

— А если потом... после того... потянут и спросят, почему я... именно перед пожаром выдал им столько керосина?

— Спросят, непременно спросят, милейший Самсон Кириллович. И вы ответите, что сделали это по настоящей, подчеркиваю, просьбе Самарина.

— Но ведь меня изболбчат. Его возьмут, и он скажет, что такого разговора не было.

— Во-первых, такой разговор состоится у него с вами, не позднее завтрашнего дня — он должен приехать сегодня. А, во-вторых, Самарина не возьмут, потому что он будет далеко... очень далеко. Теперь... я знаю, Самсон Кириллович, что вам предстоит трудное дело, — Жернявский открыл сейф, достал деньги. — Всякая работа должна оплачиваться. Как говорится, кто не работает, тот не ест. Здесь две с половиной тысячи. Ешьте. Пронесет — получите столько же. И можете проваливать. Деньги дадут вам некоторую самостоятельность, хотя вряд ли прибавят ума.

— Я уеду, — шептал Козюткин, пересчитывая деньги, — на Украину, на запад...

— Хоть на Южный полюс, — усмехнулся Жернявский. — Только не вздумайте шалить со мной. И учтите — самое трудное — не это. Самое трудное — правильно повести себя потом, в милиции. Бояться не надо, но и благодушествовать не рекомендую, понятно?

Козюткин засунул деньги во внутренний карман.

— Не волнуйтесь. Сделаю аккуратно. Я не всю жизнь был Козюткиным.

— Ну, вот, это другой разговор. Идем дальше. Расположение школы знаете? Давайте начерчу. Бочку с керосином обычно ставят здесь.

Увлеченные своим делом, они не заметили, как вошел Самарин.

— Привет ударникам счетного труда! Вот вы где, Роман Григорьевич, а я к вам домой зашел — никого. Не-ет, раньше вы были гостеприимнее.

— Здравствуйте, дорогой Жорж! — заулыбался Жернявский. — Действительно, засиделись, пора закругляться, — он повернулся к счетоводу. — Ну, на сегодня, пожалуй, и довольно. Идите отдыхать. Надеюсь, вам все ясно? Только у меня к вам просьба: пожалуйста, не злоупотребляйте. Закончится проверка — тогда на здоровье. И помните... — Жернявский положил руку на плечо сче-

товоду, — я очень рассчитываю на вас. В любом случае — только на вас.

Козюткин, опасливо косясь на Самарина, торопливо попрощался и вышел.

— Что это вы с ним, как с родной мамой? — недоуменно спросил Самарин.

— Бог с ним, — устало махнул рукой бухгалтер. — Лучше расскажите, как съездили.

— Хм, ничего съездил, — самодовольно ответил Самарин.

— Много наворовали?

— Вы что... я... Что с вами?

— Со мной ничего, — равнодушно пожал плечами Жернявский. — Ревизия у нас. Проверка. Понятно? Так как мой вопрос?

— Но мы же... вы же... Вы сами предложили, помните? — растерялся Самарин.

— Не помню. Слово к делу не пришьешь, милый Жорж.

— Так вы что, сообщить обо мне хотите? Проверяющему? Или... в милицию?

— Нет.

— Тогда я... к чему этот разговор? Ничего не понимаю.

Жернявский вздохнул.

— Чего тут не понимать, Жорж? Вы — обыкновенный вор, и стесняться тут нечего. Вы же, если не ошибаюсь, полгода добросовестнейшим образом обкрадываете интеграл. По моим подсчетам, тысяч шесть у вас уже накоплено. Не довольно ли?

— Да что случилось, черт побери?

— Я уже сказал, проверка у меня. Если с вами начнет разговаривать проверяющий, он раскусит вас в две минуты. Вы лезли в государственный карман, Жорж, с непосредственностью пятилетнего мальчишки, который считает, что его никто не увидит, если он зажмурит глаза. Так откройте их, наконец! Повторяю, если проверяющий поговорит хотя бы с одним приемщиком пушнины — вам крышка. Я сдержал свое слово — сделал из вас обеспеченного человека. Теперь вы должны исчезнуть как можно скорее, Жорж! Я с вами говорю? Что молчите?

Самарин покачал головой:

— Вы обходитесь со мной, как с продажной девкой. Зачем? Какая вам выгода?

— Не усложняйте, Жорж, не усложняйте, — раздраженно поморщился Жернявский. — Это не из учебника этики ситуация, а из учебника экономики: спрос рождает предложение. Что до ваших мук, то, во-первых, я им не верю, во-вторых, в вашем положении разыгрывать невинность просто нет времени. Я повторяю: оставаясь здесь, вы губите себя и меня. Итак, запомните: завтра вы уедете. Доберетесь до Усть-Камо. Оттуда через Северо-Енисейск попадете в Красноярск. И еще. Завтра я, вероятно, буду занят с проверяющим на складах — окажите мне последнюю услугу: зайдите к Козюткину и попросите его выписать керосину для школы. Только не ссылайтесь на меня, придумайте что-нибудь, хорошо? Скажите, что в школе попросили вас.

— Хорошо.

— Не забудете?

— Нет.

— Ну, Жорж, прощайте. Что же вы не рады? Ведь перед вами — та жизнь, которую вам обещал старый бухгалтер.

Самарин покачал головой:

— Я не знаю, какая начинается жизнь. Я не понимаю, почему я должен бежать в то время, как вы остаетесь, хотя грехов у вас не меньше, если не больше моего. И, самое главное, я не понимаю теперь, зачем вы меня втравили во все это.

— А вы не меня об этом спрашивайте, Жорж, — мягко ответил Жернявский.

— А кого же я должен спрашивать?

— Ах, какой вы глупый! Себя, разумеется. Сильный человек, предпринимая что-то, спрашивает себя: зачем я это делаю? Слабый человек, «втравившись», как вы говорите, во что-нибудь, ищет виноватых. Будьте сильным. Не вините ни в чем людей, встретившихся на вашем пути. Рассматривайте их как орудие для практического использования в достижении ваших целей. С этой точки зрения, — Жернявский улыбнулся, — я был прекрасным орудием. Так что, не вспоминайте обо мне плохо, Жорж.

...Пожар начался около двух часов ночи. Собравшиеся жители стояли вокруг здания школы, не в силах что-либо предпринять: к пылающему зданию ни с одной стороны нельзя было подойти.

Пролетарский передал кому-то багор, которым растаскивал горевшие доски, угрюмо прошел сквозь толпу и на-

правился в милицию. Болело выбитое плечо, нестерпимо ныли обожженные руки. Он ничего не замечал. Он шел и все еще видел, видел руки Иркумы, пальцы, царапавшие землю, горящую балку, упавшую на эти руки и сноп искр, заставивший разбежаться людей. И грохот обрушившихся стропил, в котором утонул ее последний вскрик...

Весь остаток ночи и утро они со Стариковым, помощником Пролетарского, допрашивали людей. Свидетелей нашлось много — школа стояла в центре поселка — но толку от них не было. Однако через несколько часов что-то стало проясняться. Оставшиеся в живых ребята показали, что днем завхоз привез бочку керосина и поставил ее в сених. Тут же допросили завхоза, и он подтвердил, что это было так. Откуда он взял керосин? Его днем встретил Козюткин и велел получить керосин на складе. Козюткин был доставлен в милицию.

Пользуясь свободным временем, Пролетарский стал перевязывать себе обожженные руки. За этим занятием и застал его Лозовцев. Он был с Кофтуном.

— Сиди, — махнул он рукой, когда Пролетарский встал из-за стола, намереваясь уступить ему место. — Ну, что установил?

Николай коротко рассказал, что он сделал.

— Ты, значит, не сомневаешься, что это поджог? А может, от лампы загорелось, или мальчишки курили? Пролетарский покачал головой.

— Нет, загорание началось в сених, где стояла бочка с керосином. И в коридоре. Ребятишки в спальне слышали, что перед пожаром кто-то ходил по коридору.

— Козюткина допрашивали? — поинтересовался Кофтуна.

— Нет пока. У него изъяли одежду с запахом керосина. Сейчас буду с ним говорить... Меня беспокоит, что нет нигде Самарина.

— Самарина? — поднял брови Лозовцев. — А может, он у Жернявского, они же приятели?

— Жернявский был на пожаре. Вытаскивал детей из огня. Самарина он не видел, я спрашивал.

— Ты в курсе, что Самарин?.. — Лозовцев показал на Кофтуна.

— Да, мы говорили с Анатолием Фадеевичем. Я знаю, что Самарин замешан в махинациях с пушниной. Кстати, Анатолий Фадеевич, вы говорили мне все в общих чертах...

— Я именно поэтому и пришел. Мне осталось проверить документацию за 1934 год. Я хотел узнать, как с Козюткиным? Он обрабатывал эти документы, он мне нужен, везде стоят его подписи...

— Не знаю. Я вас прошу, обойдитесь пока Жернявским. Если мне будет некогда — к Старикову обратитесь, я его предупрежу. Видите, как тут все перепуталось? Возможно, действительно придется решать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Самарина и Козюткина по хищениям...

— А для этого мне надо закончить с ними проверку, — вставил Кофтун.

— Да, да... В то же время с ними надо работать по пожару. Так что с проверкой придется подождать. Пока. Но мы вас будем держать в курсе дела. Я думаю, вы понимаете: проверка, махинации с пушниной — это важно, но пожар... Нельзя терять времени.

— Договорились? Тогда мы тебе мешать не будем, — поднялся Лозовцев.

Он подошел к двери, взялся за ручку. Помедлив, заговорил:

— Я, Николай, еще когда у Щетинкина служил... Мы деревню одну освобождали от белых. Там я тоже вот таких ребятишек видел. Только наши в огне погибли — а те порубанные были...

Он потер лоб и раздраженно продолжал:

— Это я к тому говорю, чтобы ты совершенно точно установил — поджог это или нет. Если поджог, то... На такое дело, на убийство детей, не всякий подлец решится, понимаешь? А ведь мы здесь все друг друга знаем. Значит, это очень злой должен быть человек, очень скрытный. Ты об этом подумай.

Они ушли. Пролетарский тоже вышел и вернулся с Козюткиным.

Кивнул ему на стул: садись. Долго молчал, разглядывая его небритую опухшую физиономию. Наконец спросил:

— Где был, когда начался пожар?

— Это... в какое время?

— В час ночи.

— Спал. Все время спал. Ваши же и разбудили. Утречком.

— И ничего не слышал? Ни криков, ни шума?

— Выпивши я был вчера, — вздохнул Козюткин. — Спал, как убитый.

— Знаешь, что в Байките произошло ночью?

— Слышал уже, — кивнул Козюткин. — Только зря вы меня обижаете. Не зажигал я, верьте слову. Зачем мне?

— А почему ты решил, что я... на тебя думаю? — Пролетарский удивленно взглянул на Козюткина.

— На кого же больше? — пожал плечами Козюткин. — Одежку-то мою Стариков ваш подчистую реквизировал, вроде как она керосином пахнет. Дурак на Козюткина не подумает.

— Да ты, брат, ушлый, — усмехнулся Пролетарский. — Ну, а если я тот самый дурак и есть?

— Не-е, — покачал головой Козюткин. — Оно хорошо бы, извините, конечно, но вы, гражданин начальник, не дурак. Вы тоже на счет керосину сомневаетесь. Только я тут ни при чем. Это мне велено было...

— Кем велено? — шагнул к нему Николай. — Что велено, я тебя спрашиваю? Ну!

— Так уполномоченный распорядился, этот... как его... — запинаясь проговорил Козюткин.

— Самарин? — крикнул Пролетарский.

— Так точно. Вчера утром пришел и велел выписать. Я, помню, сказал, что у них в кладовке еще с того года керосин должен быть. А он говорит, не мое дело, а если они откажутся, то им лимиты срежут. Мы с завхозом вчера эту бочку и привезли. Мороковали, мороковали, куда ее девать, и поставили в сенях.

— Ну?

— И все. А потом, стало быть, я вечером выпил и пошел спать.

Пролетарский отправил Козюткина в камеру и позвал Старикова.

— Значит так, Козюткина не допрашивать. Держать одного.

— Сознался? — обрадовался Стариков. — Он поджег?

— Не знаю, — покачал головой Пролетарский. — Что-то больно пронизательный для простого счетовода. Вроде ждал, что его об этом спрашивать будут... не знаю. Ты сегодня свяжешься с Кофтуном. Займешься материалами о хищениях в интеграле. Пойдешь к нему и разберешься в учетных документах за 1934 год по строительству школы. Школы, понял? Смотри внимательно, особенно те, к

которым имел отношение Козюткин. Чуть что — обращайся к Кофтуну.

— Так, выходит, вы меня от работы по пожару отстраняете?

— Нет. Будешь работать параллельно и по пожару.

— Как это?

— А так. Может кому-то выгодно, чтобы за всей этой суматохой забыли о хищениях. А?

— Так...

— Вот тебе одна версия. Может кто-то скрывает следы хищения? Школу-то интеграл строил? Может нужно, чтобы милиция, занятая пожаром, не вмешивалась в проверку? Вот тебе другая версия. Отрабатывай их.

— А вы?

— Я поеду догонять Самарина. Если он сбежал — ему надо идти на Куюмбу. Другой дороги в Красноярск нет. А он нужен. Врет ли Козюткин, нет ли, но Самарин имеет отношение к пожару.

— Думаете, он знает, кто поджег.

— Во всяком случае, если знает, то скажет мне.

— А если не скажет?

— Скажет, — уверенно ответил Пролетарский. — Скажет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Баландин проснулся от нудной, тупой боли в желудке: накануне он подстрелил белку, с великим страхом развел костерок и попытался поджарить ее. Мясо было пресным и противным, однако Баландин съел все без остатка, и вот теперь к чувству голода, которое не исчезло, добавились рези в животе.

Он тяжело поднялся с земли, прошелся, разминая ноги.

Несколько дней назад он видел вертолет. Вертолет опустился на краю поселка, взял милиционера, и Баландин обрадовался, но через день в тайге появились охотники и методично день за днем стали прочесывать тайгу. Это насторожило его и заставило ограничить свои, и без того редкие маршруты в поисках добычи. Он понял — его ищут. Надо было что-то решать.

Прошлой ночью он не решился опуститься в поселок, долго стоял, то уговаривая себя, то, напротив, предостере-

гая, и, измученный борьбой, все-таки ушел. Теперь он решил: идти в поселок не по-ночному времени, как раньше, а с утра. Только бы обойти охотников, которые, верно, уже рыщут по лесу в поисках его. Если ему удастся добраться до поселка, внимательно проследить за всем, что там происходит, и определить, есть ли засада возле дома его матери, — будет ясно, что делать дальше: идти ли домой за документами и хлебом, или уходить по реке к Байкиту в надежде найти по дороге что-нибудь на лабазах.

Он поднял винтовку и, раздвигая кусты, пошел к месту, откуда хорошо просматривался участок болота, отделявший островок, на котором был устроен ночлег, от леса. Баландин отвел рукой ветку, мешавшую ему смотреть, — и резко присел: метрах в двадцати от него, на опушке леса, перед болотом, стоял брат, Валька, и напряженно вглядывался в его сторону. Баландин уже было хотел окликнуть, он открыл рот... Из чащи к Вальке подошел человек в защитных солдатских брюках, резиновых сапогах, телогрейке, затянутой ремнем.

— Засекли! — беззвучно шевельнул губами Баландин.

И, будто услышав его, на той стороне болота протяжно закричал брат:

— Ко-оська-а! Это я, Ва-алька! Здесь со мной Корнилыч с мужиками-и!

— Сейчас они ему врежут, — прошептал Баландин, со звериным любопытством вглядываясь в тот берег.

Но Валька, к его удивлению, продолжал кричать:

— Они говорят, чтобы ты выходи-ил! Стрелять не бу-удут!

Кровь ударила в голову, запульсировала в висках. На переносице выступили капельки пота. Баландин бесшумно метнулся назад, затем вернулся. Бежать было некуда: если он побежит, его заметят и в момент догонят, либо пристрелят. Стоять на месте, ждать, когда придут? А может... не пойдут, побоятся? Все-таки ровное место, просматривается кругом. Доведись ему, он бы не пошел. А если все-таки пойдут? Пугнуть?

— Хрен там: пугнуть! — внезапно осклабился Баландин.

Он решил. Первый, кто подойдет сюда, — получит свое. Пока они будут суетиться возле раненого, он уйдет. А может быть, и убитого...

— Это уж как вам повезет, какая кому планида выйдет, — лихорадочно бормотал Баландин, пристраивая винтовку в кустах так, чтобы ствол имел упор. Он дослал патрон в патронник и, затаив дыхание, стал ждать. Томительное, раздражающее неопределенностью существование кончилось. Сейчас все станет ясным...

Брат еще несколько раз выкрикнул его имя и умолк.

— Ну, что делать будем? — спросил Корнилыч Виктора, когда тот с Валентином вернулся с опушки.

— Надо идти дальше, — Виктор вопросительно взглянул на охотника.

Корнилыч стал размышлять:

— Во-первых, метров тридцать придется идти в рост. Если Баландин здесь, — будет стрелять в полное удовольствие — не промахнется. Второе: след его здесь кончается, идет болото. Дальше следов не будет. Если считать, что Баландин на этом острове, ближнем, то куда ни шло. А если он на втором, третьем, десятом.

— Хорошо, — согласился Виктор, — на сегодня хватит. Только, — он предостерегающе поднял руку, видя, что Корнилыч поднимается — этот ближний остров мы все-таки проверим. Полчаса времени всего и займет. Пойдем с двух сторон — ты и я. Остальные будут следить за островом и страховать нас.

— А Валька? — насупился Корнилыч. — Опять бережешь?

— Вот что, друг-товарищ, — резко сказал Виктор. — Баландин, конечно, преступник... И поймать его надо. Но приманку из его брата делать не будем. А если ты так настаиваешь... Чего уж тогда с Валькой мелочиться? Пойдем, вон мамашу его безногую сюда притащим — за ней вообще, как за каменной стеной, будем. Только какая разница тогда между им и нами? Или тебе... все равно?

— Ты... ладно... базы-то под меня подводить, — пробормотал Корнилыч и вдруг, невесть от чего взъярившись, рывкнул. — Молодой еще! Сидишь тут... язык чешешь. А время идет. Пошли давай... корреспондент липовый, растудыть твою!

Он рывком закинул карабин за плечо, огляделся и, увидев Вальку, безмятежно разлегшегося под березкой, пнул его в зад.

— Тебе тут что — курорт? Ишь сахарницу-то выставил! Прилетит вон привет от родни — кто виноват будет? Опять Корнилыч? А ну, хоронись в кусты!

Они осторожно приближались к островку, пробуя палками снег впереди себя. Остров был уже совсем близко, когда Виктор, приняв ком снега перед собой за кочку, прыгнул на него и провалился по пояс в ледяную воду. С помощью подоспевшего Корнилыча он с трудом выбрался на твердое место.

— К такой матери это болото! И ты тоже — герой выискался, не знаешь ни хрена места, а лезешь! Давай обратно, давай скорее, пока не заколел. Завтра придем, дался тебе этот остров! — бушевал Корнилыч.

— Будет тебе, не ругайся, — виновато проговорил Виктор, с сожалением глядя на кусты, покачивавшиеся вблизи от них. — Завтра придем, ладно.

...Когда Корнилыч и Голубь скрылись, наконец, в чаще, Баландин обессиленно ткнулся лицом в мерзлую траву. Если бы сейчас эти двое передумали и вернулись — он не пошевелился бы.

Виктор вернулся домой раньше обычного. Телогрейка, брюки, даже шапка — все было мокрым.

— Ты что это делал в лесу? — изумился Сергей, когда инспектор стащил на пороге резиновый сапог и, на одной ноге проскакав к умывальнику, вылил из него воду в ведро.

— Купался, — буркнул Виктор и стал стягивать второй сапог.

Сергей протянул ему сигарету, дал прикурить. Налил горячего чая.

— Такие дела, — вздохнул Виктор, переодевшись и выпив чая. — Баландин здесь, я стоянку видел. Костер видел вчерашний, следы... Он от костра к поселку приходил. Ночью как раз над нами на горе стоял. Не решил спуститься. И, понимаешь, пошли мы за ним от костра по следам. А он — в болото, как леший. Ну, вот я и... провалился. Болото это поселок с восточной стороны огибает, чуешь?

— Нет, — признался Сергей.

— Надо туда сходить, на тот край поселка, посмотреть, как и что. Людей на ночь в засаду определить.

— Сходим, — кивнул головой Сергей. — Ты только поешь сперва.

— Да, — вспомнил он, когда Виктор присел за стол. — Привет тебе от Антонины Афанасьевны.

Сергей порылся в папке и, достав оттуда документы, помахал ими перед носом Виктора:

— Самолично отдала мне его паспорт и военный билет.

— Неужто допросил? — удивился Виктор.

— По всей форме! Протокол имеется, а также договоренность о том, что, встретив сына, попытается убедить его сделать явку с повинной.

— Как же ты так? — Виктор с уважением посмотрел на приятеля, вспомнив рассказ Сыромятова о встрече в магазине с разъяренной старухой.

— Это очень несчастная женщина, Витя, — проговорил Сергей. — Кричит и машет она костылем от отчаяния. Вся жизнь прахом пошла, за сыном, как за зверем, охотятся. Мы с ней в сельсовете часа четыре сидели, она мне про свою жизнь рассказывала, про детей... Плакала. Все она прекрасно понимает: и то, что Баландину надо самому явиться, и то, что наказание он понести должен.. Все понимает. Но быть заодно с нами, с теми, кто преследует ее сына, ей очень трудно. Поэтому и прикрыла она его тогда собой и налетела на Сыромятова с костылем.

— Ну... — Виктор поморщился. — Тебя, по-моему, не в ту сторону понесло. Как говорил мой друг, военный поэт Иван Шамов, каков стол таков и стул. Объективно рассуждая, зверь-то этот на ее глазах рос. В любой момент могла заметить. Все ведь в ее руках было...

— Да?

— А как ты думал? Дети — повторение родителей, хотят этого родители или нет.

— И то, что у порядочных родителей дети становятся преступниками, нисколько не снижает свежести твоего наблюдения?

— Представь себе! У нас принято судить не за умысел, а за преступление. И не за безнравственные мысли, а за их реализацию. А чем Баландин выделялся среди других, пока не убил, я, например, не понимаю. И чем отличается его мать от других старух — тоже не вижу. Но вот случилось...

— А если с тобой случится. Не это, а что-либо другое? Ты в себе абсолютно уверен?

— Пакоости не сделаю. А несчастье может быть со всеми. От сумы, да от тюрьмы не зарекаются.

— Вторая свежая мысль за какие-то пять минут. Это может пагубно отразиться на твоём организме. Подкрепись-ка, друг мой, да пойдем закрывать проходы Баландина.

дину. Как практик ты мне гораздо больше импонируешь. Тут я тебе возражать боюсь.

Обратно они возвращались уже в сумерках. Шли не спеша, друг за другом по тропинке над рекой. Эта тропинка отделяла поселок от нескольких окраинных домов, куда они ходили. Слева поднималась в гору ровная поляна, уже свободная от снега, покрытая кое-где пожухлой прошлогодней травой. Внезапно наверху, за деревьями, залаяла собака. Вот она показалась на поляне; приседая на задние лапы, она разъяренно лаяла на кого-то в лесу — лаяла захлеб, злобно, порываясь броситься в лес. Увидев людей и почувствовав в них поддержку, она еще яростнее залилась лаем, то оглядываясь на них, то кидаясь навстречу невидимому врагу.

— Зверя почуяла? — спросил Виктора Сергей.

— Похоже, — согласился тот.

Они прошли еще немного. Сергей увидел, как Виктор ускорил шаг и на ходу расстегнул кобуру пистолета.

— Что случилось? — вполголоса спросил он.

— Собака возле нас держится, не оборачивайся, — проговорил Виктор тихо.

— Ну и что?

— Значит и зверь возле нас держится, за нами идет, понял?

— Нет.

— Баландин это. Опушкой идет. Нас разглядывает.

Сергей ясно представил, как отчетливо видны их силуэты на фоне реки. Ему стало не по себе. Виктор, видимо, подумал о том же и сказал:

— Стрелять он не будет. Ему это ни к чему. Но вот засада, видать, накрылась.

Собачий лай сопровождал их до самого поселка, затем стал удаляться и, наконец, затих.

— Может это и не Баландин был? — нерешительно спросил Сергей, когда они подходили к дому.

— Может и не он, — согласился Виктор. — Может просто какой-нибудь зверь. Спросим у Корнилыча.

Корнилыч, выслушав их рассказ, нахмурился:

— Поглядим завтра след. Только я вам, ребята, говорю: повадка у вашего зверя чело­вечья была.

На другое утро Корнилыч с Виктором сходили на сопку, где на опушке леса действительно нашли следы человека параллельно тропинке до самого поселка. Затем следы свернули в лес.

— Давай-ка, Корнилыч, бери свою «казанку» и дуй к лабазу Батракова. На лабаз не ходи. Погляди вокруг. А я с мужиками погляжу здесь, в какую сторону он направился. Если он нас видел, за нами шел — значит, понял, что в поселке чужие. Значит, будет тройне осторожен. И вряд ли решится идти к матери.

— Есть, — кивнул Корнилыч.

Вечером Сергей и Виктор сели смотреть дело. Практически все, что было нужно, они сделали. Да и работы было немного. В городе на это бы ушел день, впрочем, с тем же результатом: Баландина не было.

Виктор зевнул, потянулся и, попросив разбудить, когда придет Корнилыч, лег спать. Сергей сидел, машинально перебирая листки допросов. В сущности, ему здесь больше делать нечего. Виктор занимается поиском, это его работа. А ему, Сергею, пожалуй, нужно лететь домой. Там тоже ждут дела, которые пришлось отложить из-за Баландина.

На улице было еще светло, когда в избу без стука ворвался Корнилыч. Не обращая внимания на сидящего за столом Сергея, он подбежал к кровати и затормошил Виктора:

— Вставай, Георгич! Баландин на батраковском лабазе, уйти хочет на лодке!

Виктор моментально вскочил и заметался по комнате, одеваясь.

— Я в километре от лабаза к берегу причалил, подошел лесом, а он из лабаза в лодку продукты тащит, что я тебе говорил?

Корнилыч ходил за Виктором, руки у него тряслись.

— Слышь, Георгич. Лодку я вам дам... это без разговоров. А с вами... уж не взыщи. Втроем лодку перегрузим, и, самое главное, плавать я не умею. Боюсь, а?

— Брось ты, Корнилыч. Никто ничего не говорит. Давай к лодке, заводи мотор. Мы следом.

Когда Корнилыч выскочил из избы, Виктор спросил:

— С мотором обращаться умеешь? — и, увидев растерянное лицо Сергея, решил. — Я сяду на корму, а ты... вот, возьми.

Он нагнулся, вытащил из-под кровати автомат, завернутый в брезент, развернул, примкнул магазин.

— Думал, не пригодится.

На берегу их ждал Корнилыч. Тихо урчал заведенный мотор. Когда Сергей уселся, Виктор махнул рукой:

— Толкни!

Он устроился на корме, включил скорость, мотор завыл, набирая обороты, и «казанка», описав крутую дугу, помчалась вниз по реке.

Начинало смеркаться. Сергей сидел, аккуратно положив автомат на колени. Мимо проплывали угрюмые мрачные берега с выветрившимися скалами, похожими на старинные замки. Виктор на какое-то время даже утратил чувство реальности, глядя на удивительные камни, превращенные временем в подобия башен, зубчатых стен, крепостных валов... Сергей обернулся и крикнул что-то непонятное за шумом мотора.

— Что?

— Красиво здесь, говорю! Не знаешь, утки тут водятся?

— Утки что! Мне Корнилыч рассказывал, здесь гусей навалом. Знаешь их как трудно стрелять?

— Давай вернемся сюда осенью? Поохотимся...

— В отпуске я могу... Если встретишь, конечно.

— Договорились.

Они увидели Баландина одновременно. Тот торопливо греб к берегу. В этом месте река петляла между скал, видимо, поэтому он слишком поздно услышал звук мотора.

— Предупреди его! — крикнул Виктор.

Коротко пророкотал автомат. Баландин перестал грести, вскинул винтовку и выстрелил в их сторону.

— У него «тозовка», — обернулся к Виктору Сергей. — Я по лодке очередь дам.

— Нет! Отсекай его от берега!

Снова прогремела резкая дробь, пули вспороли воду перед носом баландинской лодки. Он бросил винтовку и стал торопливо табанить веслом.

— Хорошо! Следи за ним! — крикнул Виктор.

Он сделал крутой вираж и заглушил мотор. «Казанка», снижая ход, шла теперь прямо на Баландина. Тот успел сделать еще два выстрела. Рядом с Виктором взвизгнула рикошетом пуля, и в этот момент «казанка» ткнулась в борт лодки беглеца.

— Не стреляй! — крикнул Виктор, видя, что Сергей поднимает автомат. Схватив весло, почти без замаха, он коротко и сильно рубанул им Баландина по голове. Тот обмяк и повалился на дно лодки. Виктор прыгнул следом, заломил ему руки за спину, надел наручники. Подняв голову, он увидел, что «казанка» отходит в сторону.

— Ты что — не видишь? — раздраженно бросил он Сергею, так и сидевшему с автоматом на коленях.

Тот потянулся, как во сне, рукой к борту и вдруг, не вставая, повалился ничком.

— Что с тобой? Сергей! Сергей!

Виктор зацепил «казанку» веслом, перетащил в нее Баландина, бросил туда винтовку, продукты, прыгнул сам. Какое-то мгновение смотрел на оставленную лодку, затем махнул рукой — не до нее. Он перевернул Сергея, усадил на дно. Тот был в сознании и тихонько постанывал. Блоньевая куртка испачкана кровью. Пиджак, щегольская жилетка, белая рубашка — все было в крови. Стащив с себя рубашку и кое-как перевязав Сергея, Виктор сел на корму и завел мотор.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В Куюмбе третий день мела пурга, и сколько Самарин ни уговаривал мужиков — никто не соглашался ехать с ним в Усть-Камо. Он квартировал у старика Дюлюбчина. По вечерам Дюлюбчин собирал знакомых и, достав из кيسета письмо от Иркуты, полученное им с оказией две недели назад, просил Самарина прочесть, что пишет внука, — сам он был неграмотным. Самарин был зол — уходило дорогое время. В этот вечер он, дочитав письмо, раздраженно вернул его старику.

— На! И не лезь ты ко мне с ним, за ради Христа! Восьмой раз читаю!

— Ничего, — сладко жмурясь и пряча письмо в кiset, проговорил Дюлюбчин. — Язык не сломал. Я тебе за это белку дам. Ты читать не любишь, я знаю. Ты пушнину любишь. Ты мне письмо прочитаешь — я тебе белку дам. Тебе хорошо будет — и мне хорошо будет.

Мужики захохотали. Самарин, обиженный намеком, пошел в угол к бочке, зачерпнул воды. Поглядел в окно.

— Мужики, а метель-то вроде стихает.

В это время распахнулась дверь. Вошел Пролетарский.

— Подними руки, Самарин!

— Николай, ты? Ты что?

Пролетарский деловито обыскал, вытащил у него из-за пазухи пакет, осмотрелся.

— Где его имущество?

Дюлюбчин, ничего не понимая, показал рукой:

— Вон его мешки, — и опасливо посмотрел на Самарина.

Кивнув в сторону узлов, Пролетарский спросил у Самарина.

— Что там в них?

— Личные вещи! — с вызовом бросил Самарин и, увидев, что Пролетарский двинулся к мешкам, крикнул. — Не смей трогать! Не имеешь права обыскивать! Ты не у себя в милиции. И я тебе не кто-нибудь. За незаконный арест уполномоченного исполкома и обыск отвечать будешь.

Он попытался помешать ему. Пролетарский, глядя на Самарина, громко произнес:

— Граждане, кто согласится быть понятым?

Поднялись двое.

— Развяжите мешки и посмотрите, что в них.

Не глядя на Самарина, понятые подошли к мешкам и неловко стали их развязывать. Пролетарский тем временем разворачивал пакет.

— Мужики, да здесь соболя! — удивленно воскликнул один из понятых.

— И деньги, — добавил Пролетарский, рассматривая содержимое пакета. Он подошел к Самарину. — Одевайся!

— Голому одеться — только подпоясаться, — нахально улыбнулся Самарин и, понизив голос, добавил просительно. — А может, все-таки поговорим?

— Обязательно, — кивнул Пролетарский, — по дороге.

...Они ехали весь день. К вечеру остановились в зимовье возле Безымянного мыса. Пролетарский, не спавший несколько дней, связал Самарина, усадил его на топчан, сел рядом у окна и закрыл глаза, с наслаждением вытянув ноги.

— Боишься, что сбегу, — усмехнулся Самарин.

— Боюсь, — не открывая глаз, ответил Пролетарский.

— Опасного преступника поймал. Орден заработаешь — не иначе, — продолжал Самарин.

Ответа не последовало.

— Развяжи меня! — внезапно закричал Самарин. — Мне холодно, развяжи, говорю. Слышишь, ты? Меня от холода трясет, ты можешь понять или нет?

— Приедем в Байкит — тебя не так затрясет.

— А что ты меня пугаешь? Кто мне там что скажет?

Ты? Плевал я на тебя! Ты мне мстишь. Потому что завидуешь. Если бы не ты, я бы уже был далеко. Я бы жил, понимаешь? Жи-ил! А ты обречен. В этой дыре, в этой грязи... И ты ненавидишь меня за то, что у тебя не хватило смелости, сил уехать, бросить все это! Ты мстишь!

— Куда ты пошел в ночь перед отъездом? — не открывая по-прежнему глаз, равнодушно спросил Пролетарский, когда Самарин умолк.

— Что? Не помню. Не знаю. Не скажу!

— Куда ты пошел в ту ночь? — настойчиво повторил Пролетарский, выделяя каждое слово.

— Ну, к Козюткину, тебе-то что? — буркнул после некоторого молчания Самарин.

— Что ты делал у него?

— А тебе-то какая разница? — Самарин ядовито усмехнулся. — Ты же меня с поличным захватил. Мало?

— Что ты делал у него?

— Ничего я не делал, успокойся. Его дома не было. Я вернулся, собрался и уехал.

— Ты врешь.

— Ну, это как угодно, — пожал плечами Самарин.

— В ту ночь, когда ты уехал, в Байките сгорела школа-интернат. Погибло девятнадцать ребятшек...

— Иркума!

В дверях зимовья стоял Дюлюбчин. Он слышал последнюю фразу Пролетарского.

— Ах, вон что ты мне шьешь! — протянул изумленно Самарин. — Какая школа... При чем тут я? Ну, нет, брат, не выйдет. Не докажешь!

— Задержанный Козюткин показал, что в тот вечер, когда загорелась школа, он находился дома. Спал до утра. Где ты был вечером?

— Да откуда мне знать, когда она загорелась? Ну, ладно. Я не был у Козюткина. Но я не поджигал школы. Я ничего не поджигал. Зачем мне это? Мне ничего не нужно было, кроме одного...

— Хапнуть побольше и уехать подальше, — жестко закончил Пролетарский. — И не надо было философию наворачивать — я эти сказки слыхал. Только для чего ты заставил Козюткина выписать керосин для школы? С чего такая забота перед отъездом?

— Керосин? Какой керосин? — удивился Самарин — и вдруг запнулся. — Керосин...

— Ну? — Пролетарский впился взглядом в него. — Ну? Чья работа? Не твоя?

Самарин потерянно смотрел куда-то в угол.

— Вот так-то, — удовлетворенно кивнул Пролетарский. — Теперь ясно.

— Что тебе ясно? — покачал головой Самарин. — Я ничего не жег, я никого не убивал. Я действительно вор. Мелкий вор. Воришка. Воробей. А ты меня в стервятники записал...

Он с надеждой поднял голову, торопливо заговорил:

— Николай, отпусти меня! Погоди, не перебивай... Отпусти меня, ну, скажи, что не нашел... сбежал там или что... Бери все это барахло, сдай, куда положено, раз ты такой... Слушай! Я тебе за это скажу, кто поджег, как все это было. Я все понял!

— Ты хочешь сказать, что кто-то попросил тебя... распорядиться... насчет керосина?

— Вот! Во-от! — Самарин умоляюще смотрел на собеседника. — Ты тоже понял? Это совершенно меняет дело.

— А для тебя-то что меняет? — угрюмо спросил Пролетарский.

— Но я же не убийца! Я же не знал! — рванулся к нему Самарин.

— Ты — вор, помогавший убийцам, — холодно ответил Пролетарский. — А знал ты или не знал — это суд еще будет разбирать. Не волнуйся, лишнего не получишь, — получишь свое. Каждый получит то, что ему причитается.

— Дурак! Кретин! Тогда ты ничего не докажешь. Я буду молчать, и ты ничего не докажешь. Отпусти меня — всех назову!

— Жить захочешь — заговоришь. И секрет свой ты мне не продавай — не куплю. Невелик твой секрет: Козюткин, ты и... Роман Григорьевич. Ну, а кто воробей, кто стервятник, — дома выясним.

— Ясно, — покачал головой Самарин. — Значит и меня теперь с ними заодно... в помойную яму. Пили вместе, спорили, мирились, а сейчас — ату его, классовый враг, так что ли? Ну, чего разглядываешь?

— Хорошо говоришь. Говори еще.

— Ладно... ленинградец. Бог даст, земляк, вспомнишь ты меня.

Самарин откинулся на спину и замолк, глядя перед собой.

Во время их разговора Дюлюбчин сидел тихо в углу, обхватив голову руками. Потом поднялся, подошел к Пролетарскому.

— Поспи, начальник, я погляжу за ним. Отдохни, скоро ехать.

— Спасибо, старик.

Дюлюбчин потоптался возле него. Затем вытащил из-за пазухи кiset, откуда извлек сложенный вчетверо листок бумаги.

— Вот... начальник. Я не знал, что в Байките... Что Иркуты... Что детишки пропали. Такая беда. Она пишет — все хорошо. А на самом деле — нехорошо. Такая беда... вот...

Пролетарский старался не глядеть на старика. А тот что-то приговаривал, дрожащими пальцами водил по неведомым ему буквам. Наконец, в последний раз ласково погладив листок, протянул его Пролетарскому.

— Вот... Иркуты уже нет, а письмо — есть. Это Иркуты писала, начальник, внучка моя. Возьми письмо, начальник, ничего. Я все понял. Самарин тебя купить хотел. Не секрет продать, а тебя купить. Вот возьми письмо, — он поднял палец и прошептал. — Память будет. О хорошем человеке всегда память должна оставаться. А Иркуты — хороший человек... была.

Утром старик поднялся первым. Он растопил печь, наколот дров про запас. Пролетарский дремал у окна. Наган лежал перед ним на столе. Он поднял голову.

— Ты чего, старик?

— Спи, спи, начальник. Сейчас оленчиков приведу, чай пить будем. Оленчики хорошо отдохнули, быстро побегут. Вечером в Байките будем.

Пролетарский прикрыл глаза и вытянул затекшие ноги. Дюлюбчин вышел из избушки, неплотно прикрыв за собой полог из оленьих шкур, заменявший дверь.

Самарин, со связанными руками, полулежал на топчане, не спал. Взглядом проводил старика, равнодушно уставился в полог. Внезапно он попытался привстать, но, оглянувшись на Пролетарского, принял прежнее положение. В просвете, образовавшемся от неплотно прикрытого полога, смутно угадывался какой-то предмет на улице — не то пень, не то еще что-то. Самарин снова впился глазами в темно-синий, почти черный треугольник в нижней части полога, пытаясь разглядеть непонятный предмет. Постепенно светлело, треугольник из темно-синего превратился в

светло-голубой, и через некоторое время Самарин ясно различил чурбак с воткнутым в него топором, стоявший у самого входа в избушку. Некоторое время он лежал неподвижно, глядя в потолок. Затем облизнул пересохшие губы — и решился.

— Начальник, а начальник...

— А? — Пролетарский сонно смотрел на него.

— Я говорю — на двор бы мне сходить... В Байките, поди, некогда будет, — он отвел глаза, стараясь не встретиться взглядом с Пролетарским.

Тот поднялся, развязал Самарину руки, щурясь со сна, ткнул наганом в спину.

— Иди вперед, да не вздумай дурака валять, а то...

— Застрелишь?

— Много чести. Догоню и морду набью.

— А что ж наганом тычешь?

— Нервирует? Ладно, убéру, а то раньше времени наделаешь... Иди!

Самарин пошел к выходу, растирая затекшие руки и напряженно глядя на приближающийся с каждым шагом полог. И там, где он был откинут, снова увидел топор в чурбаке. Самарин какое-то мгновение помедлил — и быстро выскользнул наружу. Пролетарский у притолоки нагнулся, выбираясь следом...

Дюлюбчин услышал вскрик, возню, грохнул выстрел, затем наступила тишина. Он оставил оленя и замер, прислушиваясь. Грохнул второй выстрел, и старик бросился к избушке, не разбирая дороги. У входа он увидел лежащего на снегу Пролетарского и склонившегося над ним Самарина с наганом в руке. Тот некоторое время смотрел на старика, затем сделал попытку усмехнуться.

— Видишь, как все получилось, дед? Промашку дал Николай Осипович.

— Промашку дал, — прошептал Дюлюбчин, глядя широко раскрытыми глазами на топор, валявшийся рядом с телом начальника милиции, на его окровавленную голову, на наган в руке Самарина.

Самарин, будто решившись, быстро заговорил:

— Слышь, дед? Выведи меня, а? Помогии выйти, говорю! Хоть до Усть-Камо, а там я как-нибудь... Я — не за так, не думай, я тебе заплачу, дед, а? Гляди!

Не спуская глаз с Дюлюбчина, Самарин пошарил на груди мертвого Пролетарского, вытащил пакет с деньгами.

— Вот, смотри, здесь шесть тысяч рублей. Это твои деньги, дед!

Пакет полетел к ногам Дюлюбчина. Он поднял его, аккуратно очистил налипший снег. Это был тот самый пакет, что изъял Пролетарский у Самарина при обыске в Куюмбе.

— Промашку дал Николай Осипович, — снова прошептал старик.

Он уронил пакет и, выхватив нож, бросился на Самарина. Тот выстрелил в упор.

Некоторое время он смотрел на лежавших. Теперь все. Теперь деваться было некуда. В тайге стояла такая тишина, что у него зазвенело в ушах. Он вытер лицо снегом, огляделся. Нужно было уходить. Самарин обшарил тело Пролетарского, стащил с него меховую рысью куртку, просмотрел бумажник. На снег упало письмо Иркутмы. Он поднял его, пробежал глазами знакомые строки.

— Письмо... Отдай письмо!

Холодная судорога прошла по спине. Самарин обернулся: к нему полз, оставляя кровавый след на снегу, Дюлюбчин. Вот он попытался приподняться, поднял руку... Самарин выстрелил ему в голову. Старик уткнулся лицом в снег.

...Их нашли через несколько суток. У Николая не было куртки и унтов. Дюлюбчин был раздет до пояса.

...Вечером в Усть-Камо запуржило. Заведующий складом Алексей Деев сидел за столом и пил чай. Его жена, Ирина, спала. В сенях послышались шаги, отворилась дверь и на пороге появился Самарин — заросший, грязный, с отмороженными щеками. Он направил на Деева наган.

— Тихо, Деев, не шуми, а то нехорошо получится.

Тот, пытаясь при слабом свете керосиновой лампы разглядеть вошедшего, произнес:

— Не признаю я тебя что-то. Ободранный больно... Вроде где-то видались.

— Вот здесь и видались, полтора месяца назад, — уточнил Самарин, разматывая шарф, расстегивая телогрейку.

— Самарин? — Деев поставил кружку на стол. — Что с тобой?

Самарин пододвинул чурбачок к печке, сел, наган положил на колени, стволом в сторону хозяина.

— Не придуривайся, Деев. Сам же в прошлый раз

меня к метеорологам водил — с Байкитом по рации связывались. Что со мной, ты распрекрасно знать должен. Поэтому давай без спектаклей. Помнится мне — завскладом ты тут. Ну, слушай сюда, красный купец. Пойдешь сейчас в склад, принесешь... Цыц, дура! — бросил он Ирине, которая проснулась и, уяснив, в чем дело, вскрикнула. — Принесешь, говорю, крупы, соли, патронов... — он заметил на стене ружье. Поднялся, снял его, осмотрел и удовлетворенно закончил. — Патронов двенадцатого калибра. Только мелкую дробь не бери. Крупная дробь и жаканы. И к нагану патронов прихвати, понял? А перед тем, как идти, запомни на всякий случай. — Самарин коснулся дулом нагана подбородка Деева. — Ты не бог и не шаньга. В случае чего за твой язык баба ответит.

Он легонько стволом нагана повернул голову Деева в сторону кровати, где, прикрыв грудь одеялом, сидела испуганная Ирина. Деев тяжело глядел мимо Самарина и молчал. Тот встревожился.

— Ну, понял, нет?

— Понял, убери наган-то... не ровен час — отберу. Теперь слушай ты. Принесу все, как надо, как сказано. Но если ты, паскуда, хоть пальцем Ирину тронешь...

— Иди, иди. Мне твоя баба не нужна, дурак.

Самарин закрыл за Деевым дверь на крючок, взял со стола кружку с недопитым чаем, хлеб и, присев у печки, стал торопливо есть. Телогрейка распахнулась, внизу была видна куртка Пролетарского, подбитая рысьим мехом. Ирина долго глядела на Самарина, наконец, решила спросить:

— Жилетка-то на тебе... Пролетарского?

— Знала его, что ли?

— На седьмое ноября приезжал, лекцию читал... Высокий такой, черноволосый... начальник районной милиции.

— Нет Николая Осиповича, тетка, царство ему небесное. Приказал долго жить.

— Убил? — шепотом спросила Ирина.

Самарин медленно поднял веки и взглянул на нее. Под этим взглядом Ирина медленно стала отодвигаться к стене, все больше прикрываясь одеялом.

— А что было делать? Ты вот, к примеру, жить хочешь? — Самарин повертел в руке наган. — Трясешься — значит хочешь жить. Вот и живи, только мне не мешай. Меня не тронете — я вас и подавно трогать не буду. Поняли?

Ирина испуганно закивала головой. Самарин сунул наган в карман и пробормотал:

— А вот Николай-то никак этого понять не хотел. Я ведь, милая моя, не зверь... пока меня не трогают.

Его разморило возле печки. Он развалился, продолжая машинально жевать, вдруг насторожился, вскочил, быстро и беззвучно подошел к порогу, прислушался и, рывком раскрыв дверь, уперся наганом в грудь вошедшего Деева. Втащил его в комнату, прикрыв дверь ногой.

— Один пришел?

— А ты в сенях глянь, — спокойно проговорил Деев, подойдя с мешком к столу.

Он стал вытаскивать продукты из мешка, перечисляя содержимое:

— Крупа — три кило... да не стреляй глазами-то, гляди, второй раз в склад не пойду... сахар, спички, соль, патроны...

Самарин внимательно следил за Деевым. Тот уложил продукты обратно.

— Все?

— Вроде бы все, — настороженно ответил Самарин.

— Плати семьдесят пять рублей, забирай и уходи.

— Что-о? А если я вместо денег-то... — Самарин, как в прошлый раз, поднес к подбородку Деева наган, но тот спокойно отвел его ладонью.

— Будет махать-то. Кабы не Ирина в комнате... Я тебя не спрашиваю, зачем ты здесь. Есть деньги — выкладывай, нет — ступай дальше. Но раз ты меня в свои дела путаешь — в дураках оставаться не хочу. Я ведь в этом деле... — Деев сделал четкую паузу и произнес громче, чем раньше. — Я ведь тоже рискую.

— Н-ну, ты хват, паря, — пробормотал Самарин.

Он переложил наган в левую руку и полез во внутренний карман за деньгами. Деев неожиданно перехватил руку Самарина, толкнул его, опрокинул на пол. В это время сзади открылась дверь, и на Самарина навалились еще двое. Через минуту, связанный, он, тяжело дыша, поглядел на Деева и прерывисто произнес:

— Н-ну, ты... хват, паря!

...Стариков заканчивал очную ставку между Жернявским и Козюткиным.

— Распишитесь в том, что протокол с ваших слов записан верно и вами прочитан.

Козюткина увели. Жернявский проводил его глазами.

— Ну, что, гражданин Жернявский, пора заканчивать?

— Мне тоже кажется, что пора, — любезно согласился Жернявский. — Ужасно много мороки было.

— По интегралу у меня сомнений нет. Факты злоупотреблений и хищений установлены. Дальнейшую вашу судьбу будет решать суд, прокуратура... У меня к вам другого рода вопрос: что вам известно о Самарине?

— Что касается суда, уважаемый Сергей Сергеевич, — задумчиво протянул Жернявский, — то я, откровенно говоря, рассчитываю еще выкрутиться, — он поднял палец и предупредил. — Все это, разумеется совершенно конфиденциально, безо всяких протоколов, вы понимаете меня?

— Понимаю, — успокоил его Стариков. — Как говорится в таких случаях, слово к делу не пришьешь...

— Именно, именно! Золотое правило, — закивал Жернявский. — А в отношении Самарина... Ну, что? Довольно экзальтированный молодой человек. Самолюбивый, злой... со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Я это не для того, чтобы создать о нем дурное впечатление... Молодость всегда самолюбива и всегда... ну, если не зла, то безжалостна, что ли... В остальном мне известно то же, что и вам. В ночь, когда сгорела школа, скрылся, что, разумеется, навлекает на него определенные подозрения... — Жернявский сделал паузу, косо взглянув на Старикова, но тот молчал. Роман Григорьевич сделал вид, что не ждет ответа и продолжал, — был задержан в Куюмбе Пролетарским. Убил его... Да вы же лучше меня обо всем информированы. Кстати, не нашли еще Самарина?

— А что, вы заинтересованы в этом?

— Откровенно? — лукаво улыбнулся бухгалтер.

— Я ничего не протоколирую, — в тон ему напомнил Стариков.

— Кабы вы так-то, без бумаг, все дело вели — эх, порассказал бы я вам, — в том же тоне продолжал Жернявский. Затем согнал с лица улыбку. — А в отношении Самарина скажу: нет, я не заинтересован, чтобы его разыскивали. Мне, сами понимаете, хватает забот сейчас. А тут — найдут его... всем известно, что он частенько бывал у меня, пойдут опять допросы: а почему бывал, о чем говорили, да не было ли разговоров насчет поджога школы или теракта в отношении партийных и советских работников... Что улыбаетесь? Все так и будет, уверяю вас...

Ну, может, не до такой степени примитивно, как я об этом говорю, но будет. Ах, молодые люди, молодые люди, — вздохнул Жернявский. — Все-то на свете вы хотите выяснить, до всего докопаться. Я как-то говорил покойному Пролетарскому, земля ему пухом... кстати, он тоже бывал у меня дома, — что я старый мещанин. Я уже все видел, понимаете, все! И таких горячих молодых людей, которые хотят в кратчайший срок переделать мир, — тоже видел. В молодости все хотят переделать мир так, как им кажется лучше. Любопытство — жадное, голодное любопытство — начало познания. А нельзя ли сделать так? Или так? А конец познания — ощущение собственной несостоятельности. Я знаю, что я ничего не знаю. Вот поэтому время идет, люди стареют, умирают, а мир... А!.. — он махнул рукой. — Нет уж, разбирайтесь с Самариным без меня.

— Странно, — покачал головой Стариков.

— Что именно? — поинтересовался Жернявский.

— Станным мне кажется ваше спокойствие. В результате проверки установлены факты хищений, злоупотреблений не на одну тысячу рублей — а вы спокойны.

— Так хорошо говорили, — вздохнул Жернявский. — Ради бога, ну не начинайте все сначала. Поживете с мое — поймете. Спокойствие — мудрость старости. Уж лучше вернемся к Самарину. Кстати, мне вспомнилось одно обстоятельство. Если оно вам пригодится, конечно... В качестве версии, так сказать.

— Да?

— Знаете, а ведь Пролетарский и Самарин были довольно близки друг с другом. Я возьму на себя смелость утверждать, что они были в некотором роде друзьями. Вы не рассматривали вопрос о причине убийства Пролетарского Самариным с точки зрения личных мотивов? Какой-то, знаете, конфликт на почве, ну, скажем, ссоры из-за девушки или там... — Жернявский неопределенно покрутил рукой и вопросительно взглянул на Старикова.

— Я подумаю, — сухо ответил Стариков.

Он понял, что разговора не получается. Видел, что Жернявский открыто смеется над ним.

А бухгалтер действительно торжествовал победу. Он развалился на стуле и, покровительственно глядя на Старикова, продолжал:

— Черт его знает, интересная у вас все-таки работа. Я — старый пенек — и то втянулся. Ей-богу, даже жалко

стало, что Самарина нет, хочется узнать, как же там все-таки произошло. Из-за чего? Ведь они были ровесниками, приехали сюда в одно время. Ну, я — из «бывших». Так я же старик. Мне трудно жить в другом измерении. А они? Нет, тут что-то не так. Слушайте, в самом деле, неужели Самарина уже нельзя поймать? Нагорит вам от начальства-то, а? — он добродушно подмигнул. — На кого вы теперь пожар этот спишете?

— Найдем на кого.

В дверях стоял Лозовцев. Жернявский поднялся.

— Здравствуйте, Степан Максимович. Любопытно узнать, на кого же? Насколько мне известно... — он осекся и сделал шаг назад — в кабинет ввели Самарина.

— Вот и встретились, — произнес Лозовцев. — Он тебя послал к Козюткину?

— Он, — пробормотал Самарин.

— Ошибся ты, Самарин, — усмехнулся Лозовцев. — Не тому богу кадил. Вот и пошел — один против всего мира.

— Не тратьте ваше красноречие, Степан Максимович, — подал голос Жернявский. — В вопросах логики он вам не противник. Я вам отвечу... Не Самарин пошел против мира. Мир пошел против мира. «Борьба миров» — читали Уэллса?

— Не читал, — признался Лозовцев. — Я много чего не успел прочесть. Сжег ты книги. Детишек и книги. Знал, что жечь.

— Детишки, — повторил Жернявский язвительно, — книжки... Культуртрегеры вшивые.

Он опустил голову. Затем взглянул на Самарина, и лицо его исказилось.

— Болван! Уйти не смог... — он шутовски развел руками и издевательски поклонился Самарину. — Ну, что ж, давай, Жорж, рассказывай. Кто крал пушнину, кто распорядился привезти в школу керосин, кто убил начальника милиции... Вали на Романа Григорьевича — он вывезет. Все вали! Роман Григорьевич «бывший», лишенец, ему все равно как подышать. А ты молод, тебе жить да жить. Ошибся — бывает, вымолишь себе прощение, сдашь вон бухгалтера со всеми гуньями, — и живи, нюхай цветы. Так, что ли? — Жернявский набрал воздуха, выставил вперед костлявые пальцы, сложив из них кукиш, и, брызгая слюной, заорал так, что надулись жилы на дряблой, покрасневшей от напряжения шее. — А этого не хочешь

понюхать, щенок! Не нюхал? Не приходилось? Ну, так заруби на своем молодом носу: за все будешь отвечать сам! Са-ам, хамское отродье!

Лозовцев поднял брови.

— Что с вами? Вы же только что его защищали.

— Плевать мне на него, — устало проговорил Жернявский. — На вас, кстати, тоже.

Он сел на стул, обхватив голову руками, ни на кого не обращая внимания, что-то беззвучно шепча...

ЭПИЛОГ

Сергей полулежал на дне лодки. В сумерках его лицо было бледным, почти белым.

— Ноги мерзнут, — прошептал Сергей.

Виктор не расслышал, но по зябкому движению понял, что ему холодно. Он заглушил мотор, стал расстегивать телогрейку, потом, что-то вспомнив, застегнулся и шагнул к лежащему Баландину.

— Повернись.

Пока Виктор освобождал его от телогрейки, тот с усмешкой смотрел на него, потом сказал:

— Три раза я тебя на мушке держал: на болоте, потом, когда вы с ним за поселок ходили, и сейчас.

— Что ж не стрелял? — поинтересовался Виктор, сняв с него телогрейку и снова надев наручники.

— Кабы знать... — угрюмо проговорил Баландин.

— Ничего, — утешил его Виктор, похлопав по плечу. — С тебя и так хватит. На полную катушку хватит, понял?

Он обернул телогрейкой ноги Сергея, лежавшего с закрытыми глазами, затем, увидя, что тот открыл их, чуть заметно подмигнул ему.

— Как дела. Бодрисься?

— Ты знаешь — бодрюсь, — ответил Сергей. — Слабость только... и язык пересох.

Виктор опустил за борт платок, отжал его и подал Сергею.

— Ерунда. Через полчаса будем в поселке — там врач. Река тихая, дойдем, как по облаку. А пулю, когда вытащат, подарить мне. За труды...

Он с ненавистью рванул шнур, и мотор взвыл. Сергей был плох — это можно было определить по черным

теньям под глазами, по осунувшемуся лицу, на котором даже губы не выделялись и были такого же пепельно-белого цвета. Сергей плох, и даже если не будет перитонита, надежды мало: в поселке только фельдшер.

Впереди, справа, берег стал расти, теснить реку. Виктор нагнулся и крикнул Сергею:

— Не спи, слышишь? Не спи! Мыс Пролетарского проходим. Скоро будем на месте.

И тут он внезапно вспомнил, где встречал эту необычную, задорную фамилию. Он видел ее сотни раз в вестибюле краевого управления внутренних дел, там, где на мраморной доске были выбиты имена работников милиции, погибших в разное время. И среди них, во втором ряду был он — Пролетарский.

И глядя на черный мыс, Голубь задумался о судьбе неизвестного ему человека. Он ничего не знал о нем, Жернявском, Лозовцеве, Иркутме... Он не знал, что Самарин после убийства Пролетарского бежал второй раз, когда его перевозили в Красноярск.

Понемногу он научился паять, лудить, сапожничать, чем и зарабатывал на жизнь. В своих скитаниях все ближе передвигался к Ленинграду — тянуло в родные места. Там его и задержали.

31 марта 1938 года в одну из картотек Красноярского Управления НКВД поступила карточка, в которой значились данные Самарина, дата ареста, основание ареста и дата исполнения приговора. Эта карточка и сейчас лежит в картотеке — потемневшая, с выцветшими от времени строчками. И этот кусочек картона — единственное, что осталось на земле от Георгия Самарина.

Пролетарский же был похоронен в Байките. Его мало уже кто помнил из старожилов. Но красные следопыты из местной школы восстановили историю его жизни и смерти, где — списавшись с учреждениями, где — выпросив у стариков, а где и — по-мальчишески приврав. И жизнь Николая Пролетарского обрела новый смысл и значение через столько лет после того, как окончилась.

Ничего этого не знал Голубь, проходя в «казанке» с задержанным преступником и раненым товарищем мимо мыса Пролетарского.

Он слушал нудное гудение мотора и напряженно вглядывался в темноту.

Впереди показались огни поселка...

УЧЕНИКИ СОКРАТА,



Время всеильно: порой изменяют немногие
Имя и облик вещей, их естество и судьбу. ^{годы}
ПЛАТОН

ПРОЛОГ

— А вы в милиции не интересовались статистикой разводов?

Голубь удивленно воззрился на Бориса Дмитриевича. Тот стоял возле книжной полки, листая «Уголовное право», и весь вид его выражал крайнюю заинтересованность содержанием книги. Елена Петровна, появившаяся из кухни с чайником, заглянула через плечо своего мужа и, пожав плечами, прошла к столику — накрывать.

— При чем тут милиция?

— Сейчас объясню.

Борис Дмитриевич аккуратно положил книгу в шкаф, грузно опустился в кресло перед столиком.

— Ты несколько лет обучала английскому языку этого человека, и, как выяснилось, время потрачено зря. Вообще, студентов, которым бы пригодился твой английский, можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, чувствуешь ты себя неплохо, угрызения совести не испытываешь, так? Теперь представь себе: Виктор ведет одно дело, оно у него не получается — закрывает его. Затем второе, третье, десятое. Если он честный человек, в чем я не сомневаюсь, у него должен выработаться комплекс, чувство бессилия, подавленности. Тут ведь не английский преподавать, тут горе людское. Раз ошибся, другой... И если бы еще у него была семья... Думаю, ты согласишься, что постоянные неудачи, хронические, могут в конце концов разрушить семейную гармонию. Это же своего рода коррозия, вибрация, действие которых испортит любой механизм. Не так?

Борис Дмитриевич и Елена Петровна зашли к Голубю попрощаться: они уезжали по туристической путевке на теплоходе «Антон Чехов», верхняя палуба которого была видна из окна его квартиры, — Виктор жил рядом с речным портом.

Живя в одном городе, Голубь редко виделся со своей преподавательницей. Это был другой слой его жизни — яркий, многоцветный, но оставшийся только в памяти. И появление Елены Петровны с мужем — живых свидетелей этой жизни — наполнило его, тридцатипятилетнего одинокого мужчину, загруженного суматошными милицейскими делами, — молодой и веселой радостью.

Виктор с наслаждением наблюдал, как хозяйничала за столом Елена Петровна, невысокая статная женщина, не изменившаяся со студенческих времен, если не считать обильной седины. И он с удовольствием подыгрывал Борису Дмитриевичу, подбиравшемуся как всегда при встречах путем сложных логических комбинаций, к своей обычной теме — холостяцкому образу жизни Виктора.

— Я понимаю и ценю вашу попытку оправдать мое одиночество, — отозвался Голубь, — но, ей-богу, проблема кажется мне надуманной.

— А статистика...

— Статистики я не знаю, но уверен, что она здесь тоже ни при чем.

— Позвольте...

— Человек адаптируется в любых условиях. Один мой бывший приятель, сейчас начальник отдела, своя «Волга», — наловчился даже использовать милицейские суровые будни для укрепления семейной гармонии. Жена его как-то жаловалась: мой Олег похудел от этой работы. Что ни ночь — то в засаде сидит. А Олег всю жизнь в пожарной охране проработал, в управлении, и о засаде представления не имеет.

— Фу, Виктор, при чем тут это? — поморщилась Елена Петровна. — Борис говорил о влиянии работы на семейный быт, а ваш Олег элементарно обманывает жену. У вас что — все такие? Нет же?

— У нас все разные, — согласился Голубь. — Один глуп, другой умен, третий чиновник, четвертый — наоборот, романтик. Я в телевизионные спектакли не верю — во всех этих лубочных «знатоков». Но в одном с Борисом Дмитриевичем согласен. Хоть и не «закрываю» дел. Неважно. Следователь, участковый, инспектор уголовного ро-

зыска... Средний, нормальный человек. Службист. Он с чего день начинает в милиции? Он практически каждый день начинает с того, что получает в руки неразрешенный материал. Задачу. Причем задача не для развлечения ума дается. Это — избитый, обворованный, обманутый, живой человек. И гарантии, что преступник отыщется, истина возторжествует, — не дашь. И комплексы всякие испытываешь. Попробуй не испытать, если на каждой планерке начальство спрашивает: раскрыл? когда раскроешь? что сделал, чтобы раскрыть? Здесь уже не человек — человек в кабинете остался. Здесь уже статистика пошла. Тут все комплексы испытываешь — от неполноценности до зеленой тоски, до желания плюнуть на все и напиться. Так что вы, Борис Дмитриевич, верно подметили основное, хотя может, формулировку не ту употребили. Постоянное чувство обязанности, долга. А если еще и неудачи пойдут — тяжело, конечно. Но мне кажется, вы преувеличиваете силу комплексов. Среди моих коллег мало меланхоликов. Если выбрать средний тип милиционера, на мой взгляд, получится этакий спокойный, осторожный в делах человек, с довольно критическим взглядом на жизнь и... ну, и развитым чувством юмора.

— Не циник? — полюбопытствовала Елена Петровна.

— У молодых работников встречается, но это скорее кокетство. Как у первокурсников — блистание эрудицией. Помните, Елена Петровна, у нас присловье ходило на факе: «Как говаривал старик Жорж Санд...»? С годами проходит. Точнее, трансформируется в здоровый реализм. Может несколько грубоватый, если судить со стороны.

— Вот уже интересно, — оживился Борис Дмитриевич. — Ваш «грубоватый реализм» — отчего он? Не от того ли, что устаете сопереживать несчастным? Не от приглушения чувств? Каждый день видеть обиженных... Привычка, а?

— Бывает; — согласился Виктор. — Недаром милицию попрекают толстой кожей. Только тут ведь иногда выбирать надо: сопереживать или помогать горю. Не всегда это одно и то же. Я раз дежурил — старушка скончалась. Нашли автобус, привезли тело к милиции, чтобы в морг отправить, бумаги разные оформить — а тут по телефону звонок: через две остановки женщину грабят. Час ночи. Патрульная машина на другом конце района, дежурная тоже на вызове. Других машин нет. Что делать?

— И вы поехали на грабеж в автобусе? А родственники? Вы им хотя бы объяснили?

— В двух словах. Времени не было.

Елена Петровна покачала головой.

— Да уж, действительно... здоровый реализм. Иначе не скажешь.

— Не мы виноваты, — пробормотал Голубь. — Я до сих пор помню, как внучки старушки на меня смотрели.

— Задержали грабителей? — после короткой паузы спросил Борис Дмитриевич.

Виктор вздохнул.

— Звонила пьяная девчонка. Она повздорила со своим приятелем и решила поугагать его милицией. У нас частенько бывают ложные вызовы.

— Тяжело было? — участливо спросил Борис Дмитриевич.

— Здоровый реализм выручил, — усмехнулся Виктор. — Это же не единственная такая история.

— Нет, что ни говорите, вам нужен крепкий тыл, — назидательно проговорила Елена Петровна. — Тоже мне — Шерлок Холмс. Сопьетесь или станете бабником.

— Критический возраст уже прошел, — осторожно заметил Голубь. — И потом, мне поздно жениться.

— Это никогда не поздно, — запальчиво возразила Елена Петровна.

— Стать бабником или жениться? — осведомился Борис Дмитриевич.

— Прекрати, Борис! — окончательно рассердилась Елена Петровна.

Ее обычно добродушное лицо, тронутое оспинками, стало чужим и холодным.

— Скажите, Виктор, для чего вы живете? Семьи у вас нет, заботиться не о ком. Особых увлечений за вами не замечала. Для карьеры?

Виктор прыснул. Он вдруг вспомнил своего знакомого, Толю Шмыткина. Круглый, как колобок, большеголовый лейтенантик, лет десять назад он работал в уголовном розыске. Толя ничем не выделялся среди других, разве что своей, сохраненной с детства и пронесенной сквозь все житейские невзгоды привычкой ковырять в носу. Недавно Голубь за каким-то делом пошел в отдел службы и там на дверях одного из кабинетов к своему удивлению увидел его фамилию. Недолго думая, он открыл дверь. В большой комнате за полированным столом сидел Толик Шмыт-

кин в новых майорских погонах и... самозабвенно ковырял в носу. Голубя он не заметил.

— Почему вы смеетесь? — подозрительно глядя на Виктора, продолжала допрос Елена Петровна. — Я понимаю, что вы не карьерист, но тогда позвольте все-таки узнать: для чего вы живете? Ходите на работу. Раскрываете преступления. И все? Не маловато ли? Не сократили ли вы свой производственный план, как у нас делают, чтобы потом ходить в передовиках?

— Это очень... деликатный вопрос, — поежился Виктор, с надеждой взглянув на Бориса Дмитриевича. Тот стрельнул глазами в сторону жены и беспомощно развел руками.

— Думаю, наша многолетняя дружба дает мне право на такой вопрос, — безжалостно парировала Елена Петровна.

— Но я боюсь, что не могу ответить однозначно, — пробормотал Виктор. — Ну, хорошо, я попробую, хотя... Понимаете, я считаю, что моя работа уникальна. Каждый раз она ставит меня в такое положение, что я... должен принять решение, которое меняет судьбу человека, простите за громкое слово. Это только в кино обкладывают преступника свидетелями, отпечатками пальцев... А ведь субъективный момент имеет большое значение, хотя его в систему доказательств не включишь. Он-то, преступник, ребенка, скажем, в садик отводит по утрам. В деревню к матери за продуктами едет. Словом, живет. Потом уж суд ему даст, что причитается. А пока у меня кроме подозрения ничего нет. И вот смотришь на него, на свидетелей, на потерпевших... Кто они? Чем живут? Порядочные люди или нет? Страшно важно, чтобы твое субъективное мнение совпало потом с тем, что дадут доказательства. Потому что прежде, чем совершить преступление и оставить какие-то следы, человек мысленно его уже себе позволил. Он уже мысленно выступил против нравственных правил, установленных обществом. А это тоже в чем-то выражается: в словах, поступках, образе мыслей... Может даже безобидных на первый взгляд.

— Что же вы хотите сказать, что преступников гораздо больше, чем вы ловите? — спросил Борис Дмитриевич.

— Наверно их действительно несколько больше, но я ничего не хочу сказать. Я хочу задать вам вопрос. Можно?

— Ну-ну!

Борис Дмитриевич задорно взъерошил свои седоватые

короткие волосы и снял очки, уставя в Голубя выпуклые серые глаза.

— Только не обижайтесь. Будет что-то вроде теста. Вы ведь летом работаете в приемной комиссии? Почему вы ни разу не получили взятку у родителей абитуриентов. Я полагаю, предложения имели место?

— Виктор, что вы говорите! — негодуяще произнесла Елена Петровна.

— Подожди, Лена... В конце концов, ты первая открыла этот ящик Пандоры, — Борис Дмитриевич обратился к Виктору. — Хорошо. Как я должен отвечать?

— Так, будто отвечаете себе.

— Н-ну, потому что это... это... неприлично.

— Двойка, — безапелляционно оценил Виктор.

— Но почему? — удивился Борис Дмитриевич.

— Неприлично выражаться нецензурной бранью. Неприлично оправлять естественные надобности в общественных местах. А что неприличного в том, что один интеллигентный человек делает одолжение другому интеллигентному человеку и получает за это подарок?

— Эх, ты! — Елена Петровна с чувством превосходства посмотрела на мужа. — Взятка не может быть приличной или неприличной. Она карается законом. Пять лет. Или шесть. Неважно. Ответ верен?

— Ответ верен, — грустно кивнул головой Виктор.

— А почему такой тон? — недоверчиво спросил Борис Дмитриевич.

— Потому что из вашего ответа вытекает, — объяснил Виктор, — что воровать нельзя, так как можно получить пять лет. Следовательно, если угрозы получить пять лет не возникает, то воровать можно. Тут уж рукой подать до оригинальной идеи «не пойман — не вор».

— Фу, черт! — вздохнул Борис Дмитриевич. — Какой-то порочный круг. Хорошо, сдаюсь...

— Нет, погодите! У меня еще есть ответ.

Елена Петровна положила руку на плечо мужа.

— Мы забыли. Даже странно... То, о чем говорит Виктор — безнравственно.

— Верно. Это нарушение не правил приличия, а нравственных правил, установленных обществом, — помимо того, что это, разумеется, уголовное преступление. И на мой взгляд, преступление всякое опасно не столько ущербом, причиненным здоровью людей или материальному их положению, сколько — забвением этих правил. Как-то

столкнулся с одной кражей, пустяковая такая кража. Рабочий у себя на даче клетку для кроликов делал. Понадобилась ему металлическая сетка — вот и украл на заводе. Разговариваю, смотрю — ну, нормальный парень! Семьянин, производственник и так далее. Жаль мне его стало. Что же ты, говорю, друг, душу свою бессмертную, хорошую, человечью, на кроличью сетку разменял? А он подумал так, серьезно, и говорит: на счет сетки — виноват, а про душу вы ерунду несете. Нет никакой души, тем более, бессмертной. Все помрем — и кто ворует, и кто не ворует. Сцепились мы с ним. Я ему кричу: твоя душа в твоих детях останется, твои мысли к ним перейдут, как ты к обществу относишься, так и они. А он — ни черта в моих детях не останется, я сам по себе, дети — сами по себе. От человека не мысли, не слова остаются, а дела. Вот дача, говорит, от меня останется и детям перейдет. Так ни до чего и не договорились.

— Интересно, — Борис Дмитриевич с наслаждением потер ладони. — Лена, твой ученик уверовал в бессмертие души. Где? В милиции! Мало того — пропагандирует это среди правонарушителей. Кошмар! Как вы дошли до такого, Виктор?

— Да, никак, — усмехнулся Виктор. — Просто считаю, как поется в одной песне, — «ничто на земле не проходит бесследно».

— А вы знаете, что автор полюбившейся вам песни содрал ее идею у Сократа, который и додумался до теории бессмертия души, если верить Платону, его ученику.

— Ну, да! — удивился Голубь.

— Чтоб я документ потерял, как говорят ваши подшефные. В день своей казни Сократ в беседе с учениками привел четыре доказательства бессмертия души. А ваши соображения о нравственном обязательстве личности перед обществом где-то смыкаются с его положениями. Это начинает наводить меня на крамольную мысль о том, что бессмертие души — не такая уж и ерунда, как принято думать в наше рациональное время. Кстати, у меня в саквояже лежат сочинения Платона. Вчера один симпатичный юноша предложил их на улице за сравнительно божескую цену. Я посмотрел — штампа нет. Как вы думаете, они действительно из личной библиотеки?

— В лучшем случае — из папиной, — ответил Голубь.

— В милицию я бы его не утащил, поэтому сделал

единственное, что мог. Лена, принеси, пожалуйста. Что-то мне тяжело встать. Воздуху не хватает...

Елена Петровна внимательно взглянула на мужа и вышла. Она принесла книги и положила их на стол, отодвинув чашки с чаем.

— Тебе плохо, Борис?

— Ничего особенного, не беспокойся. Вечер... Вечером всегда душно.

Лицо у него посерело, покрылось росинками пота. Виктор встал и приоткрыл окно. Пахнуло свежестью.

— Когда у вас отправление? — спросил Голубь.

— Через четыре часа, — ответила Елена Петровна, — а что?

— Борис Дмитриевич может полежать пока. А мы с вами поболтаем на кухне.

— Я нормально себя чувствую, — запротестовал Борис Дмитриевич, но, увидя обращенный на него взгляд жены, махнул рукой. — Ну, хорошо, хорошо.

Он тяжело поднялся и криво улыбнулся Виктору:

— Ну, ведите... ученик Сократа.

— Уж вы скажете, — смутился Виктор, поддерживая Бориса Дмитриевича и направляясь с ним к дивану. — Я и не знаю о нем ничего.

— А вот прочтите — узнаете. Я вам и книги оставлю.

— Да прочесть-то прочту. Только не в коня корм. Мне бы что полегче. А кроме того — уж времени больно много прошло. Что мне этот грек нового даст? Я ж историю учил. Детство человечества. Земля у них на трех китах стоит, а человек — игрушка в руках богов. И потом, эти древние греки — такие многословные. Я еще по институтской программе помню, — осторожно уговаривал Голубь Бориса Дмитриевича.

Он уложил его на диван, накрыл ноги шерстяным одеялом. Борис Дмитриевич лежал, тяжело дыша, с закрытыми глазами. Медленно открыл их, поманил Виктора. Тот присел на край дивана.

— Сократ, по свидетельству Платона, в день казни описывал своим ученикам Землю такой, какой ее видно из космоса. Причем эти описания временами удивительно схожи с теми, что встречаются у наших космонавтов. — Борис Дмитриевич значительно поднял палец и добавил: — Это вам за трех китов. Понятно?

— Понятно, — смущенно ответил Виктор. — Обязательно прочту. Я ведь...

— Нет, сейчас я вам... еще одну штуку... в «девятку». Я когда-то был неплохим нападающим... Сейчас, отдышусь.

Он помолчал немного, положив успокаивающе ладонь на руку Голубя:

— Вот. Слушайте. Это Петр Вяземский:

Вам, чуждым летописи древней,
Вам в ум забрать не мудрено,
Что с той поры и свет в деревне,
Как стали вы смотреть в окно.
Нет, и до вас шли годы к цели,
В деревне Божий свет не гас,
И в окна многие смотрели,
Которые позорче вас.

Он устало, но победно взглянул на Виктора.

— Ну, как?

— Два ноль. Что уж... Только пожалуйста сейчас ложите, отдыхайте.

Голубь уступил место Елене Петровне, которая принесла лекарство.

Через некоторое время она пришла на кухню и села рядом с Виктором.

— Уснул, — ответила она на его немой вопрос.

— Что это было?

— Ничего особенного, Виктор, ничего особенного. Просто у него старое, изношенное сердце. А последнее время он очень много работал.

Елена Петровна задумчиво помешала ложечкой в стакане и продолжала:

— Бессмертна душа или нет — вопрос проблематичный, а вот сердце... У него определенный срок и, как выясняется, очень маленький.

— Так может его... лучше в больницу? — осторожно спросил Голубь.

— В больнице ему уже практически не помогут, — спокойно, даже как-то равнодушно ответила Елена Петровна, продолжая беззвучно помешивать ложечкой в стакане. — Я посоветовалась с врачами. Они сказали: река, свежий воздух — хуже не будет. Вот — едем.

Она подняла голову и взглянула на Виктора.

— Я рада, что мы увиделись. И Борис был такой... оживленный. Он у меня ведь... вечный студент: поговорить, разыграть, мировые вопросы обсудить...

— Мне тоже было хорошо, — признательно улыбнул-

ся Виктор. — Как будто в институт вернулся, на пятнадцать лет назад.

— Вы обязательно прочтите Платона, — напомнила Елена Петровна, — очень интересно. И Борис верно заметил, созвучно вам в чем-то. У вас действительно уникальная работа. Борис как-то сказал мне, что вы изучаете срезы человеческой нравственности — а у нее ведь тысячелетний опыт.

— Какое, изучаю, — махнул рукой Виктор. — Я — чернорабочий, практик. Мне изучать некогда. Я эти срезы считать не успеваю.

— Не скажите, дорогой, не скажите, — покачала головой Елена Петровна. — Ваша практика и на вас влияет, делает лучше, добрее. Я вас знаю давно, поверьте, со стороны виднее.

— Ну, за меня вы можете быть спокойны. Я нравственен профессионально. По долгу службы. Вы где-нибудь читали о безнравственном милиционере? В литературе этот тип обречен быть нравственным. В жизни тоже.

— Так уж и обречен? А ваш этот приятель... Олег?

— Я бы не назвал его безнравственным. Дела семейные, знаете... Он несколько может глуповат — отсюда все его беды.

— Почему же он тогда у вас работает — и даже преуспел. Я думала, в вашей организации дураков не держат.

— Дураки есть в любой организации. И потом, глупость и профессиональная непригодность — разные штуки.

— Однако вы далеко зайдете с таким тезисом. Смотрите, не споткнитесь. Глупость — дело наживное в отличие от профессиональной непригодности, — она тихо рассмеялась. — Фу ты, прямо заразилась от вас обоих. Я же серьезный человек, а вот поди... Треплюсь, как девчонка.

— Это не треп, — покачал головой Виктор. — Мы говорим о жизни. А жизнь — заразительная вещь.

— Вот поэтому я рада, что мы пришли к вам. Жаль только, что Борис устал. Пойдемте, посмотрим, как он там.

Они тихо подошли к дивану. Борис Дмитриевич спал, лицо его было безмятежно и спокойно. И страшно было думать, что жизнь этого большого тела поддерживает старое, изработанное сердце, которое скоро остановится навсегда.

— Господи, как я хочу, чтобы ему стало лучше, — беззвучно прошептала Елена Петровна.

Она поправила шерстяное одеяло, потом села рядом и долго смотрела на спящего горестным взглядом.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Критон горестно смотрел на спящего. Тот был с головой укрыт серым шерстяным одеялом, виднелись только коричневые потрескавшиеся пятки. Видимо, спящему стало холодно, потому что он пытался время от времени спрятать ноги под одеяло. Однако одеяло было короткое, а кроме того, мешала цепь, брякавшая при каждом движении: ноги были закованы в кандалы.

— Как ты можешь спать! — еле слышно прошептал Критон. Слезы показались у него на глазах при виде этих беспомощных попыток согреться. — Как ты можешь спать, будто ничего не случилось!

— Ты прав, — донесся из-под одеяла голос, — уснуть совершенно невозможно: ногам холодно, кандалы натерли кожу до ссадин. И вдобавок ко всему ты так красноречиво сопишь, будто тебе предстоит изжарить меня живьем.

С этими словами человек отбросил одеяло и, спустив ноги на пол, сел. Это был обрюзгший, толстый старик невысокого роста, курносый, губастый. Серые клочковатые волосы на висках и затылке росли обильно, однако почти от темени начиналась залысина, переходящая в крутой, бугристый лоб, который отделялся от мощных надбровных дуг глубокой продольной складкой, образовавшейся, вероятно, вследствие постоянной привычки смотреть исподлобья. Тем не менее, взгляд его, против ожидания, не казался хмурым. Видимо, это происходило оттого, что глаза были выпуклыми, даже выпученными, в веселых старческих морщинах, ясные и лукавые.

Это несообразие: привычки смотреть исподлобья и добрых глаз, курносого, вислогубого лица сластолюбца и огромного нависающего лба, — вводило в заблуждение многих людей, впервые видевших старика и пытавшихся судить о нем по внешности. Сирийский маг и физиономист Зопир при встрече охарактеризовал его как человека, духовно ограниченного и склонного к пороку. Взрывом веселого хохота встретили друзья старика эту характеристику, потому что относилась она не к кому ино-

му, как к Сократу — бедному, простоватому на вид афинянину, чьи безобидные дурачества в спорах, записанных через несколько лет по памяти его учениками, грозным и веселым гулом прокатились по истории всех времен и народов, обрастая, как снежный ком, толкованиями ученых и философов.

В марте 399 года до новой эры по доносу бездарного поэта-трагика Мелета, владельца кожевенных мастерских Анита и оратора Ликона Сократ был обвинен в отрицании богов, признанных Афинами, и совращении молодежи. Афинский суд присяжных числом в 500 человек, перевесом в 80 голосов, приговорил его к смерти. 29 дней ждал Сократ приведения приговора в исполнение.

Сегодня было утро тридцатого дня.

Сегодня Сократ в соответствии с приговором должен был умереть.

Сегодня он должен бежать!

Так решил Критон. У него водились деньги — в отличие от Сократа. Симмий и Кебет из Фессалии тоже дали денег. Тюремный сторож убогатворен, дело за малым. Правда, Сократ стар. Но ведь весь побег — выйти за ворота тюрьмы (двери откроет тот же сторож). Затем добраться до Мегары. Совет Одиннадцати, конечно, будет в гневе. Потаскают друзей философа. Но и то сказать — кто будет особенно волноваться оттого, что сбежал семидесятилетний старик? 210 присяжных голосовали против обвинения. А когда выступал Мелет, даже поддерживавшие обвинение смеялись над ним. Сократ сам настроил против себя демос: смеялся над своими доносчиками, иронизировал над афинянами, не плакал, не привел в суд Ксантиппу с детьми, чтобы, как это принято, разжалобить присяжных. Отрицал обвинение и, по своему обычаю, довел его до полного абсурда, приговорив себя к... обеду в Пританее! Как будто он был победителем Олимпийских игр, а не обвиняемым! Разумеется, граждане возмутились. Смеяться над доносчиками — куда ни шло, но смеяться над процессом судопроизводства, над вековыми традициями... над гражданами, которые, в сущности, собрались узнать в чем дело и, веди себя Сократ подобающим образом, может, даже помочь ему... Это к добру не привело. Критон вздохнул.

— Ну, что ты вздыхаешь?

Сократ потянулся, похлопал себя по груди и укоризненно взглянул на друга.

— Я знаю тебя всю жизнь и, сколько помню, ты всегда вздыхаешь. У меня сложилось впечатление, что повод для тебя не играет роли. Сейчас, как я понимаю, ты вздыхаешь оттого, что меня приговорили к смерти, и тебе меня жаль, не так ли?

— Так, Сократ, увы, так.

— А если бы речь шла о штрафе в тридцать мин серебра, ты не вздыхал бы? Точно так же вздыхал бы!

— Тридцать мин — это большая сумма, — вздохнул Критон, — но лучше бы все-таки такой штраф, чем...

— Ах, друг мой Критон, — Сократ тихо рассмеялся, — за столько лет нашего знакомства — как же плохо ты распознал меня!

— Но почему, Сократ? — удивился Критон.

— Попробую объяснить. Ты ведь не будешь спорить с тем, что я считаю, да и многие другие считают меня человеком, всю жизнь пытавшимся найти истину?

— Не только не буду... Я тоже считаю тебя таким человеком!

— А как ты полагаешь: можно ли заставить меня прекратить эти поиски путем наложения штрафа в тридцать мин серебра?

— Думаю, что нет, Сократ.

— Ну, а под угрозой смерти — можно ли заставить человека отказаться думать, сопоставлять, спорить... Искать?

— Думаю, что нет, Сократ, — повторил Критон. Слезы снова навернулись у него на глаза. — Но я должен заметить тебе, что с твоей смертью прекратятся все поиски...

— Ну, во-первых, — усмехнулся Сократ, — поиски истины не могут прекратиться с моей смертью: истина нужна всем. А во-вторых, смертно тело, что касается души...

— Сократ! — Критон осушил слезы рукавом и попытался говорить спокойно. — Я должен сообщить тебе две важные вещи...

— Подожди, мы говорили о душе...

— Сократ, я прошу... — Критон умоляюще смотрел на друга, увлеченного возможностью поспорить.

— Ну, хорошо, — вздохнул Сократ, — говори свои важные вещи. Первое?

— Первое: совет Одиннадцати решил, что ты умрешь сегодня, как только зайдет солнце.

— Так, — Сократ задумался. — Я действительно за-

сиделся тут. Видимо, срок запрета на казни истек. А второе?

— Второе: ты не умрешь!

— Не вижу последовательности, — заметил Сократ. — В твоём рассуждении отсутствует звено, обосновывающее такой вывод.

Критон оглянулся и возбужденно зашептал:

— Побег! Мы устроим тебе побег. Ты укроешься в Мегаре. В Фивах...

Сократ с сомнением взглянул на свой отвислый, толстый живот.

— Интересно было бы взглянуть на меня со стороны во время побега. И потом, скажи на милость: что я буду делать в Фивах? Предсказывать будущее по собачьим внутренностям? Или давать уроки философии за деньги, как это принято теперь у наших софистов? Но тогда мне надо будет похлопотать о перемене имени. О лишении меня гражданства афиняне и так позаботятся.

— Ты отказываешься от побега? — с ужасом проговорил Критон.

— Пока нет, — невозмутимо ответил Сократ. — Просто выясняю вместе с тобой его последствия. Кстати, не подскажешь ли мне, что ответить моим будущим слушателям в Мегаре, если они поинтересуются, как соотносить мои утверждения о необходимости подчинения гражданина государственным законам с моим же собственным поведением?

— Он отказывается от побега! — Критон машинально качал головой и беззвучно шевелил губами.

— Друг мой! — Сократ обнял его за плечи. — Чем ты так огорчен? Тем, что тебе не удастся сберечь нескольких лишних лет существования этому отвислому брюху? Этому дряхлому телу? Ты действительно полагаешь, что я в моём возрасте боюсь смерти?

— Не один я хочу, чтобы ты жил, Сократ, — Критон убрал его руку с плеча. — И ты прекрасно понимаешь, что не о дряхлом твоём теле идет речь. Твои близкие хотят, чтобы ты жил. Твои ученики хотят этого же. Не где-то там, в потустороннем мире, а здесь — с нами.

— Мои близкие, — Сократ накиннул на себя одеяло, прошелся по комнате. — Мои ученики... Тиран Критий был моим учеником. А доносчик Мелет? Сколько раз он терпеливо выслушивал меня, пытался спорить, соглашался... Определенно, он имеет все права называться моим учени-

ком. И Ксенофонт. Персидский наемник Ксенофонт — это ведь тоже мой ученик! Нет, друг мой Критон, все-таки ты преувеличиваешь влияние на тех, кто в разное время был близок мне. Конечно, молодых людей, длительное время общавшихся со мной и пытавшихся, подобно мне, во всем дойти до истины, — таких людей, в общем-то, и можно называть учениками, стыдного в этом ничего нет. Но вот какую истину они откопают в своих поисках — предугадать сложно. А тем более связывать с моим именем. Люди берут истину и делают из нее то, что им кажется истиной. И всякий раз по-своему. Разве я учил быть доносчиком? Разве я оправдывал тиранию или восхищался наемниками? А кроме того, милый Критон, я подозреваю, что некоторая часть учеников предпочитает видеть меня в потустороннем мире. О Мелете и Критии я уже говорил. Алкивиаду тоже иногда хотелось, чтобы Сократа не стало... Так, видишь ли, действовала моя речь на его совесть. Так что твой тезис об учениках, оплакивающих своего учителя, обладает некоторыми изъянами. Что касается близких... Мне очень не хотелось бы огорчать их, особенно Ксантиппу, — Сократ слабо усмехнулся. — Сколько крику было, когда она узнала о приговоре... Можно было подумать, что у нее на кухне разбили горшок с маслом. Мне остается только надеяться, что вы, мои друзья, позаботитесь, в меру ваших сил, о ней и детях.

— Сократ, Сократ! Не о том сейчас нужно говорить! — отчаянно мотая головой и зажмурившись, перебил его Критон. — Конечно, ты меня переспоришь и убедишь в чем угодно — даже в том, что мне вместе с тобой нужно умереть. Но ведь все это слова... От твоей смерти никто и ничего не выигрывает!

— Нет, Критон, это не слова... Я ни в чем не виновен. Но если я уклонюсь от приговора, то дам повод всем и каждому сказать: вот видите, Сократ испугался справедливого наказания. Значит, он все-таки виновен? А все, что он говорил в свое оправдание, было пустой болтовней, жалкими попытками уйти от ответственности. Когда же это не удалось — он просто-напросто сбежал.

В дверь просунулась взлохмаченная голова тюремного сторожа. Он сделал отчаянный знак Критону и скрылся.

— Ну, вот; что я скажу теперь сторожу? — грустно проговорил Критон, поднимаясь. — В предвкушении денег он так вдохновлен идеей твоего побега, что я просто опасаюсь что-либо объяснять ему. Он сочтет меня, да и тебя

тоже либо сумасшедшим, либо провокатором. Он мне просто не поверит!

— Отдай ему половину причитающейся за побег суммы. Думаю, после этого он разделит нашу точку зрения, — Сократ посмотрел на друга. — Что касается веры тюремного сторожа, полагаю, ее отсутствие не должно чересчур омрачить остаток твоей жизни. Мир состоит не из одних тюремных сторожей, мой бедный Критон. Утешайся этим.

Сторож, как и опасался Критон, вначале ничего не понял.

— Сейчас придут Одиннадцать — снимать оковы и объявить приговор... Я уже ничего не смогу сделать, — твердил он. — Еще есть время. Почему вы медлите?

Критон пытался растолковать ему, в чем дело, но сторож только качал головой:

— Надо торопиться! Что значит «не хочет бежать»? Такой человек — и не хочет бежать! Он просто не знает, как это происходит. Ты не говорил ему? Цикута — она горькая. Ох, горькая!

Критон, досадливо морщась, сунул деньги сторожу и, пробормотав, что вернется, когда Одиннадцать уйдут, почти побежал к выходу.

Сторож посмотрел на деньги. Двинулся было к камере Сократа, снова взглянул на деньги, зажатые в кулаке. Собственно, это не его дело. Такой умный человек — и не хочет бежать. Значит, есть причина. Сократ мудр, а он все-навсего тюремный сторож. Боги видят, он хотел добра Сократу. Он не обвинял его ни в чем. Это архонтам что-то не понравилось... Но, слава Зевсу, у нас же демократия. Тиранов свергли, и у нас демократия. И тем не менее... Конечно, Сократ беден. Ходит босой. Все Афины его знают. Ходит босой, говорит, что думает, никого не боится. При тирании говорил, что думал, и сейчас... Это не дело. Надо же соображать, когда следует говорить, что думаешь, а когда... А тем более, если ты беден. Бедный человек не должен так себя вести. Хоть при тирании Тридцати, хоть при демократии Одиннадцати. Бедный человек должен помалкивать. И уж, конечно, не совать нос не в свое дело. А тем более, если тебе заплатили деньги... вот как сейчас, например.

Сторож даже остановился и головой помотал от удивления, ошеломленный таким неожиданным поворотом мысли. Надо же, как складно — к месту вышло! Он хоть и не

философ, а тюремный сторож, однако, коснись до дела, то, пожалуй, и Сократу не уступит, так-то! И для верности повторил вслух:

— Тебе заплатили деньги?

Огляделся — не слышит ли кто — и подтвердил шепотом:

— Заплатили.

Еще раз огляделся и, многозначительно подняв палец, посоветовал:

— Ну, и помалкивай!

И новоиспеченный ученик Сократа, довольный философским уроком, который он преподавал самому себе, направился к выходу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Я еще раз повторяю: тебе заплатили деньги?

— Ну, заплатили.

— Вот и помалкивай в тряпочку!

Федька со злости так вертанулся на диване, что у того внутри торжественно запели пружины. Ладно бы этот придурок, бочкомёт — хозяин гаража сказал. А то кто? Женька, умница, очкарик, студент — тьфу! Хозяин-то помалкивал, только глазами зыркал. Боялся. Забоишься! Гараж-то блатной. На самой горе, впритык к дачной дороге. Там и так живого места от гаражей нет.

А тут — на тебе! Стали заднюю стенку выравнивать — и наткнулись на этот скелет. Аж онемели все. Хорошо — коробка уже стояла, с дороги не видать. Хозяин сразу разговор завел, дескать туда-сюда, захоронение, видать, старое, могилка безымянная, ерунда, мол. А какая ерунда, если скелет, как есть, голый — ни лоскута, ни обуви, а в черепе дыра с кулак, кость ведь, не штукатурка — сама не отвалится.

Федьке, конечно, было все это до лампочки. В газету он писать не собирался, в милицию докладывать — тем более. Да и хозяин подстраховался: объявил, что завтра выплачивает половину обещанного за работу и накидывает четвертак... если они «это» по-тихому уберут. «Это» они с Женькой обернули старым брезентом, перетянули веревками и на следующий вечер вынесли из гаража. Спустившись немного с горы, по дачной дороге, сползли в глубокий овраг, приспособленный дачниками под мусорную яму, и

там закопали сверток в кучу опилок, привалив для верности это дело сверху невесть откуда взявшимся кузовом от машины.

— М-да-а, — протянул Федька, когда они выбрались из оврага и некоторое время молча стояли, глядя в темную пустоту под ногами.

— Упокоили... душу раба божьего.

Женька молчал.

— Что молчишь... гробокопатель?

— Ты же за это деньги получил, — сухо ответил Женька.

— Как собаку, — продолжал меланхолично Федька. — А ведь человек был. Вот не разобрал я — мужик или баба?

— Мужчина, видимо. Таз узкий, пропорции...

— Во! Девоч, видать, обихаживал, а? Думал ведь о чем-то, планы строил. Друзья были, враги... И помер, наверно, не просто. А ведь никто ничего... Ни одна живая душа не знает. И не узнает. Мало того — последнего покоя лишился из-за того, что какому-то дерьму куриному для его вонючего «козла» стойло нужно. Так-то подумать — зачем людей хоронят? Вон в яму свалил, да опилом присыпал. А?

Вот тут Женька его и обрезал. Дескать, получил деньги — молчи в тряпочку. Страшно Федька обиделся. То есть, не мог объяснить почему. Деньги он действительно получил, все верно. Но ведь не по-людски это. Думал Федька — поддержит его Женька. Хоть словом. Либо в оправдание скажет, что ли... Вроде, «все там будем» или еще что... Сказал! А тем более Федька оскорбился, что уважал приятеля.

Парень головастый, студент-биолог, Женька Казанкин... Учится очно, но не на родительских кусках, как сейчас принято. Сам себя кормит. Они на шабашке познакомились. Федька уважает самостоятельных парней. Не таких, конечно, которые на барахолке фарцуют — те тоже самостоятельные, но мразь-спекулянты. И не таких, что за лишнюю денежку куда хочешь по уши залезут. Женьке деньги для спокойной жизни нужны. Да еще — для книжек.

Вот этому трезвому и разумному отношению к жизни Федька и завидовал, твердо понимая, что сам к такому отношению не способен. За это и уважал Женьку Казан-

кина, хотя посмеивался над приятелем, но верил ему во всем.

А тут — на тебе! Ровно Федька один на этот гараж подрядился, а Женька тут вроде Иисуса Христа.

В дверь постучали. Первый час — свой бы позвонил. Федька осторожно отвернул одеяло, чтобы не разбудить сожительницу, встал и пошел в коридор — открывать. В дверях стоял пьяный парень. Грозно насупившись, он с трудом представился:

— Я... Федька!

— Я тоже, — хмуро ответил Федька, — чего надо? Парень насупил еще страшнее.

— Ты вчера мою Райку за гаражами тискал? Эт-то дело... подсердешное! Ставь фунфыры!

— Иди, брат... поспи, — сострадательно посоветовал Федька, — я по-за гаражами не таскаюсь. И с Райкой твоей... Не то чтобы тискать...

— Не-е... так не п-пойдет... То есть... почему? Мне парни сказали... Это ты был, из восемьдесят четвертой квартиры... Рыжий... Р-разлучник! Ставь фунфырь, говорю!

— Пошел ты! — Федька выругался. — Я что — рыжий? Это что — восемьдесят четвертая квартира? Ходишь тут, рюмки собираешь... Иди лучше за Райкой своей пригляди. А то опять... обидчика искать придется.

— Сорок восьмая... — упавшим голосом проговорил парень, разглядев номер квартиры. — Извиняюсь.

И уже собираясь уходить и держась за перила, снова повернулся к Федьке и с надеждой спросил:

— А может, все-таки найдется выпить?

Федька хлопнул дверью и побрел в комнату. Долго ворочался, пытаясь вновь вызвать в себе злость к Женьке за его поведение. Но злость не возвращалась. Была пуста. И Федька заснул.

...Истошный визг подкинул его на постели. Мгновение соображал, где он, затем пошарил рукой — не Анна ли визжала? Сожительница была на своем месте у стенки: из-под одеяла доносились совершенно мирные звуки, напоминающие те, что издают надувные шары «уйди-уйди». Анька храпела виртуозно, с выдумкой, каждую ночь по-разному, за что Федька ее любил особо. В этот раз, значит, надувные шары. Артистка! Кто же визжал? Что за ночь такая, едри ее!

Федька вышел в коридор и услышал, как на площад-

ке за дверью кто-то всхлипывает. Щелкнул замком, выглянул. Верунька, кому ж еще. Сорок лет ума нет — и не будет.

— Что случилось, Верунька? Опять художник твой изгаляется?

— Еська? Нужен он мне, как пожарная лестница в этом самом... Максимка, сатана, асмодей... чтоб у его бабки кила выросла!

Верунька сидела на ступеньке лестницы, зябко куталась в ситцевый халатик и, судорожно всхлипывая, тянула «беломорину». Вместо волос на голове какие-то бесцветные перья, лицо серое, морщинистое, как старый солдатский сапог. А днем ведь подкрасится, затрет, где надо известкой — и ничего, терпимо. Вон, художник на это богатство клюнул. Художник, скажем, тоже не из этих... не из «могучей кучки». Однако какой ни на есть — интеллигент! Панно рисует, как блины жарит. Федька одно видел — про уличные правила. Возле пивного завода висит. Все путем изображено: «Красный свет — дороги нет, желтый — малость погоды, а зеленый — проходи!»

— Так кто — Максимка?

— С-скотина такая! — передернулась Верунька при имени семилетнего пацана с ангельским лицом, от которого стонал весь двор девятиэтажного дома. Со своими боевыми друзьями Максимка каждый день что-нибудь откалывал.

— Слышу звонок, иду, открываю дверь — череп! Верись или нет — я чуть под себя не сходила. Поклонился мне и говорит Максимкиным голосом: «Вы почему третий месяц за свет не плотите?» Как заржет и ходу. Вот — сижу, подняться не могу... всю трясет. Это что же за хунвейбин такой? Завтра заявление в ЖЭК напишу на его мамашу. Подъезд помыть — их нету! А сын с человеческим черепом до часу шлендрает — так это можно!

— Лучше в милицию — его там на учет поставят.

— И туда напишу... Паразит! Ой, Федя, помоги встать...

Она поднялась и вздрагивая побрела к своей двери. У порога обернулась и, криво улыбаясь, сказала:

— Счастливая у тебя Анька. Спит, поди?

— Дрыхнет...

— Эх... надо же — оторвала себе мужика. А мой... — она махнула рукой, что Федька мог по своему выбору понять и как оценку достоинств ее Еськи, и как прощание

с ним, потому что дверь Верунькиной квартиры тут же захлопнулась.

Так... Федька прошел к себе, постоял в темном коридоре, соображая. Взял на кухне сигареты и, опустившись на пол у батареи, закурил. Затем поднялся и, одевшись, вышел на улицу. Он шел по бетонной дорожке вдоль подъездов. Черепа в округе, надо полагать, под ногами не валяются. Скорее всего, что их с Женькой «знакомец». Максимка с друзьями откопал... Федька встал, как вкопанный: «знакомец» лежал на дорожке перед ним, равнодушно взирая на Федькины тапочки пустыми глазницами. Тапочки были старые, сожигательница давно грозилась выбросить их в мусорное ведро, так что смотреть было не на что. Федька повертел головой, стараясь не встречаться взглядом со «знакомцем».

— Максимка!

Кусты сирени в палисаднике перед подъездом зашевелились.

— Я кому говорю!

Максимка медленно вылез из укрытия и подошел к Федьке, держа в руках веревочку, конец которой был привязан к черепу.

— Где добыл?

— На свалке. Мы с Митькой под кузовом нашли...

— Брысь домой, засранец! А то эту штуку сейчас тебе на башку надену и в таком виде отведу к отцу — пусть снимает. Самое малое — без ушей останешься.

Пацана как ветром сдуло. Только удаляющийся звонкий стук пяток о бетон засвидетельствовал твердое желание Максимки появиться дома в естественном виде.

Федька поднял череп. Точно он, вон дырка возле виска. Постоял немного, слушая темноту. Город засыпал, точно молодой беспокойный пес, стуки, сопение, какие-то поскуливания то и дело прерывали обволакивающую его тишину. Федька пошел домой. Поднимаясь к себе на этаж, увидел фигуру сидящего на ступеньках человека.

— Женька?

Женька поднялся. Потоптался, дожидаясь приятеля.

— Звоню, звоню... Свет на кухне горит, а никто не открывает. Понимаешь — не сплю из-за него. Когда прятал, думал — ерунда. А сейчас... не могу забыть.

— Он нас тоже не забывает, — усмехнулся Федька, показал находку. Женька от неожиданности поперхнулся.

— Где взял?

...Они сидели на кухне, прикрыв дверь в спальню, чтобы не беспокоить Аньку. Федька следил, как Женька, осторожно поворачивая череп в пальцах, внимательно рассматривает его, шевеля губами.

— Чего выглядел?

Женька положил череп на холодильник, сполоснул руки под краном.

— Лицо узкое, суженный профиль, скулы не выдаются — европеец.

— Русский, что ли?

— Ну, может, немец, но не монгол, не негр.

Федька усмехнулся:

— Негров в нашем углу не водится, это точно.

Дальше?

— Череп имеет эллипсоидную, долихокранную форму. Лоб прямой, высокий...

— Ну, и что?

— Ничего.

— Тьфу! — Федька сплюнул. — Учат вас олухов...

Он кто — этот мужик?

— Как «кто»?

— Ну, кто? Понимаешь? Что за человек?

— Не знаю, — виновато ответил Женька. Подумал и добавил. — Надбровье у него сильное.

— Ну?

— Весьма вероятно, что это северный европеец.

Федька безнадежно махнул рукой.

— Понимаешь, его раньше надо было осматривать, — вздохнул Женька, — и не только череп, а весь скелет. Вон его как таскали. И мы, и пацаны. Может, по зубам бы и возраст можно было определить — я этого не умею. А специалисты по выступанию нижней челюсти даже характер узнают.

— Вот и узнавал бы там — кто мешал?

— Не мне за это братья надо, а специалистам. Все замерить, записать, сфотографировать...

— Милицию, что ли вызывать?

— Первым делом их, конечно.

— Приехали, — проворчал Федька. — Я об этом и без тебя думал, без твоих долико... доли... Как это?

— Долихоцефал — длинноголовый, значит. А есть еще брахицефал — короткоголовый. Мы, например, с тобой долихоцефалы.

— Вот и сделают из нас брахицефалов в милиции.

Первым делом — левак наш враз прикроют, — Федька загнул палец, подсчитывая убытки, — и остатка расчета не получим. Второе — хозяину запретят строить, и придется деньги ему возвращать, а где их взять? Третье — затаскают в милицию, а у меня, учти, судимость еще не снята.

— За что? — удивился Женька. — Ты не говорил.

— Да ты не бойсь, — сказал Федька, — ерунда. Драка была на танцах. Местные нам накануне подкинули — мы никуда жаловаться не пошли, а вечером возвратили должок, вот и оказались виноватые. А милиция сейчас знаешь какая? В пятом классе пацаны друг другу красные сопли пустят — враз уголовное дело возбуждают. Вот и нам припаяли. Полгода в зоне сидел, потом под амнистию попал. Всего и делов. Однако, когда месяц назад подкол у них случился, так аж на машине в четыре утра за мной прикатали. Правда, не забрали: поговорили и отвалили. Вот что значит зона, брат. А если меня еще и с этой красотой припутают, — Федька кивнул на череп, — так уж точно устроят...

— Я тебе сейчас устрою — живым в святцы занесут! Всю ночь не уснуть: то орут, то звонят, то бухтят... Вам дня мало... По ночам взялись?

В дверях кухни стояла Федькина сожительница, неприязненно разглядывая опухшими ото сна глазами двух друзей. Короткая ночная рубашка обтягивала мощное женское тело, от одного вида которого Женька непроизвольно сглотнул слюну. Женщина хмуро прошла к раковине, двинув его по пути упругим бедром так, что студент вместе с табуреткой отъехал к окну. Она налила воды из-под крана, с полным стаканом повернулась к ним, желая что-то сказать, и, наконец, заметила на холодильнике череп, гостеприимно осклабившийся в ее сторону. Анька уронила стакан и сомнамбулически оперлась пышным задом о край газовой плиты, куда незадолго до этого Федька поставил кипятить кружку чаю, бухнув туда пол-пачки заварки.

В кухне раздался душераздирающий рев. Анька кинулась на Женьку, сшибла его с табуретки, бросилась к холодильнику, но, увидев череп, рванулась обратно, свалив Федьку, и, наконец, пятипудовым шмелем вылетела из кухни, хлопнув дверью. Некоторое время в комнате раздавалось оглушительное гудение, в отличие от шмелиного прерываемое забористым матом. Затем она снова возникла в двери уже в пальто и платке.

— Все! Ухожу! Мало тебе судимости было? Мало то-

го, что не хотел как люди работать. До убийства доигрался! И пацана в это дело втянул, — Анька мотнула головой в Женькину сторону... — Имей в виду: в милицию потянут — выгораживать тебя не буду! — она безо всякого перехода зажмурилась, заревела. — Господи! Ну, что за жизнь у меня такая несчастная!..

Хлопнула входная дверь — в квартире наступила тишина. Федька осторожно снял с груди череп и сел на полу. Некоторое время приятели наводили порядок на кухне, поднимая упавшую посуду, сметая осколки и расставляя табуретки, потом уселись и сидели некоторое время молча.

— Да-а, — протянул Федька, — это мирное население так реагирует. А что будет, когда в райотделе узнают?

— Может, спрятать его к чертовой матери? — жалобно пробормотал Женька. — У меня и так по органике хвост, не дай бог еще это... Кто его знает, в самом деле, как этот товарищ концы отдал? Выкинут меня из универа...

— Прятали уж, — тягостно вздохнул Федька. — Видишь, чем кончилось? Родной бабе задницу прожгли. А какая задница была... Рафинад!

Женька взял череп в руки.

— Ты знаешь, а он курносый... Мужик этот. И похож в таком виде на Сократа.

— Кто такой?

— Был... философ. В древней Греции. Хочешь расскажу о нем? Он, брат, такой... человек был! Все знал. Что было и что будет.

— Расскажи, — нехотя согласился Федька. Потом безо всякой связи продолжал. — Сегодня ночью Верунька мне говорит: счастливая у тебя Анька, такого мужика заимела. Это меня, значит. Вроде как приятность мне сказала. А эта приятность — вон как обернулась.

Федька зевнул и насмешливо взглянул на друга:

— Твой чудик из Греции... который все знал... Он на этот счет ничего не говорил? Не предсказывал?

Женька, улыбаясь, поднес палец к Федькиному носу:

— Именно по этому поводу... Именно... Он сказал однажды: что за странная вещь то, что люди зовут «приятным»...

И Женька стал рассказывать то, что читал, слышал или сам выдумал о простодушном и хитром Афинянце. И Федька сидел, удивленно и недоверчиво покачивая голо-

вой... И череп на столе между ними равнодушно смотрел пустыми глазницами на приятелей, слушая Женькин рассказ. Когда-то он все это знал, и ему было неинтересно...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сократ сел на кровати, подогнул под себя ногу и потер ее. Не переставая блаженно растирать ногу, он сказал:

— Что за странная вещь, друзья, то, что люди зовут «приятным». И как удивительно, на мой взгляд, она относится к тому, что принято считать его противоположностью — к мучительному. Вместе разом они в человеке не уживаются, но если кто гонится за одним и его настигает, он чуть ли не против воли получает и второе: они словно срослись в одной вершине. Мне кажется, — продолжал он, — что если бы над этим поразмыслил Эзоп, он сочинил бы басню о том, как бог, желая их примирить, не смог, однако, положить конец их вражде и тогда соединил их головами. Вот почему, как появится одно — следом спешит и другое. Так и со мной: прежде ноге было больно от оков, а теперь, когда их сняли — сразу стало приятно.

Сократ исподлобья глянул на своих учеников.

— Ну, что же, друзья, располагайтесь. Пожалуй мы никогда с вами не собирались в таком количестве, наверное, человек пятнадцать будет. И что мне сейчас бросается в глаза — здесь почти одна молодежь. Правда, — он поискал глазами, — я не вижу нашего атлета — Платона. И Леонид... Где Леонид?

— Платону нездоровится, Сократ, — ответил Симмий, пряча глаза, — а Леонид... он...

— Леонид считает себя виновным в том, что его отец, Анит, написал на тебя донос, Сократ, — перебил его Федон, тряхнув кудрями, — он думает, что ты его должен ненавидеть за это.

— Передайте ему, что он зря так думает, — возразил Сократ.

— Я полагаю, — продолжал Федон, глядя Сократу в глаза, — что недомогание Платона можно объяснить теми же причинами, что и отсутствие Леонида.

Сократ поднял брови:

— Что ты имеешь в виду?

— На суде постоянно фигурировало имя тирана Крития, бывшего некогда твоим учеником. А ведь Критий — дядя Платона. Именно это обстоятельство удержало его от защитной речи, которую он намеревался произнести на твоём суде. И теперь он, видимо, мучается угрызениями совести, полагая, что его выступление спасло бы тебя от приговора.

— Ты обладаешь быстрой реакцией и не ведаешь сомнений, дружок, — улыбнулся Сократ. — Со временем из тебя выйдет неплохой военачальник. Для полного впечатления мне хотелось бы знать, как ты оцениваешь их отсутствие — осуждаешь или одобряешь?

Федон покраснел, снова тряхнул кудрями:

— Я не буду лгать, хотя чувствую, что ответу не в свою пользу. Я осуждаю Платона и Леонида.

— Почему?

— Мы все, твои ученики и друзья, пришли, чтобы быть с тобой до конца. Ни решение Афинского суда, ни возможности репрессии Одиннадцати нас не пугают. Ты уходишь сегодня навсегда, и мы хотим проститься с тобой. Они — не пришли. Твой любимец Платон ничего не мог лучше сделать, как сослаться на нездоровье. Этот здоровяк! Леонид придумал себе болячку и упивается ею. А ведь оба никогда больше тебя не увидят, и они прекрасно это сознают. Я осуждаю это!

— Ну, Федон, — протянул, улыбаясь в бороду, Сократ, — к демократам тебя явно не причислишь. Мне на суде позволили, по крайней мере, защищаться, а ты лихо вынес свой приговор в отсутствие обвиняемых. Это попадает тиранией. Пусть боги определяют тебе долгую жизнь, но, боюсь, что наши души на том свете могут и не встретиться.

— Но почему, Сократ? — удивился Федон. — Неужели мое мнение, основанное на любви к тебе, не понравилось?

— Вторая ошибка, — сухо заметил Сократ. — Мнение в угоду — это не мнение. Что касается моего сомнения о встрече наших душ в ином мире, то оно основано на следующем: слова даны нам, чтобы обозначить наши мысли. А наши мысли — это, в сущности, выражение нашего характера, и, следовательно, по ним можно определить и даже предугадать, в самых общих чертах, конечно, наши поступки. Если ты и дальше будешь говорить и действовать также искренне, решительно, не сомневаясь в вы-

водах, не давая возможности высказаться несогласным, даже опуская такую возможность, — ты станешь, увы, тираном. Не пугайся, друг мой! — Сократ предостерегающе поднял ладонь, заметив протестующий жест Федона. — Я не настаиваю на том, что ты будешь бичом государства типа упоминавшегося уже Крития или Алкивиада — нет. Может, ты будешь маленьким тираном, знаешь, таким... семейным: жена тебя будет бояться, дети — трепетать... А, возможно, и вырастешь в великого — кто знает. Только запомни, Федон, — Сократ ласково погладил его по кудрявой голове, — тиран может позволить себе побаловаться в философии. Философ же никогда не станет тираном. Вот поэтому, если ты превратишься в тирана — пусть даже домашнего — наши души вряд ли встретятся в Аиде: уж я-то постараюсь найти там компанию попроще да повеселее.

Когда Сократ закончил свою речь, в разговор вступил Кебет:

— Все это, на мой взгляд, сказано прекрасно, кроме одного: то, что ты говорил о душе. Люди, во всяком случае, некоторые из тех, кого я знаю, высказывали сомнение в том, что расставшись с телом, душа человека продолжает существовать и даже, как я понял из твоих слов, обладает известной способностью мыслить. Это нуждается в веских доказательствах.

— Верно, Кебет, — согласился Сократ. — Что ж, давайте потолкуем, может так быть или не может. Хочешь?

— Очень, — кивнул головой Кебет. — Хочу знать, что ты скажешь на это.

— Хорошо, — Сократ поерошил пальцами бороду и усмехнулся. — Думаю, теперь никто, даже злейшие языки не решатся утверждать, будто я болтаю попусту и разглазговую о вещах, которые меня не касаются. Тема самая, что ни на есть животрепещущая: исчезну я сегодня после заката солнца, или главное во мне — мой разум, моя душа — останутся вечно? Что ни говори, для меня это буквально вопрос жизни и смерти.

Ну, что ж, начнем, пожалуй, с довольно общего вопроса: откуда что берется? Возникает. Тебе не приходила ни разу в голову мысль о том, что любое явление, любой процесс образуется из противоположного — практически во всех случаях, когда налицо две противоположности? Ну, к примеру: большее не из чего не может возникнуть кроме как из меньшего, сильное — из слабого, верно?

— Да.

— Можно привести массу других примеров. Я думаю, ты их сам можешь назвать. Ну?

Кебет согласно кивнул головой:

— Пожалуйста. Лучшее возникает из худшего, скорое — из медленного, горячее — из холодного.

— Есть! — Сократ удовлетворенно хлопнул по колену ладонью. — Идем дальше. Надеюсь, ты не будешь возражать, что, коль скоро, противоположностей две, стало быть, между ними возможны два перехода? Например, между большей и меньшей вещью возможны рост и убывание, согласен?

— Согласен, — подумав, осторожно ответил Кебет.

— Отлично! Значит, переход этот обоюден? Скажем, он может перейти в бодрствование и наоборот. Так, теперь скажи мне, есть что-либо противоположное жизни, как сон противоположен бодрствованию?

— Конечно. Смерть.

— Значит, раз они противоположны, то возникают друг из друга?

— Д-да...

— То есть, в равной степени, как жизнь заканчивается смертью, так живое и живые возникают из мертвых?

— Похоже, что так...

— А как ты полагаешь, Кебет, вот мы с тобой и они все, — Сократ кивнул в сторону остальных учеников, — что это — новые, никем не виданные раньше образцы человеческой породы? И ум наш, и глупость — все это совершенно первозданно? А весь сонм прошедших до нас по земле и ставших землей у нас под ногами людей — он к нашему появлению не имеет никакого отношения? Ты можешь представить себе постоянное умирание без последующего оживания? Либо сплошное рождение при полном отсутствии понятия смерти? Я — нет.

Федон негромко кашлянул и вставил:

— Мне кажется, между рождением и оживанием есть все-таки небольшая разница.

— Прекрасно, Федон! — подмигнул ему Сократ. — Ты показываешь зубы. Только, раз уж ты обнаружил эту разницу, не объяснишь ли нам, в чем она заключена?

— Ну... оживает то, что было живо раньше: дерево, природа. А рождается... человек. Ребенок.

— Как?

Федон покраснел и буркнул:

— Думаю, Сократ, ты должен знать это лучше меня. Ребенка зачинают мужчина и женщина... в пору любви.

— Действительно, что-то такое припоминаю, — Сократ наставил палец на Федона. — А душа?

— Что «душа»?

— Мы же говорим о душе. Ее тоже зачинают мужчина и женщина в пору любви?

— Н-не знаю, — растерялся Федон, — вероятно, тоже.

— Интересно, как это они делают — параллельно с зачатием ребенка? Или на другой день? И где пребывает душа в период развития плода? Вместе с ними? Или ожидает где-нибудь рождения хозяина? Поблизости. Где?

Федон подавленно молчал.

— Не расстраивайся, мой мальчик, — добродушно успокоил его Сократ. — Врачи — и те этого не знают. Кстати, я тоже. Люди в познании законов развития человеческого тела будут довольно успешно продвигаться вперед. Что же касается души... Ее ведь не потрогаешь рукой. Существование души обосновывается только нашими доводами. И вот я предлагаю еще один довод, а именно, утверждение, что знание на самом деле не что иное, как припоминание. То, что мы теперь припоминаем, мы должны были знать в прошлом. Причем, речь идет о событиях, в которых мы просто не могли участвовать. Или могли, — Сократ поднял палец, — но в иной жизни. Мы видим какую-то частную деталь и вдруг представляем себе все целое! Разве вам не приходилось встречаться с таким?..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Сонечка, как вы попали на этот курорт?

...У него аж виски заломило. В который раз он спрашивал себя, где ему встречался этот человек. И не мог ответить на вопрос. В сущности не это было причиной бессонницы. Мало ли где он мог видеть его — слава богу повидал людей. Настораживала и даже пугала наглая фамильярность, с которой этот человек вчера в столовой подошел к нему, отодвинул локтем чашку, осклабился и весело удивился:

— Сонечка, как вы попали на этот курорт?

Швыряя и чавкая, съел свою порцию и только после этого снова повернул свое лицо к нему, какое-то время

рассматривая, затем звучно рыгнул и, будто не замечая этого, заключил:

— Так-то, старичок. Жить можно. Можно, а?

Хлопнул его по плечу и ушел.

Такого еще не бывало. Новичок с этапа ведет себя тихо. Особенно, если нет знакомых. А у этого знакомых не было, он специально узнавал. Фамилия — Казанкин — тоже ничего ему не говорила. И — это особенно беспокоило — появилось снова это тягостное чувство страха. Страха, от которого потеют ладони. Давно он этого не испытывал. До этого у него укоренилось брезгливое отношение к окружающему. Страха не было. Были какие-то беспокойства, волнения, связанные с перипетиями лагерной жизни. Но о том холодном ужасе, от которого непроизвольно поджимаются мускулы живота и сохнет во рту, — он уже начал забывать.

Тогда, в тридцать шестом году, в далеком северном поселке молодой начмил Пролетарский устроил ему ловушку с финансовой проверкой. И он, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход, отвлечь от себя внимание, заставил своего бывшего однополчанина, контрразведчика поджечь школу. Тот потом повесился в камере — боялся, что дознаются про работу в контрразведке. Дурак! Как будто поджога школы было недостаточно. А второй поделник убил Пролетарского при задержании и сам почти год после этого скрывался.

Все это: смерть Пролетарского, бегство одного поделника, самоубийство другого — так запутало дело, да ко всему прочему сменилось несколько следователей, что каким-то чудом его роль, роль организатора, трансформировалась. Он сумел мало-помалу отмежеваться от этого страшного поджога, от убийства начальника милиции и превратился в прозаического расхитителя, правда, «в крупных размерах».

И, наконец, его «выделили» из дела. Из «расстрельного» дела! Когда он узнал об этом, то, вернувшись в камеру, потерял сознание. Да, он изматывал следователей софизмами и требовал очных ставок из-за малейшей неточности. Он каждое мгновение был в напряжении и дословно помнил все, что говорил в течение года на допросах, но он не верил в то, что выкрутится. И — выкрутился!

В лагере он быстро приспособился к необычной жизни. Все эти «скокари», «кобурцики», «зухеры», «циперы», «ширмачи» — были им исследованы, систематизированы и

разложены по полочкам. Не торопясь, спокойно он стал изучать их характеры, связи и прибираться к рукам главарей: кого — нехитрой лестью, кого — услугой, кого — страхом. Он стравливал своих противников — опытных «домушников», брал «на арапа» крикливых истеричных «бакланов» и постепенно стал высшим лагерным авторитетом. За долгие годы ни разу не побывав за пределами зоны, он прекрасно знал обо всем, что творится в воровском мире, держал в голове адреса верных «малин» и уже на первый взгляд мог определить новичка: кто он, откуда прибыл, сколько за ним «ходок» и, что самое главное, какая от него может быть польза.

От последнего «чухана» до «барина» — начальника лагеря — все знали его кличку — Сократ. Эта новая жизнь была ему противна. Но другой не было. И Сократ жил, брезгливо принимая льстивые знаки уважения, молча брал свою долю, приносимую ему «шакалами».

— ...Сонечка, как вы попали на этот курорт?

Черт возьми, откуда его знает этот новенький? Ведь ему должны были сказать, кто такой Сократ! А он ведет себя так, будто... хочет ему напомнить о чем-то. И эта неприятная усмешка, собственно, даже не усмешка, а... Так собака показывает зубы, когда у нее пытаются отнять кость. Где же он видел такую усмешку?..

И вдруг Сократ вспомнил — и мгновенно лоб его покрылся испариной. Брагин так улыбался! И еще один. Он его видел один раз. Тогда, в двадцать пятом году, в поезде. Это он подсел тогда к нему в купе и деловито вынул нож. Вот, значит, кто был брагинским связным. Вот кому он звонил на почту, когда нужно было встретиться с Брагиным и обсудить детали очередного налета. Сократ тогда вовремя уехал. Прямых улик против него не было, уголовка только подбиралась к нему. И он, спутав, порвав все нити, которые могли привести к нему, удрал. Закопался на севере.

Прошло больше двадцати лет, все забыто, но если этот человек вспомнит... Речь не о том, что было в Ачинске когда-то. Речь о нем. Потянут, начнут копать... А за ним не только Ачинск. Поднимут дела. И снова забытый давно страх уместился в душе.

Казанкин узнал его. Подлец! Подошел как к приятелю. Сократ понял: шантажирует. Значит, будет на нем зарабатывать. Пайку, авторитет, легкую работу. Роль его в банде никому не была известна, Казанкин, видимо, только

догадывался. Может, что Брагин ему говорил? Тут такое можно наплести в оперчасти при желании... И Сократ решил предупредить события.

Однажды после очередного наглого визита Казанкина в склад, где работал Сократ, он вызвал одного из своих «шакалов» и о чем-то недолго говорил. В тот же вечер Казанкина избили так, что его пришлось отправить в лазарет.

Через неделю, выздоровев, он, как ни в чем не бывало снова заявился на склад.

— Здоров, начальник! — сердечно приветствовал он недруга. — А где кладовщик?

— Что надо? — холодно ответил Сократ.

— Мне-то? Мне много чего надо, — рассеянно проговорил Казанкин, перебирая рукавицы, лежащие в кучке.

— А точнее? — старик отодвинул от него рукавицы.

— Можно и точнее, — Казанкин фамильярно привалился через прилавок к Сократу. — Можно и поточнее, начальничек. Мне, к примеру, надо знать какая это сука вложила меня в записке, что попала в уголовку тогда, в двадцать пятом году. Еще мне надо знать, где золотые побрякушки да разные-прочие царские монеты, что у Васьки за кроватью в подполе хранились, и сколько мне из них причитается за то, что двадцать лет назад тебя к стенке не поставили. А?

— Еще что ты хочешь узнать? — немеющими губами произнес Сократ.

Казанкин с удовольствием посмотрел на посеревшее лицо старика и, по-своему истолковав его состояние, добродушно похлопал по плечу.

— Что, дед, очко слиплось? Не бойсь! Когда Тимка Голубь про тебя пытаться начал, я сразу смекнул, что ты к Ваське подался. Но учти — никому не сказал. А потом меня на опознание возили. Ваську-то опознать нельзя было — там кости одни обгорелые. А вот обрез его я признал. Я ему сам и делал его. Но опять-таки промолчал. Ваську ты прижал, он тебе указал тайник — все дела. Не так?

— Под кроватью тайник... Там... бидон с керосином стоял? — с трудом произнес Сократ.

— О! — радостно заржал Казанкин. — Вспоминаешь! Васька-то мне по пьянке проболтался. Шибко я его как-то напоил. Точно! Он всегда туда керосин ставил. А под ним доска снимается и — лаз. А я на следствии молчал. Ду-

маю, нет, зараза! Встречу же я его когда-нибудь. Все равно поделится! Только не вздумай заливать, что все спустил — не поверю. Васька-покойничек говорил, там такие камни — на сто лет хватит. А червонцы? Червонцы целы?

— Да... камни... червонцы... Все цело, — Сократ медленно приходил в себя.

— Ну, слава богу. Разобрались, — Казанкин высморкался, растер ногой, — а то вон что удумал — морду бить. Да хрен с ним, я не в обиде, сам бы так сделал. Теперь, дед, слушай сюда. Вечером к тебе зайду. Расскажешь мне, где и что. Посоветуемся. Да! Чифирику мне расстарайся, лады? Покумарить охота. Ну, и шамовки приготовь, понял. Как-никак, поделщик. Двадцать с лишним лет не виделись. А?

— Сегодня не могу, — думая о чем-то другом, ответил Сократ.

— Что-о?..

Казанкин, намеревавшийся было удалиться, вернулся, подошел к прилавку. Внимательно посмотрел на старика, скинул рукавицы и, оперев руки в прилавок, приблизил лицо. Сократ видел прямо перед собой его прищуренные глаза и рот, оскаленный в нарочито неприятной, «блатной» усмешке. И ему подумалось, что сейчас Казанкин опять очень похож на Брагина. Тот, когда злился, тоже так неприятно улыбался. И ухватки у него Брагинские — дешевые, театральные. Чем примитивнее человек, тем больше театральщины. Почему бы это?..

— Ты, — процедил Казанкин, — стриж бациллистый. Смехом на характер берешь? У меня «шакалов» нет, но если будешь рога мочить, я тебе самолично все ребра переломаю и на первом же разговоре поколюсь, понял? Оперчасть очень интересовалась, где это я так ушибся. Спрашивали, не с Сократом ли повздорил. Дескать, не старые ли счеты у нас с тобой. А если им напомнить, кто такой Приказчик, а?

— Ты меня не дослушал, — вздохнул Сократ. — У нас в бараке сегодня шмон будет... мне сказали. Поэтому встреча просто переносится. А чифиру я тебе сейчас дам, — и он, пошарив внизу, подал ему пачку чая.

Недоверчиво глядя на него, Казанкин высыпал чай в карман и вернул скомканную обертку старику. Он хотел что-то сказать, но тот опередил его.

— Увидимся послезавтра, — мягко сказал Сократ. — Я все приготовлю, как-никак действительно... поделщики.

Когда Казанкин ушел, Сократ без сил опустился на пол. Это перст! Господи, это судьба! — шептал он, закрыв глаза. Перед ним возникла избушка, Брагин, умирающий на полу, и та женщина, принявшая пулю, предназначавшуюся ему, Сократу... Он ходил по тайнику, взял бидон с керосином, закрывавший тайник. Двадцать лет! Двадцать лет он мог жить совсем по-иному!.. А почему — «мог»? Ведь все осталось там, в лесу... Все это можно взять, хоть сейчас. С его связями, а они у Сократа почище, чем тогда, он может спокойно реализовать все это. И жить! И каждый день из оставшихся он проведет так, как захочет. Каждый час! Шестьдесят лет он безуспешно рвался к этому. Интриговал. Предавал. Воровал, черт побери! Убивал, наконец! Из-за простой вещи: жить так, как ему хочется. И каждый раз переступал некую непонятную, невидимую, символическую черту. И становился «преступником». А общество, учредившее эту черту, устраивало на него охоту. На него — Сократа! А общество-то — кто? Кто они, определившие, что он может и чего — нет?

Старик потрянул головой. Потом! Это все потом. Сейчас — дело. Казанкина — убрать. Тихо и жестко. Тихо — для «зелененьких», жестко для своих. Второе — побег. С собой взять надежного, туповатого парня. Плясать надо от стройки. Сейчас большое движение заключенных: утром — на стройку, вечером — обратно. Конец квартала, план горит — все, как у людей. В жилой зоне ничего не предпримешь.

Старик думал весь день. Прикидывал и так, и эдак. Чего-то не хватало. Какого-то звена.

Вечером его вызвали в оперчасть.

Молодой рослый лейтенант в общевойсковой форме, выслушав обычный доклад («заключенный такой-то явился»), предложил сесть. Закинув руки за спину, прошелся по кабинету.

Сократ, равнодушно глядя в пол, перебирал впечатления:

«Не видел раньше. Новенький. Чистюля — духами пахнет. Паузу держит. Будет знакомиться. Травить баланду».

— Почему вас зовут Сократом?

— Новенький! — удовлетворенно повторил про себя старик и безразлично пожал плечами. — Не знаю, гражданин лейтенант. Кличка... Ее не выбирают. (Ну-ну, давай поиграемся!)

— Странно, — рассуждал лейтенант, продолжая вышагивать. — Сколько я слышал, Сократ — древнегреческий философ, приговоренный к смерти за разврат молодежи. Вы не знали об этом?

— Нет. (Развращение, орясина!) Откуда мне знать?

— Тем более странно, что вам дали эту кличку. Мне кажется, вы ни обликом, ни обстоятельствами вашей жизни, ни даже... м-м... составом преступления, вмененного вам, и близко к Сократу не подходите. А?

— Может быть. (Веселись, веселись. Главное — чтобы на здоровье.)

— Слушайте, а греков у вас в роду не было?

— Греков? Упаси бог! Чистокровный русак. (Ну, это уж вовсе!)

— Родители кто были?

— Как...

— Ну, кто вы — дворянин? Или может из... приказчиков?

— Н-нет... из дворян (Внимание!)

— Где учился?

— В гимназии...

— Дальше! Еще!

— Все. (Что же я вру! В анкете ведь указа...)

— А университет?

— Ох, простите... Забыл...

Лейтенант стоял перед ним, опершись одной рукой о стол, другой — через плечо старика — о спинку стула, смотрел ему прямо в глаза. Сократ испытывал сначала неприятное ощущение от этого уверенного, насмешливого взгляда, сопровождавшего каскад вопросов, — а затем откровенный страх. И эти молодые, насмешливые глаза все отфиксировали!

— Ай-яй-яй, Роман Григорьевич! Дворянин, студент юридического факультета, офицер, — и понятия о Сократе не имеете? Что же вы горбатого мне лепите, да еще так бездарно?

— В-виноват... гражданин лейтенант. Старость... за-памятовал. Водички... не позволите?

Лейтенант снял руку и молча указал на графин.

Сократ маленькими глотками тянул сквозь зубы теплую противную воду. (Никаких уверток, болван! Он же дело твое изучил. Приказчика упомянул случайно — откуда ему знать эту кличку? Чего ты трясешься? Ведь он все

это чешет из твоего дела. Какой тут криминал? И не спеши, бога ради!)

Сократ сел на место. Лейтенант снова заходил по комнате.

— Стало быть, Сократа все-таки знаете?

— Знаю, — устало кивнул старик.

— Чего ж... испугались?

— Гражданин лейтенант, мы с вами не на юридическом факультете. Здесь чем меньше знаешь, тем лучше. И... простите за откровенность: вы сейчас пойдете домой и будете по дороге вспоминать, как выжимали из меня пот, а я в это время буду держать ответ перед соседями по нарам, зачем меня вызывали к «куму», что спрашивали и что я отвечал...

— Не прибедняйтесь, — лейтенант поднял руку. — Вы заключенный авторитетный. Кто потребует от вас отчета?

— Ну... — Сократ скорбно развел руками. — Простите, но вам, очевидно, плохо известны наши порядки. (Уводи его. По самолюбию, по самолюбию — это больней, чем по морде. Все забудет.)

— Возможно, — согласился лейтенант, — хотя у меня другое мнение на этот счет. Однако к нашему брату вас вызывают едва ли не чаще других — и все же вас никто не трогает. А вот, например, какой-то несчастный Казанкин всего раз был здесь — и пожалуйста! Испинали, как собаку. Слыхали?

— Казанкин? (Вызвали к «куму»? Отлично! Ты вызовешь его еще раз — или я не Сократ. И тут-то я буду ни при чем, если с ним что-нибудь...) Что-то такое...

— Роман Григорьевич, — лейтенант постучал пальцем о крышку стола, — вы отлично знаете об этом. Не ставьте себя снова в дурацкое положение!

— Да, конечно, я слышал, но... (Вот мусор цветной!)

— От кого?

— Ну, в зоне же... знаете... слухи, они... (Спокойно!)

— Конкретно!

— Н-не помню.

— Роман Григорьевич!

— У-увольте, гражданин лейтенант. Ей-богу...

— Напомнить?

— Как угодно. (Ну? Ну? Спокойно! У него нет фак...)

— Казанкин.

— Что Казанкин? (Что Казанкин? Говорил с ним? Когда?)

— Казанкин вам разве не говорил?

— Господи, да что? (Поколелся Казанкин? Или этот... ловит?)

— Что он лежал в лазарете?

— Ну — говорил. (От кого он узнал? От Казанкина?)

— Он что — знакомый ваш? Земляк?

— Нет, нет! То есть... Я его вообще не знаю.

— Тогда какого черта он из лазарета пошел напрямиком к вам, к незнакомому заключенному, сообщать вам о своем здоровье?

— Да не так же все было! Не так! — отчаянно закричал Сократ.

— Хорошо. Расскажите, как все было.

Сократ вытер рукавом пот и огляделся. Что это? Он кричал? Нет. Это потом. Главное... что главное? Ах, да: он влип. Он сказал, что Казанкин заходил к нему и говорил... Что говорил? Почему лейтенант взял бумагу? Объяснение? А потом им будут трясти перед Казанкиным, и тот вообразит невесть что? Нужно срочно играть назад!

— Гражданин лейтенант, я ничего говорить не буду. Лейтенант поднял брови.

— Вы понимаете, что мнение, которое сложится после этого ответа, будет не в вашу пользу?

Сократ облизнул губы.

— Вы еще были, извините, мальчишкой, когда я ушел в зону. Вы верно сказали, я авторитетный «зэк», чего там скрывать. Но этот авторитет дался, поверьте, нелегко. И не хочется, чтобы сейчас, когда мне за шестьдесят, я превратился... из-за какого-то клочка бумаги... из-за того, что у вас нервы покрепче моих. Я хочу дожить до конца срока... Выйти отсюда. Прошу вас — не лишайте меня этой возможности!

Лейтенант задумчиво погладил пальцами белый лист. Вдохнул.

— Не хотите — не надо. Но все же — без бумаг: зачем к вам заходил Казанкин?

— А он не ко мне заходил. (Господи ты боже мой! Ну конечно, не ко мне!)

— К кому же?

— Он искал кладовщика. (Да, да! Он же вначале его спросил!) А потом... я увидел синяки... Спросил, и он неохотно, так, ответил, что выписался из лазарета.

Сократ напряженно смотрел на лейтенанта. Тот думал о чем-то, барабая пальцами по бумаге.

— Нашел он кладовщика?

— Не знаю. Я вымыл полы и ушел.

— Ладно, — лейтенант убрал бумагу в стол, — можете идти.

Сократ медленно встал, на ватных ногах подошел к двери, потоптался. (Рискнуть? Надо рискнуть.)

— Гражданин лейтенант.

— Да?

— Если это останется между нами...

— Что именно? — нахмурился лейтенант.

— Мне показалось... Только пожалуйста...

— Хорошо, хорошо, я понял. Что вам показалось?

— У него был чифир в кармане.

— Вы не ошибаетесь?

Сократ обиженно усмехнулся.

— Десять лет по лагерям... Впрочем, может и ошибаюсь. Во всяком случае, свидетельствовать это официально не намерен. Разрешите идти?

— Идите.

— Вы... будете говорить с Казанкиным?

Лейтенант укоризненно покачал головой.

— Я понимаю... это не мое дело, — заторопился Сократ, — но все-таки очень прошу вас ответить на мой вопрос.

— Буду.

— Тогда сделайте так, чтобы мне не пришлось жалеть о том, что я сказал вам здесь.

— Не бог весть что вы здесь сказали, Роман Григорьевич, — улыбнулся лейтенант, — но я сделаю так, что ни тени подозрения по отношению к вам у Казанкина не будет. Устраивает?

— Спасибо, — Сократ наклонил голову и уже совсем не по правилам произнес — будьте здоровы.

...В бараке ждала новость: Казанкина отправили в изолятор.

— За что?

— Чифирнули с Пряником. Забалдели, титан свернули... Погуляли.

Удача!

На следующее утро, убрав на складе, Сократ по пути к бараку завернул в курилку. Присел на скамейку, не

спеша вынул папиросу, знаком попросил огня у курившего рядом заключенного. Затянулся.

— Павлик, — произнес старик, — мне нужно вставать на лыжи.

— Сдохнешь на первом километре, — проворчал заключенный, не глядя на него.

— Лучше сдохнуть на первом километре, чем на особом режиме.

— Чего-нибудь раскопали?

— Пришел один старый друг с этапа. У «кума» был два раза. Грозил порассказать обо мне...

— Кто такой?

— Ты не знаешь. Казанкин.

— Это плохо.

— Что плохо?

— Когда старые друзья мешают. В таких случаях лучше, когда человека не знаешь... Не так жалко, если с ним что случится.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Нет, лучше все-таки кто-нибудь незнакомый. А теперь, значит, если мне прилетит выговор, то по твоей милости?

— Ну зачем так мрачно? Тебя только назначили. Какое-то время трогать не будут. Приглядывайся, вырабатывай стратегию...

Виктор Голубь сидел в кабинете начальника милиции, назначенного в этот отдел месяц назад. Это был его старый приятель Георгий Реук. Они уже сказали друг другу все, что положено сказать, когда люди встречаются после долгой разлуки, и теперь шла официальная часть. Голубь представился как куратор отдела по линии уголовного розыска, а Реук полушутя-полусерьезно соображал, какие это будет иметь для него последствия. И выслушав успокоительный ответ Голубя, заключил:

— Конечно, с одной стороны, хорошо, что ты наш куратор. Но, с другой, случись какая-нибудь нераскрытая тягомотина — и начнешь ты же мне руки выкручивать на предмет принятия эффективных мер. А не то, действительно — проект приказа придется готовить о моем наказании. Или как — отмажешь перед начальством по старой дружбе? — Реук хитро поглядел на друга.

— Отмазывать не буду, — серьезно сказал Голубь, — но ты не волнуйся. Если приказ придется готовить — и мне перепадет: как-никак, куратор.

— И на том спасибо, — кивнул Реук. Глянул на часы. — О! Сейчас селектор! Посиди, ты же их лучше меня знаешь. Погляди, как они на новое начальство реагируют.

Селектор начался с обычных сообщений начальников райотделов о происшествиях за истекшие сутки. Реук докладывал четвертым. По его отделу остались нераскрытыми две квартирные кражи.

— Раскроете? — донесся из динамика искаженный расстоянием металлический голос начальника управления.

— Есть зацепочный материал. Работаем, — осторожно ответил Реук.

— Конкретнее! — потребовал динамик.

— По первой краже установлен подозреваемый, — ответил Реук. — Видимо, день-два потратим на отработку его связей: дома его нет. А по второй — сложнее. Потерпевшая неделю была в отъезде, определить точное время кражи трудно. — Он секунду помолчал и добавил. — Примем все меры к раскрытию.

— Хорошо. Работайте. А по первой краже двух дней вам чересчур много. Завтра доложите о раскрытии. Две нераскрытые кражи за сутки — для вашего отдела слишком щедро. И потом, вас не тревожит большой остаток неразрешенных заявлений? Вы следите за этим?

— Слежу, Николай Борисович, я понял вас, — кивнул Реук, глядя в свои записи. — Пока среди этих материалов только один темный, но, видимо, через неделю раскроем. Есть перспектива. Люди работают.

— Смотрите, — начальник управления вызвал следующий райотдел.

Селектор закончился — началась планерка. Реук поднял начальника уголовного розыска.

— Слышали, что начальник управления сказал? — сухо осведомился он.

— Слышал, — кивнул тот. — Только, Георгий Максимович, подозреваемый этот — Телепнев — видимо, в район выехал. Он на комбинате работал, уволился за неделю до кражи. С сожительницей его вчера беседовали — говорит, что он частенько в район уезжал, а к кому — не знает.

— Там, чтобы вещи вынести из квартиры: по крайней мере троих мужиков надо, — Реук бросил ручку на стол. — Что вы уперлись в этого Телепнева? Ищите со-

участников. На комбинате, где он работал, были? С соседями говорили?

— Не успели.

— Успейте. Родственники у него где-нибудь есть? Наличие судимостей проверяли?

— Георгий Максимович, кража-то вчера вечером заявлена. А его вообще к ночи установили. Сегодня все, что вы говорили, сделаем. За день.

— За полдня! — Реук поднял палец. — За полдня, а не за день. После обеда доложите. Ну, а вторая кража?

— Здесь, по-моему, потерпевшая что-то недоговаривает. Соседи говорят — у нее какой-то мужчина квартировал до отъезда ее в командировку. А она отрицает, волнуется. Деньги у нее в шкафу под газетой были. Ничего не тронут в шкафу, а денег нет. Будто кто-то знал, где они. И потом — фотоаппарат, костюм — все на месте. Только деньги и золотые вещи. Те тоже в укромном месте лежали. В серванте за вязанием.

— Займитесь женщиной. Обстоятельнее. Установите круг знакомых. И одновременно переговорите с ней еще раз. Может, она скрывает похитителя.

Голубь сидел возле двери и разглядывал приятеля. Реук выглядел погрубевшим, внушительным. Мало что осталось от того белобрысого веселого парня, с которым он встретился несколько лет назад на Туркане. Синий костюм, синий галстук, белая рубашка, запонки какие-то... сногсшибательные. Джентльмен. А лицо нездоровое. Мешки под глазами. Болеет, что ли?

— Теперь скажите, что мы в ближайшее время можем дать на раскрытие?

Начальник розыска достал записную книжку:

— Из прошлых месяцев пойдет грабеж... Три дела идут на прекращение... Экспертиза по двум запаздывает, а по третьему потерпевший не идет...

— Простите, мне это неинтересно, — перебил Реук. — Вы вчера то же самое говорили. Я потерпевшего на экспертизу не поведу, да и не ваша это забота: пусть следователи решают. Это — во-первых. Во-вторых: за счет прекращенных дел раскрываемость, разумеется, повысится, но ведь надо, как говорится, и честь знать. Четыре мартовские кражи совершены явно одной группой. Способ оригинальный: обворовываются квартиры последних этажей, только с английскими замками, проникновение с крыши на балкон. Что делается по этим кражам?

— Я вам отдельно доложу. Примеряем сейчас группу одну.

— Вечером со всеми материалами зайдете ко мне. Что еще на раскрытие?

— Сейчас задержали группу по хулиганству. Видимо, пойдут апрельские грабежи. Но это не раньше, чем через неделю: надо проверить связи, сделать обыски...

— Садитесь, — махнул рукой Реук. — Вы все-таки определитесь для себя. У меня ощущение, что у вас на сегодняшний день нет четкого плана работы. Есть задержанные — работаете. А если нет? Будете ждать, когда кого-нибудь задержат? И потом... — он поморщился. — У вас что там в кабинетах творится? Усилители, трансформаторы... двигатели чуть ли не от самолетов, тряпки какие-то... Предупреждаю: если завтра хотя бы в одном кабинете увижу эти... шмотки... Сдать в нашу камеру хранения сегодня!

— Но это вещдоки, — проговорил тихо начальник розыска. — Люди работают с ними.

— Хорошо, — Реук набрал номер телефона. — Виктор Сергеевич, это я... здравствуйте. У вас там в углу, возле окна лежит... Да-да, она. Возьмите и несите сюда. Ну, куда — сюда, ко мне.

В дверь постучали, зашел инспектор уголовного розыска с ракеткой под мышкой.

— Откуда у вас ракетка?

Инспектор недоуменно посмотрел на Реука:

— Она... вы велели принести. Весной обыск был у Сверчкова, многокrajника. Все вещи потерпевшие опознали, а эту... И Сверчков не помнит, где украл... Вот, лежит в кабинете.

— Так. Передайте ракетку начальнику уголовного розыска и можете быть свободны.

Когда инспектор ушел, Реук повернулся к начальнику уголовного розыска:

— Вещдоки, говорите? Работают с ними? Повторяю: до завтра кабинеты не очистите — все, до последней тряпки, прикажу отнести к вам на стол. А потом посмотрю, что вы будете делать.

— Но... это значит, сегодняшний рабочий день должен пропасть?

— Вам кто-нибудь запрещал работать здесь вечером?

— Нет, но...

— А ночью? Ночью кто-нибудь не пускал вас в от-

дел? Вы мне скажите, кто, я дам команду, чтобы вас про- пускали.

Начальник уголовного розыска покраснел. Реук удовлетворенно кивнул головой:

— Полагаю вопрос исчерпанным. Вещи заактируйте, что не нужно — уничтожьте, тоже по акту. Радиодетали передайте в школу или детский клуб. И прошу вас, в дальнейшем следите за этим сами. Не надо засорять помеще- ние и самому себе создавать трудности в работе. Догово- рились? Теперь по следствию...

Планерка затягивалась, Голубь мельком взглянул на часы. Наконец, присутствующие шумно стали поднимать- ся с мест. Они остались вдвоем.

— Вот так. И раскрывальщик, и следователь, и убор- щца, — вздохнул Реук. — Ну, ничего. Месяц-другой — и привыкнут сами за всем смотреть. А как на твой взгляд? — он вопросительно взглянул на приятеля. — Гожусь я в начальники? Не очень резко вел? Угрозыск на меня не обидится?

— Нормально, — успокоил его Голубь. — Начальник розыска — парень хороший. Я поговорю с ним — он пой- мет. Он немножко партизан, сюда пришел из старших ин- спекторов, больше раскрывать привык, чем быть органи- затором. И ребята под стать ему: работающие, веселые. С фантазией.

— В этом я уже убедился, — удрученно ответил Ре- ук. — Они и при мне сработали одну хохму. Недавно к нам двое из высшей школы приезжали. Собирали матери- ал для диссертации. Ну и один меня все просил достать ему семена черемши. Захотелось, видишь ли, ему дома на балконе ее разводить. Объясняю, мол, нету такого, не со- бирает никто ее семян. Дикая она — черемша. Не верит. Уезжать собрались — подходит ко мне и говорит: видишь, какой ты жмот? Ребята твои и то отзывчивее. И кулечек с семенами показывает этак, гордо. Я потом «уголовничков» собрал, говорю: кто сделал, допытываться не буду — все равно ведь не скажете. Но вы мне хоть объясните, чего вы ему туда насыпали? А они и сами не знают. То ли лук- порей, то ли «анютины глазки». Дескать, хотели сделать человеку приятное. А я-то чувствую, тут без коньяка не обошлось. Словом, не хотел бы я быть на месте этого ми- чуринца, когда у него из земли «анютины глазки» полез- ли. Последней веры в людей, поди, лишился.

— Ну, они не только хохмить умеют, — улыбнулся

Голубь. — Во всем городе у тебя самый слаженный уголовный розыск. Ты посмотри, как у вас раскрываемость идет. За редким исключением очень стабильно из месяца в месяц. При любой обстановке.

— А мартовские кражи — темные, — вздохнул Реук. — Очень тревожные кражи и при всем том — ни одной зацепки. Чердачники. Белье воровали. Похоже — там ведь тоже через крышу работали.

— Что ж на селекторе не сказал?

— Ишь ты, — усмехнулся Реук. — Нет, брат, я сперва сам проверю. В колокола стукнуть никогда не поздно. Да при том я бога молю, чтобы мне их на селекторе не напомнили — эти кражи. У нас знаешь как? Попадешь на язык — все! Неделю будут башку отвинчивать. Сперва в одну сторону, потом в другую.

В дверь постучали, и на пороге появился дед с узелком в руках.

— Вам кого? — нахмурился Реук.

— Начальника... Дежурный отправил. Внук тут у меня сидит... За хулиганку. Передачу хотел... — дед топтался, теребя узелок.

— Понятно, дедушка, — Реук поиграл желваками. — Вы посидите в приемной.

Он взял трубку, когда дед вышел, заговорил:

— Вы... кто? Не понял, повторите. Так правильно: дежурный помощника начальника милиции. А почему старика гоняете по пустыкам? Что «не могу решать»? Не хотите! Телефон начальника следственного отделения знаете? Вот и соображайте с ним, можно передачу делать или нельзя. Этого еще не хватало! Такой... ерунды решить не можете.

Он положил трубку. Залез в стол, достал какие-то таблетки в разных пакетиках и, отсчитав, бросил горсть в рот. Налил воды из графина и на молчаливый вопрос Голубя показал стаканом в сторону настенных часов. Отпив глоток, пояснил:

— По часам живу. С того самого времени, как Сергеев шарахнул в меня. Помнишь? Сколько я этого добра съел... Пожиже развести — квартиру побелить можно. А толку нет: то улучшение, то обострение. Ты учти: меня волновать нельзя. Враз активизируется деятельность этой... внутренней секреции, повышается кислотность, — и начинается обострение.

— Врешь ты все, — буркнул Голубь. Ему было жал-

ко смотреть, как бодрится Реук, прижимая ладонь к больному месту. — Печет?

— Печет, — признался Реук.

— Что ж гроишь себя на этой работе?

— А ты знаешь работу, которая от язвы излечивает?

— У тебя язва?

— Пока нет. Обещают.

Дверь приоткрылась, заглянул дежурный:

— Разрешите?

— Что, опять передачу принесли? — осведомился

Реук.

— С передачей разобрались, — улыбнулся дежурный. — Тут задержанный...

— Ну и ведите его в уголовный розыск.

— Начальник на происшествие выехал, а задержанный странный какой-то. У него в авоське... это...

— Яснее говорите. Что в авоське?

— Череп.

— Что-о?

Реук недоуменно посмотрел на Голубя.

— Муляж?

— Да, вроде, настоящий.

— Кто задержанный?

— Студент.

— Медик, наверное. Спер где-нибудь? У себя в институте?

— Да нет. Парень какой-то... крученный. Путается. И нетрезвый, точнее, с похмелья.

— Ну-ка, заводи его!

Дежурный приоткрыл дверь пошире, и в кабинете появился Женька. Он стоял с несчастным видом, держа в руке, на некотором расстоянии от себя сетку, сквозь которую на присутствующих глядел равнодушно Федькин «знакомец».

— Где его задержали?

— Возле рынка. На автобусную остановку шел, — сообщил дежурный.

— Так это? — спросил Реук у Женьки. Тот подавленно мотнул головой:

— Да. Я шел на автобус.

— Вы что — хотели вызвать массовые беспорядки? — поинтересовался Реук, — с этой штукой — да в автобус! Это вам что — арбуз, картошка? Откуда череп?

— Д-дали... то есть... Подарили.

— Вы много выпили? Перед тем, как принять подарок?

— Не очень... Три бутылки вина на двоих.

— У приятеля пили?

— У... него.

— Обмывали находку?

У Женьки округлились глаза.

— Откуда вы знаете?

Реук сел, показал рукой Женьке на стул:

— Рассказывайте.

— Все? — покорно спросил Женька.

— До тютельки! — Реук категорически пристукнул по столу костяшками пальцев.

— Хорошо.

Женька сел и, осторожно разместив авоську у себя на коленях, жалобно попросил:

— Только можно я не буду называть своего товарища?

— Пока можно, — разрешил Реук.

И Женька стал рассказывать. Когда он закончил, Голубь подошел к нему, взяв авоську, принялся рассматривать череп.

— Стенку, где обнаружили останки, не забетонировали? Не заложили? — спросил Реук.

— Не успели еще.

— Хорошо. Идите с дежурным. Получите бумаги, напишите все, что сейчас рассказали. Потом поедете, покажете место. Ясно?

— А как же?..

— Что?

— Да насчет товарища... Мне не хотелось, чтобы он фигурировал.

— Послушайте, уважаемый, — Реук подошел к нему. — Все, что вы рассказали, правдоподобно, хотя и не совсем обычно. И коль скоро вы в своем повествовании ссылаетесь на конкретных лиц они, должно быть, подтвердят сказанное вами, верно? А иначе как я должен верить вам? Пьяному. С человеческим черепом в авоське.

— Да, но...

— Они нужны только для этого. Ясно?

Когда дежурный увел Женьку, Реук прошелся по кабинету.

— Ты обратил внимание, как расколот череп? — спросил Голубь. — Там не только дыра — там даже тре-

щины с обеих сторон. Видимо, кость испытала мгновенную деформацию на узком, длинном участке. Там, где пришлась основная сила удара, кусок кости сломался. Сила удара на других участках оказалась слабее — образовались трещины.

Реук устало взглянул на него.

— Какая деформация? Какие трещины? Ты что — не видел черепа? Он же, как минимум, двадцать лет в земле пролежал! И ты думаешь, я сниму людей с кражи, с других дел и отправлю их в пятидесятые годы? Не жирно ли будет? Кого устанавливать? Убийц? Убийц КОГО? Вот это — в авоське? Виктор, ты же взрослый человек. Это бесперспективное дело. У меня вон неопознанный труп с автодорожного. Не с пятидесятых годов — с апреля. Установить личность не можем. А ведь с криминальной травмой, не хухры-мухры. А тут... средневековые какое-то.

— Ну, а какую версию ты предлагаешь? — полюбопытствовал Голубь, — если я правильно понял — никакой?

— Да! — зло ответил Реук. Он повернулся к Голубю, и жестом фокусника хлопнув в ладоши, показал ему руки. — Вот, никакой версии я не предлагаю! Никаких убийств! Мальчишки всю ночь шастали с этим черепом, грохнули его об асфальт — вот тебе и мгновенная деформация. А может, как раз на том месте лежал железный штырь, об который этот товарищ и вякнулся — вот тебе и «узкий, длинный участок». Сегодня же пацанов установим — так и будет, вот увидишь.

— Не будет, Жора, — заметил Голубь, — парень сказал ведь, что они в таком виде череп откопали.

— А мне плевать, что он сказал, — раздраженно ответил Реук. — Это все еще проверить надо. И, знаешь, — давай прекратим этот разговор. Ничего еще не известно. А кроме того, вопрос о возбуждении уголовного дела решать прокурору, а не нам с тобой.

— Согласен, только не злись.

— Да я не злюсь, — отмахнулся Реук. — Ты пойми: дело это абсолютно бесперспективное! Я имею ввиду тот случай, если ты будешь прав. Здесь двадцать лет назад пять-десять домиков стояло. Станция вон километра полтора. И все. Кого ты сейчас найдешь? А найдешь — что они тебе скажут? Ты не думай, я не боюсь раскрывать. Если это реальное преступление, с реальным подозреваемым. А выдумывать себе работу... Этот череп из прошлого, к которому ни ты, ни все живущие здесь отношения не име-

ем. Они все умерли — и виновные и невиновные. Ну ладно. Ты извини, мне на исполком надо. Там как раз вопрос о самовольной постройке гаражей. Вот уж — злоба дня. Самая, что ни на есть современность. Кстати, машиной не обзавелся еще?

— Денег нет, — мрачно ответил Голубь.

— Деньги — тьфу! Ты, главное, на очередь встань. Очередь подойдет — деньги враз найдутся. Махом!

Говоря это, Реук надел плащ и, застегивая его, подошел к телефону.

— Алло! Взяли объяснение? Так. Начальник угрозыска приехал? Так. Пусть звонит в прокуратуру, берет эксперта... нет, собаку не надо, — он весело посмотрел на Голубя, — собака, пожалуй, уже не возьмет след. Значит, эксперта, следователя пусть берет и едет на место с этим... как его фамилия? Казанкин Евгений? Вот прямо с ним... Потом, вечером, мне доложишь результат.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Казанкин?

Казанкин дунул на огонек спички, дрожавший в руке у Сократа.

— Удостоверился? То-то. Сокра-ат! Гнидой ты был, гнида и есть. Мало того что смылся, так еще и... Не вышло, понял? Богодул ваш, что меня со стены спихнуть должен — сам оступился. Упал, понимаешь. С крыши. Аккурат в ванну с негашеной известью. И что характерно, даже не пискнул. Так что часа через два его и хватятся. И нас, вот... четверых. Я ведь Пряника не зря с собой взял. Одного-то вы меня удавили бы. А так — по полям.

Сократ молчал. Сверху из подкопа, сквозь который они проникли в канализационную трубу, посыпались комья земли: оставшийся в табельной заключенный, как было условлено, заложил лаз мешком с цементом и забросал его землей. Сейчас он уложит на место две половые доски, загонит гвозди и все. Пока кто-нибудь не догадается оттащить вагончик, в котором устроена табельная, со своего места, никто не узнает, как ушли из производственной зоны четверо заключенных. Теперь — четверо... На это Сократ не рассчитывал. Плюс — убитый в зоне. А убийца — с ними. Это хуже всего.

А план был хорош. Канализационная система на стройке была готова давно. Все люки колодцев сверху зацементированы, внутри поставлены решетки. Но Павлик, старый знакомый Сократа, еще в пору строительства подземных коммуникаций углядел одну трубу с дефектом. Много трудов и хитрости ушло на то, чтобы поставить над этим местом вагончик и со страшным риском, день за днем делать подкоп. Добраться до трубы, найти трещину, расшатать ее, сделать отверстие — все это урывками, с оглядкой, под угрозой ежеминутного провала. Сократ помолодел: опасность наэлектризовывала его. Он стал следить за своим телом. Ему достали из соседнего отряда у бывшего мастера спорта какой-то сногшибательный комплекс упражнений, и он аккуратно каждый день выполнял его.

Все было готово. Казанкин молчал. По просьбе Сократа приятели Павлика поговорили с ним, и он оставил Сократа в покое. Но надежды на него не было. Поэтому Казанкина по плану должен был устранить оставшийся в зоне заключенный. Все было предусмотрено, вплоть до лжесвидетелей, долженствовавших сбить с толку оперативников. А вот — Казанкин здесь! И лаз уже засыпан. Труба выходит к реке. Метров двести пятьдесят — триста. Сливная труба. Оканчивается за зоной. Павлик откуда-то знает — там только на выходе решетка стоит. Перепилить за полчаса можно.

— Павло! Он тебе не сказал, почему я ему поперек горла стою?

Сократ вздрогнул.

— Я с него долю потребовал, Павло. Еще от старого дела долю. Потому он и решил меня убрать. Он и тебя уберет.

Казанкин говорил это тихим, чуть сипловатым, равнодушным голосом.

— Все! — Сократ вздохнул. — Все. Ты здесь — ладно. Ты получишь свое. Каждый, кто здесь, получит свое. Но до той поры — делать, что я скажу. И учти, Казанкин: куда мы идем — знаю только я. Я один.

— Не трусь. Беречь буду, как глаза. Но горбатого ты мне не слепишь — так и знай.

— Все будет честно. Пошли!

И они пошли, точнее, поползли на четвереньках по узкому ходу сливной трубы: впереди Павлик, за ним Казанкин, Сократ. Замыкал группу Пряник. Сначала было неудобно, затем, приноровившись к ритму движения, бездум-

но переставляя руки и ноги, Сократ мерно передвигался, смутно различая перед собой фигуру Казанкина.

То, что его с умыслом отделили от Павлика, он понял. Надо полагать, он теперь все время будет в этом окружении. Павлик молчит. Да и что скажешь? Надо ползти. Надо выйти на волю. Здесь силы равные — двое на двое, но силы неравные. А может... один против трех? Павлик молчит. Что он думает?

— Павлик?

— Ну?

— Пилку не потерял?

— Здесь, Григорьич.

Нет, Сократ верит Павлику. Он его встретил лет пять назад, в одном из лагерей. Тогда это был неуклюжий, испуганный парень, «ванек», вздрагивающий от каждого вопроса. Сократ пожалел его, запретил «шакалам» делать унижительную «прописку», следил, чтобы мальчишку не втянули в картежную игру, которая, как правило, заканчивалась для неопытных долгой, если не вечной кабалой. Потом его перевели в другой лагерь, и Сократ потерял парня. И вот они опять встретились. Теперь это был матерый «зэк», знающий себе цену. Не «захарчеванный чухан», прикидывающийся бывалым, каких много приходит в зону, а «мастер», Сократ, обратившись за помощью к нему, не сказал всей правды. Старик догадывался, что его предложение каким-то образом совпало с планами Павлика — иначе откуда так быстро взяться трубе с дефектом? Да и вообще, вся подготовка к побегу шла на удивление быстро. Павлик был немногословен, деловит. Когда все было готово, помог Сократу перевестись табельщиком на стройку, что было очень непросто.

И только когда Сократ напомнил о том, что нужно убрать Казанкина, Павлик недоверчиво прищурился:

— Что ты так о нем хлопчешь? Ну, останется он здесь, тебе-то что. Больно хитрый ты, старик. И жадный. Не много ли одному будет?

— Ты про что это? — насторожился Сократ.

— Да просто так. Что стойку сделал? Я говорю — повесят на нас твоего Казанкина. А это при нашем побеге — знаешь что? Сто лет искать будут. Помирать будешь — найдут, из гроба вытащат и к стенке поставят.

— А мы «цветным» гвоздя забьем.

— Это как?

— Дадим им близец. Пусть отдельно нас ищут, а отдельно — того, кто поможет Казанкину в ящик сыграть.

Мысль дать оперативникам ложный «близец» — наводку на преступление — понравилась Павлику. Он взял на себя подготовку к убийству Казанкина и подбор лже-свидетелей. Однако Сократ не забыл двусмысленного намека Павлика по поводу его жадности.

И сейчас он думал о нем, вспоминая и не узнавая черты того далекого губастого испуганного парня, которого он знал несколько лет назад. Которому объяснял нехитрые, но жизненно важные правила лагерного существования. И попутно — свои правила, долженствующие обеспечить, по его понятиям, тому, кто их соблюдает, независимость — единственное условие человеческого бытия, для достижения которого Сократ одобрял все средства.

...Загребая руками песок, устилавший дно трубы, Сократ вспоминал все это, чтобы утвердить себя в надежности бывшего ученика, чтобы развеять сомнения, обступившие его в темноте...

Казанкин, двигавшийся впереди, думал о Сократе. Он хорошо понимал, что ему против Сократа и Павла не устоять. Конечно, они сейчас обескуражены. Но как только выйдут на волю из трубы... Казанкин помнил Сократа еще по тем временам, в Ачинске. Точнее, не его, а рассказы о нем Васьки Брагина, друга детства, деревенского хулигана и, наконец, главаря банды. Брагин называл его тогда Приказчиком. По его словам выходило, что это умный и вероломный человек. И Казанкин, к тому времени относившийся к Брагину уважительно и даже подобострастно, представлял себе Приказчика человеком мрачным, громадной физической силы (он знал, что Приказчик как-то здорово избил Ваську, а тот был не последний в кулачных драках).

Когда однажды Васька объяснил ему и еще трем членам банды, что нужно будет в поезде встретить Приказчика, вызнать у него, куда он дел деньги с последнего налета, а, вызнав, — убрать его, Казанкину стало не по себе. Не потому, что нужно убить человека — времена тогда были такие, что не это было самым страшным. Он боялся этого человека, его хитрости, силы. И он испытал удивление и разочарование, когда по знаку Брагина вошел в купе и увидел высокого, худощавого, лысеющего мужчину в белом полотняном костюме, сидящего напротив Брагина с газетой на коленях. Казанкин подсел к нему, вынул нож и

уперся им в бок мужчины. И тут произошло странное: Приказчик не обратил на его жест ровным счетом никакого внимания. Просто искоса, равнодушно взглянул на него и продолжал разговор с Брагиным. А потом Васька отослал его, и через некоторое время Казанкин услышал веселый раскатистый смех Приказчика. И когда Брагин вышел из купе и недовольно буркнул «отменяется», Казанкин со смешанным чувством удивления и злорадства понял, что этот человек сейчас всех их, и Брагина в том числе, обвел вокруг пальца. Понял, во-первых, потому, что Приказчик был отпущен с миром, во-вторых, потому, что об этих деньгах Васька больше разговоров не вел. Позднее, он по пьяному делу рассказал, что тогда в купе Приказчик держал их под пистолетом, накрыв его газетой. Выходит, что их парадный выход был для него пустой возней, которую он вмиг прекратил бы, тронь они его пальцем...

Вспоминал он и дальнейшее. Как кобыла Манька привела к нему угрозыск. Как ни с того, ни с сего у него начали домогаться, куда он спрятал Брагина, и в конце концов показали записку, в которой это утверждалось. Измученный страхом и подозрениями, Казанкин выдал и Васькино убежище. Только когда он увидел обгорелые кости и Васькин обрез — только тогда он понял, что все это: и записка, и смерть Брагина — дело рук Приказчика. А может он и с кобылой как-нибудь подстроил. От такого все можно ожидать. И Казанкин зарекся поминать о нем в уголовке. Тем более, что раньше по приказу Брагина он убил его любовницу — Серову. И еще потому, и это было самой главной причиной, что ничуть не сомневался Казанкин в том, отчего убит Брагин. Катерина, Васькина любовница, сбежала из Ачинска в одно время с Приказчиком — он это узнал на допросе. А ей Васька мог сказать про тайник...

Сейчас, встретив Приказчика, теперь уже Сократа, и увидев этого мягкого, вежливого старичка, Казанкин забыл свои прежние страхи. Он решил выжать из него все, что можно. А здесь, в этой проклятой дыре, снова испугался. Господи! С кем связался! Задавит же, как котенка. Пальцем не шевельнет, а задавит. Чужими руками. Что он с Пряником, этим дуроломом. А против него — этот Сократ, Приказчик или кто он там. И с ним Павло. Что он думает? Неужели старый компаньон Сократа? Тогда Казанкину конец! А впрочем... Павло молчит. Может, раздумывает над его словами о том, что Сократ уберет и его по миновании надобности? О чем он думает?

А Павлик вспоминал свой последний побег.

Уроки, которые давал ему в свое время Сократ, трансформировались в его сознании в прямое и бескомпромиссное стремление к свободе. Любой ценой! Он не затруднял себя нравственным обоснованием поступков — не потому, что не умел этого, нет. Павлик был по-своему развитым и пытливым человеком. У него были определенные понятия о честности и справедливости. Но он видел, как многие из знакомых ему еще на воле людей совершенно обходятся без этого нравственного обоснования своих поступков, причем не только не несут за свои дела уголовной ответственности, но даже пользуются в своем кругу всем комплексом все тех же нравственных положительных оценок, что и остальные: уважением, авторитетом — и следствием этих оценок — любовью, привязанностью..

И Павлик уверился: если нет нравственного самосуда — нет суда вообще! Да еще угрозыск может доказать, что ты — вор, грабитель и, следовательно, безнравственный человек. А вдруг не докажет? Значит, ты такой же, как все? Кто посмеет утверждать обратное? Но тогда — что значат какие-то абстрактные критерии — «порядочный», «непорядочный»? Да ничего! Ровным счетом ничего. Важны дела, а не слова о том, хороши они или нет. А негодяй ты или кристальная душа это зависит от того, как ты сам на это смотришь. Что касается общества, то его оценка зависит от случая. Поймает тебя «опер» на малине — на тебя и твоих детей пальцем будут показывать: воры. А поленится в четыре утра прийти в засаду, прозевает — вечером пройдете друг мимо друга и поздороваетесь, как порядочные люди. Все зависит от тебя.

Так или примерно так пришел Павлик по дороге, указанной Сократом, к своему пониманию роли этических норм в развитии личности и взаимоотношений ее в этом плане с обществом. Будь он малость поначитаннее и имей склонность к мудрствованию — пожалуй, додумался бы до солипсизма. Впрочем, вряд ли: жизнь очень ощутимо показала ему, что степень вреда или пользы, приносимой ему окружающими, зависела отнюдь не только от его сознания. Польза Павлика не волновала. В людскую доброту он не верил, за исключением непонятого отношения к нему Сократа в первое свое пребывание в лагере, хотя, сказать правду, какие-то сомнения запали ему в душу, заставив рассматривать все это под другим углом, особенно после этой истории с Казанкиным. А вот зла Павлик пытался из-

бежать всеми известными ему способами. Одним из них, учитывая специфику существования Павлика, с 18 лет скитавшегося по лагерям, был побег.

Итак, Павлик вспоминал свой первый побег. Он был задуман удачнее этого. Во-первых, потому, что Павлик бежал один. Во-вторых, — подготовка к нему заключалась только в том, что он стал отращивать волосы. Ничего другого не надо было делать. Ну еще несколько более внимательно поглядывал в сторону солдат, проверявших отправляемые из зоны вагоны с пиломатериалами. Да и поглядывал скорее из-за неосознанного, непреодолимого желания понять, проникнуться их мыслями, ощущениями во время осмотра, чем из-за практической надобности: весь порядок осмотра он и так знал. Но то, что они думают сейчас, чувствуют, они будут думать и чувствовать, когда он будет там. И это вызывало почти болезненный интерес.

Наконец наступил срок, когда начальник отряда сделал ему замечание по поводу неаккуратной прически. Значит, тянуть больше нельзя. Теперь нужно определить день. Он определил его. С утра крупными хлопьями пошел снег, таял в жидкой черной грязи, накрывал пушистыми шапками сосны, бараки, сторожевые вышки и даже ряды колючей проволоки. Тонкий и острый запах снега кружил голову, вселял надежду... Он начал действовать. Сходил с утра к складам и убедился, что вагоны, поставленные с вечера под загрузку штабелей с шестидесятимиллиметровой доской, уже открыты, и грузчики работают вовсю. До обеда, он быстро и споро выполнил свою обычную работу. Пообедав, пошел отметить у старшего конвоя. С этой минуты в его распоряжении оставалось четыре часа, так как именно через четыре часа будет производиться съем заключенных с объекта и их пересчет. Теперь он, внимательно следя за часовым на вышке, спокойно и не спеша продвигался к складам. Вагоны были уже загружены. Он выбрал предпоследний, стоявший так удачно, что подход к его двери не просматривался часовым, чья вышка находилась рядом с разгрузочной площадкой. Кроме того Павлик сообразил, что последний вагон при проверке будет осматриваться с меньшей старательностью, чем первый. Однообразная эта работа — осмотр вагонов. Вырабатывается привычка.

В вагон Павлик проник, никем не замеченный. Даже сюда залетали крупные хлопья снега, а на улице было бело от них. Два штабеля досок образовывали в середине вагона узкий проход. Павлик, упираясь руками в торцы,

быстро и ловко забрался наверх и ползком пролез в конец вагона. Как он и предполагал, доски оказались разномерными: одни упирались торцами в стенку вагона, другие не доходили до нее. Отодвинув одну из досок, Павлик различил свободное пространство, в которое можно протиснуться. Он опустил в эту щель, задвинул за собой доску и стал продвигаться дальше, пока не достиг пола. Не успев устроиться поудобнее, услышал стук и голоса. Начался осмотр. Кто-то пролез наверху, постукивая по доскам. Павлик затаил дыхание. Вот осматривавший стал выбираться наружу. Павлик вытер ладонью влажный лоб. Вагон медленно тронулся и спустя некоторое время вновь остановился. Начался второй этап: проверка собаками. Павлик представил, как две могучие тренированные овчарки сейчас пройдут по специальным стеллажам с боков вагона, обнюхивая каждый сантиметр. Собаки — не люди. Запах его пота, грязной одежды — это запах их врагов. Никакие другие запахи не могут вызвать их грозного рычания и яростного, призывного лая — только его запах. Молниеносно сообразив это, он быстро выдернул клочок ваты из телогрейки и поджег его, помахав возле стены. Буквально через считанные секунды он услышал рядом с собой частый стук, царапанье, учащенное собачье дыхание, голос конвоира «ищи, ищи». Еще через несколько секунд звуки затихли. Все? Все. Он осторожно заплевал тлевшую вату, помахал ладонью, разгоняя едкий дым. Несколько минут тишины — затем длинный гудок паровоза, лязг, рывок... Павлик почувствовал, как стало легко и просторно, затекшая от неудобного положения нога свободно вытянулась.

Подождав еще некоторое время, пока поезд не набрал ход, он решил выбираться, но от толчков и вибрации при движении поезда доски уплотнились так, что ему нельзя было даже изменить положение тела. Он шарил руками и не находил знакомых щелей, по которым пробрался сюда. Он очутился в ловушке!

Около часа было потрачено на то, чтобы с невероятными усилиями раздеться до пояса. От него шел пар, хотя в вагоне было холодно. Извиваясь, как гусеница, он тыкался головой в доски, ощупывая руками, пытался отодвинуть их... Еще через час, совершенно обессиленный, он выбрался, наконец, наверх...

И все пошло прахом! Все! Единственно, что он получил тогда — добавку к сроку.

Теперь — снова побег. Труба, черная тьма... Земля

под ногами. И они. Четверо. У Сократа что-то есть. Павлик чувствует. Неспроста старик ушел из зоны. Неспроста он так хотел, чтобы убрали Казанкина. До этого жил спокойно. Беспокойство принес Казанкин. Потребовал какую-то долю. Ясно, старик все сделает, чтобы дармоедов было поменьше. Ну, хорошо, они избавятся от Пряника и этого друга. Останутся вдвоем. Старик жаден. Может бросить его и уйти один. Один? Не-ет. Павлик посмотрит, что там у него за клад. И потребует свою долю. Там будет видно, какую — но потребует. Так думал он, пластаясь по сырому песку, напряженно вглядываясь в холодную темень.

Замыкавший шествие Пряник полз, посапывая и совершенно ни о чем не думая. Он был осужден за изнасилование. Срок был большой, жизнь в лагере — скучной. Появившийся Казанкин — веселый, злой, всезнающий — быстро сошелся с ним и в два счета уговорил бежать, посулив золотые горы. В золотые горы Пряник не особенно верил, но Казанкин показался ему деловым. А потом какие-то неясные дела Казанкина с Сократом навели его на мысль, что золотые горы — и не такая уж фикция. Это подтверждалось и тем, что пока все шло по его предсказаниям. Поэтому Пряник полз, совершенно ни о чем не думая.

Это обстоятельство, в отличие от других участников побега, помогло ему заметить то, что ускользнуло от них: земля под руками с продвижением вперед все больше и больше сырела, превращалась в жидкую грязь. Кроме того, к тишине, прерываемой только их дыханием, стали примешиваться какие-то посторонние звуки. Пряник бессознательно прислушался к ним и вдруг остановился.

— Эй!

Все замерли.

— Слышали?

В наступившей тишине отчетливо раздавались какие-то всхлипы, ритмичные всплески...

— Сидите... я взгляну, — не оборачиваясь, пробормотал Павлик, но, продвинувшись немного вперед, растерянно остановился: под ногами хлюпала вода, с каждым его шагом поднимаясь все выше.

— Все! Суши портянки — приехали, — Павел матерно выругался.

— Где? Что ты... — Казанкин оттолкнул Павла, пробрался вперед, некоторое время брел, пока не почувствовал, как вода заплескалась у самого лица.

— Куда ты? — глухо проговорил Павел. — Труба в наклон идет — дальше хода нет. Последние дни дожди были, вода в реке, видимо, поднялась. Осень... Теперь неделю, а то и больше вода стоять будет...

— Заткнись! — с ненавистью прохрипел Казанкин. Он резко вдохнул воздух и нырнул. Все трое устались в темноту, поглотившую его с мягким плеском... Он вынырнул, жадно хватая воздух ртом и расталкивая беглецов, пробрался на сухое место.

— Что? — тревожно спросил Сократ. Казанкин посмотрел на него — и внезапно расхохотался.

— Ах, старый дьявол... ха-ха-ха! Ай, Сусанин! Всех обкрутил! Себя замуровал и троих дураков впридачу! Ах-ха-ха! Ох-хо-хо-хо-хо!..

Странно и жутко было слышать этот хохот, искаженный круглым сводом трубы. Постепенно смех слабел, собственно, это был уже не смех, а редкие всхлипывания. Наконец, и они замолкли, и в трубе воцарилась растерянная тишина. Сократ устало закрыл глаза...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

...В узком каменном коридоре послышались гулкие торопливые шаги, и затем появился запыхавшийся юноша.

— Леонид? — радостно удивился Сократ. — Здравствуй, дружок! От кого это ты так быстро бежишь? И куда?

— К тебе, Сократ! Я спешил к тебе, — переводя дыхание, ответил юноша. — Меня не пускал отец. Он пришел в неистовство, когда я утром хотел пойти к тебе. Он кричал, что я и так опозорил его в городе дружбой с тобой. Говорил, что эта безнравственная связь вызывает в Афинах двусмысленные толки в его адрес, вредит его кожевенному производству. Никто из солидных покупателей не хочет иметь с ним дела, ему уже не предлагают общественных должностей, так как подозревают в нем агента олигархов, окопавшихся в Элевсине. По его словам, ты тоже их агент. Он брызгал слюной, вопил, что ты безбожник, аморальный человек, разбивающий семьи. Что тебя надо было казнить еще раньше с Критием — твоим достойным учеником и таким же... таким же развратником.

— Ужас! — покачал головой Сократ. — Кошмар! Подумать только, что все это обрушилось на твою голову. Клянусь Зевсом, моя Ксантиппа и то умеренней. Как ты

все это выдержал, мой юный философ? Как же ты вытерпел все это?

— Я не терпел, Сократ! — вскричал Леонид. — Я ответил ему, что плюю на его кожевенное производство и на сплетни, распространяемые о тебе в городе. Я сказал ему, что его любезные друзья-демократы такие же отъевшиеся лавочники, как и он, и ничем не отличаются от элевсинских олигархов — разве только тем, что последние остались без сладкого пирога, которым лакомятся демократы сейчас. Я крикнул в лицо, что не ему с друзьями говорить о нравственности, в которой они понимают столько же, сколько и рабы... Человеческая душа, сказал я ему, для вас ничто. Вам нужны деньги, товары, корабли. Вы горланите на собраниях об интересах полиса, а когда свергали тиранию Тридцати — сколько под шумок вы убрали неугодных вам людей, огульно обвиняя их в приверженности олигархии. Вы увеличили налоги, строите новый флот, отправляете военные экспедиции для защиты Афин, но все это блеф. И экспедиции вы отправляете для того, чтобы получить еще денег, еще товаров, еще рабов.

— Судя по всему, прекрасная речь была, — произнес Сократ, вопросительно оглядывая своих учеников. — Несколько декларативна, на мой взгляд... И что же ответил тебе Анит?

Юноша помолчал. Вздыхнул.

— Он ответил, что все мы — беспомощные, наивные люди, бесполезные для полиса, расслабляющие общество сомнениями и казуистическими противоречиями. Вы ничего не делаете, сказал отец, вы только болтаете. Вас даже врагами не назовешь, потому что вы — плоть от плоти нашего полиса. Но вы хуже врагов, потому что, развиваясь вместе с полисом, вы, однако, кроме болтовни не занимаетесь ничем. И если ваша болтовня хотя бы веселила людей, общество смирилось с вами. И даже, может быть, уважало вас. Как Аристофана, написавшего кучу смешных вещей. Но ведь вы не только ничем не помогаете развитию общества — вы тормозите его. Вместо того, чтобы после стольких лет кровавой тирании Тридцати радоваться установившейся демократии, вы ищете изъяны, обсасываете наши просчеты и недостатки. Сократ язвит над народным собранием, называет его «незнающим большинством», и вы, восторженные мальчишки, дети состоятельных родителей, хором вторите ему. Глядя на вас, и остальная молодежь в Афинах начинает говорить то же. А когда дети

хают создаваемое отцами — это уже серьезно. Может Сократа осудили и не по правилам, сказал отец. Он не уголовный преступник, но он хуже, чем уголовный преступник. Нашими законами просто не предусмотрено такое злодеяние — нравственное растрепывание молодежи. И вам сейчас трудно понять, какое это зло. Вы поймете, когда у вас появятся свои дети и скажут в один прекрасный день, что вы жили напрасно. И с презрением плюнут на все, что сделано вами. В этом месте отец совершенно расвирился. Он схватил меня за руки, потащил к двери и, указав в сторону наших кожевенных мастерских, заорал, выпучив глаза:

— Что ты будешь делать, сопливый, изнеженный философ, когда я умру? Что ты будешь делать со всем этим? Ты не знаешь не только процесса выделки кож — ты даже понятия не имеешь о том, как их сбывают. Ты думаешь, что войны затеваются ради твоих дурацких идеалов? Нет, милый дурачок, распевая гимны благородству! Война, к твоему сведению, — это одно из средств выгодного сбыта кожевенных изделий. Для меня, во всяком случае. А сбывать их спартанцам или фессалийцам, демократам, олигархам или огнепоклонникам — это зависит от конъюнктуры, а не от ваших диспутов.

Сократ внимательно посмотрел на юношу. Когда тот замолчал, он произнес:

— Да, Анит — сильный собеседник. Его логика агрессивна. Она не противопоставляет себя логике противника — она подчиняет ее себе. Ты не обратил внимания, Леонид, на то, что отец, постоянно ставя перед тобой вопросы, в общем-то не давал тебе говорить? Он приводил новые яркие аргументы своей правоты и вновь требовал от тебя ответа. И опять приводил новые доказательства... И снова спрашивал...

— Да, — кивнул головой Леонид.

— И у тебя постепенно складывалось ощущение, будто ты не можешь, не в силах возразить ему...

— Да, да — подхватил юноша. — Я не успевал продумать возражение одному аргументу, как он приводил следующий...

— Бедный Анит! — Сократ тихо рассмеялся. — Ненавидит болтунов — и так прекрасно усвоил школу софистов! Вот вам еще один довод в пользу тезиса о взаимопроникновении противоположностей. Ну, и чем же, в конце концов, закончился ваш спор?

Леонид помялся. Искося взглянул на Сократа.

— Потом отец успокоился. Усадил меня рядом. Велел никому не передавать то, что он мне собирается открыть. И сказал, что недавно влиятельные лица из народного собрания имели с ним беседу. Ему напомнили 409 год, когда он возглавлял военную экспедицию по захвату Пилосской гавани у спартанцев. Экспедиция тогда закончилась неудачей, и отца отдали под суд. Ему удалось оправдаться. Но влиятельные лица намекнули: сейчас, учитывая то обстоятельство, что его сын, то есть я, открыто критикует стоящих у власти демократов и, следовательно, примыкает к крылу олигархов, — дело снова можно поднять, пересмотрев уже с политических позиций мотивы провала той экспедиции. Одним словом, отцу предложили, если он не хочет потерять все, включая жизнь и честь, обвинить тебя, с тем, чтобы показать полису, что он, Анит, не только не поддерживает сына в его воззрениях, но и требует наказания тех, кто навязал мне эти воззрения, используя мою молодость и неопытность в вопросах политики. Таким образом, отец докажет, что он является истинным гражданином полиса, патриотом Афинской демократии — и отведет от себя подозрения в нелояльности.

— Довольно убедительно, — задумчиво проговорил Сократ, ероша бороду. — Во всяком случае, более убедительно, чем это было изображено в обвинении. Я почти готов поверить, что это так и было. Тем более, что не Анит был основным обвинителем. Что такое обвинение несостоявшегося поэта Мелета? Или оратора Ликона? Анекдот! Так я к этому и отнесся на суде. А вот Анита, бывшего Афинского стратега, влиятельного политика, поставившего скромно вторую, а не первую подпись под обвинением — проглядел. Да и с обвинительной речью он не выступал — этого не нужно было. Суду, как впрочем, и любому лицу, достаточно подписи Анита. А я-то начал издеваться над Мелетом, полагая, что уничтожив его — уничтожу обвинение. Ну, ладно, сейчас ничего не исправишь. Так, каким образом ты очутился здесь, мой Леонид? Как тебе удалось убедить отца?

— Никак, — растерянно сказал Леонид. — Просто после того, как отец рассказал мне все это, он положил руку на плечо и прошептал: «А теперь — делай, как знаешь». И заплакал. А я побежал к тебе.

— Удивительно! — пожал плечами Сократ. — Удиви-

тельна эта яростная вспышка, которая ничем не кончилась. Впрочем, мне кажется, я догадываюсь о ее причинах... Но мне хотелось бы услышать, может, кто-нибудь из присутствующих имеет свое мнение на этот счет.

Федон повернул свою кудрявую голову в сторону Леонида и насмешливо произнес:

— Я опять скажу, возможно, не в свою пользу, мне сегодня все время не везет, но, на мой взгляд, все объясняется достаточно просто. Ты, Сократ, Аниту уже не противник. Тебя он практически уничтожил. Но это ведь полдела. Ему нужен сын — продолжатель его трудов, новый управитель мастерских. Вот поэтому, воспользовавшись ситуацией, в яркой речи он объяснил Леониду свои принципы, изобразил себя таким крепко стоящим на земле, реально мыслящим человеком. А когда это не возымело действия — подпустил жуткий рассказ про смертельные интриги и собственную вынужденную подлость, от которой он, понятное дело, потерпел огромные нравственные убытки. Настолько огромные, что в качестве компенсации даже разрешил Леониду проститься с тобой — человеком, которого он ненавидит. Я слышал эту трогательную историю про Пилосский порт. Твой отец, Леонид, лжет: ему не удалось тогда оправдаться — ему удалось откупиться. И сейчас ему ничего не грозит, ты можешь успокоить его. Он дал судьям тогда такую огромную взятку, что доведись кому-нибудь вспомнить это дело — возмутителя тишины просто потихоньку удавят. Тогдашние судьи-то — все сейчас в народном собрании сидят и не на последних должностях. Если уж таинственные влиятельные лица и имели беседу с твоим отцом, то, уверяю тебя, это был приятельский разговор людей, понимающих друг друга с полуслова. И выгода от этого разговора была, видимо, обоюдной. При случае поинтересуйся, повысился ли спрос на ваши кожаные изделия после приговора Сократу. Заодно получишь урок, как следует создавать выгодную конъюнктуру для сбыта товаров. Это как раз то, о чем просил тебя отец.

Сократ исподлобья посмотрел на Федона, положил ему руку на голову, перебирая шелковистые завитки волос.

— Завтра ты, видимо, острижешь эти волосы, Федон, в знак траура по мне?

— Да, Сократ, — кивнул головой юноша. — Я это сделаю назло всем Афинам. И пусть они попытаются подыскать мне какое-нибудь государственное обвинение по

этому поводу. Это будет веселый процесс, гораздо веселее, чем твой, я обещаю тебе.

— Ты сегодня делаешь ошибку за ошибкой, — грустно улыбнулся Сократ. — Ты слишком поддаешься чувствам. Например, совершенно напрасно обижаешь Леонида. Совершенно напрасно обижаешь Афины. Леонид — твой друг. Афины — твоя родина. Что ты без этого значишь? Как ты будешь без них существовать? Жить? Отказаться от друзей и родины на том основании, что они не подходят тебе — все равно, что отказаться от жизни на том основании, что она тебя не устраивает.

— Но... ты же отказываешься, Сократ, — несмело сказал Федон.

— Ну, во-первых, не я отказываюсь, а мне отказывают, — усмехнулся Сократ, — а это большая разница. Ты, видимо, не заметил ее потому, что введен в заблуждение моим спокойным отношением к приговору. Однако если ты счел меня самоубийцей — должен тебя разочаровать. Это не так. Я не отказываюсь ни от родины, что, кстати, может подтвердить Критон, с которым мы по этому поводу имели недавно жаркий диспут, ни от друзей, что, думаю, и вовсе не нуждается в дополнительных свидетельствах. А во-вторых, дружок, прежде чем прийти к этому финалу, я всю жизнь потратил на то, чтобы друзья мои и родина стали немного лучше. И, уверяю тебя, не моя вина, если вышло не совсем так, как я хотел, — ни с родиной, ни с друзьями.

— А меня задело больше всего в разговоре Анита с Леонидом то, что нас считают бесполезными людьми. — произнес вдруг Симмий. Он сказал это в полной тишине, установившейся после слов Сократа. — Я понимаю, что нас путают с софистами, спорящими ради спора. Но ведь это же происходит еще и потому, что ни мы, ни они не приносим людям реальной пользы.

— Рассуждения о жизни никогда не приносили реальной пользы в том смысле, как ее понимает Анит, — заметил Сократ, — тем не менее, что мы значим без этого? Прочитать комедию, чтобы посмеяться? Устроить застолье, чтобы насытиться? Выпить с друзьями, чтобы одуреть от винных паров? Полюбить, чтобы произвести на свет себе подобных? Неужели ради всего этого существует искусство, политика, философия? Чтобы мы испытали приятное? Но для этого достаточно щекотки. А честолюбие, ненависть, доброта, сострадание — отчего все это происходит? От недостатка еды? Или по какой-то другой причине?

Беспорядок или напротив — порядок, который мы устраиваем, либо пытаемся устроить в этом мире — чем он вызван? Только ли желанием нашим иметь получше кормушку? И к звездам мы глаза поднимаем только ли тогда, когда кормушка пуста?

В молодости я, помню, терялся в этих вопросах, не находя им разумного ответа. Но однажды мне кто-то рассказал, как он вычитал в книге Анаксагора, что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной ум. И эта причина пришлась мне по душе, я подумал, что это прекрасный выход из затруднений, если всему причина — ум.

Но причины без следствия, как известно, не бывает. А следствие — жизнь, бытие. Они соотносятся, как душа и тело. И если тело наше отождествляется с бытием, жизнью, то ум отождествляется с душой.

Так разве возможно, Симмий, рассуждая о делах земных, жизненно важных, не принимать совершенно во внимание первопричину их — ум человеческий? И, признавая реальную пользу этих дел, забывать, что они следствие доброты, зависти, сострадания, честолюбия — то есть следствие тех качеств, которые кроются в нашей душе. И дела эти живы, пока жив человек. Его ум. Его душа. Вот главное. Человек интересен своим умом. Тем, что он знает. Во что верит. Что ненавидит. Остальное — производное. А ведь вера, ненависть, знание — эти категории никакого отношения к смерти не имеют, как ты полагаешь? Так что, если вам угодно, можешь считать это третьим моим доказательством бессмертия души.

Сократ повернулся к Леониду.

— Видишь ли, Леонид, мы тут без тебя пытались проявить мое право на бессмертие. Выясняется, что кое-какие шансы у меня все-таки есть, хотя вот Кебет поначалу дал понять, что мне не стоит особенно хорохориться эти последние часы.

Леонид слабо улыбнулся.

— Я не слышал двух предыдущих твоих доказательств, Сократ, но думаю, что ты, по своему обыкновению, провел их блестяще. От тебя всегда исходит такая спокойная уверенность... Не знаю как другие, а я порой не особенно слежу за ходом твоих рассуждений. Я смотрю на тебя, вижу твои неторопливые жесты, слышу голос — и все это убеждает меня зачастую сильнее, чем те или иные логические обоснования. Это, наверно, неправильно и недостойно философа... ты меня прости за это. Видимо, я сла-

бый человек. Вот Федон смеется надо мной, но я не обижаюсь. Он прав. Совсем недавно я бежал сюда, и сердце мое разрывалось от боли за тебя и жалости к отцу. Но сейчас, увидя тебя, услышав твою речь, я почти спокоен. И жалость к отцу исчезла — осталось горькое удивление: как я мог жалеть его? Как могло случиться, что мой отец — лицемер, величайший негодяй, хитрый и расчетливый убийца... И я этого не понимал?

Сократ шуточно надавил ему пальцем на лоб.

— Опять декларируешь! Однако не казни себя. Ты, Леонид, слаб, потому что ты человек. Почему-то у нас принято показывать свою силу и скрывать слабости. Как будто мы на сельскохозяйственном рынке, где продавцы стараются скрыть недостатки животных, чтобы продать их по дорожке неопытным покупателям. Совсем неплохо, если твое сердце сохранит способность болеть о чужих бедах, как о своих. И не надо этого бояться. Пожалуй, это поважнее, чем разбираться в философии. Правда, на этом пути тебя могут встретить разочарования, поэтому постарайся не стать человеконенавистником.

— Но каким образом, Сократ?

— Это случается с людьми, когда они горячо и безо всякого разбора доверяют кому-нибудь, но в скором времени обнаруживают, что человек, которому они доверяли, неверен, ненадежен и еще того хуже. Кто испытывает это неоднократно, и, в особенности, по вине тех, кого считал самыми близкими друзьями, тот, в конце концов, от частых обид начинает ненавидеть всех подряд и уже ни в ком и ни в чем не видит здорового и честного. Хотя, в сущности, очень хороших и очень плохих людей немного... А вот посредственных — без числа. Разве ты не замечал, что во всех случаях крайности редки и немногочисленны, зато середина заполнена в изобилии?

— Замечал, — согласился Леонид.

— И если бы устроить состязание в испорченности, то первейших негодяев оказалось бы совсем немного. Кстати, хочу сказать, что твой отец вряд ли оказался бы в их числе. Он исповедует свои принципы и действует, исходя из них. С его точки зрения я представляю зло, а со злом, знаешь ли, не церемонятся. Я был солдатом, участвовал в походах, сражениях и могу это подтвердить. Я не питаю симпатии к твоему отцу, но негодяем я его не назвал бы. Он просто человек, каких легион. Ни хороший, ни плохой. Средний. Если бы он смотрел на вещи так же, как

мы, он избрал бы другие средства борьбы со злом, которое, естественно, имело для него уже иное обличье. Но он посвятил себя другой идее. А идея, мой мальчик, формирует человека. Так что с точки зрения идеи, которой служит Анит, он может даже и неплохой человек.

— А... я? — тихо спросил Леонид.

— Ну, — улыбнулся Сократ, — ты очень хороший человек, Леонид. Честный человек. Это мое твердое убеждение.

— Почему ты так уверен?

— Но ведь нас-то, меня и твоих товарищей, ты считаешь хорошими людьми?

— Вы — другое дело, — уныло произнес Леонид, — а вот я...

— А ты думаешь, можно быть дурным человеком и иметь честных друзей?

Леонид некоторое время смотрел на него — и вдруг рассмеялся.

— Ну, какой же ты хитрый, Сократ! И как же легко и просто ты примиряешь человека с окружающим. Скажи, пожалуйста, как это тебе удается?

— Это совсем нетрудно, — ответил Сократ, — ведь я говорю о тебе таком, какого я вижу перед собой. А вижу я тебя молодым, искренним, добрым... Каким ты будешь завтра, я не знаю. Завтра ты останешься один. Меня с тобой не будет...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Да, брат, скоро ты один останешься. Пора мне с этой конторой завязывать. Уйду я.

Розыскник Алексей Кириллыч Воронеж возился с дверным замком, подняв очки на лоб и изредка взглядывая на Голубя, проверял впечатление от сказанных слов. Заметив его недоверчивую усмешку, он выпрямился и, потрясая отверткой, возмутился:

— Ты чего скалишься? Думаешь, не уйду? Ого-го, еще как уйду! Ты молодой, десяток лет всего и работаешь, а я в войну дезертиров ловил. Тогда, брат, не так было...

Голубь глядел на него, улыбался — слушал и не слушал. Кириллычу далеко за пятьдесят. Волосы на голове — серебристым бобриком. Невысокий, плотный, лицо

красное, без морщин. Возраст — сразу и не угадаешь. Почти не изменился с тех пор, как вместе работали в управлении. Это уже потом, когда постарел, надоело по командировкам мотаться, дачей обзавелся, — он перешел в райотдел. С Голубем виделись редко. Как сейчас, когда Виктор приехал в конце квартала, — выяснить, что реального даст райотдел на раскрытие.

Но внешне Кириллыч не менялся, был весь на виду. Он всегда в равной степени был озабочен неудовлетворительными результатами очередного розыска, и заморозками, угрожающими его дачному садику. И в том и в другом случае он искал и находил конкретных виновников, которых бурно изобличал перед Голубем...

— Ты погляди, чем сейчас уголовный розыск занимается? — ткнул себе за плечо отверткой Кириллыч, развивая свою коронную мысль, которая завершалась у него обычно поговоркой: «Раньше люди жили — куда твое дело!» — Половина работы уходит на отказные материалы. Утюг украли — отказной, муж жену погонял — отказной, пацаны мопед угнали — обратно отказной! Разве это преступления? Работа? Я их не выходя из кабинета строгать могу — много ли ума надо? Меня еще в пятидесятом году начальник вызывал вечером и говорил — показывай участок! Идет, останавливается перед каждым домом и спрашивает: что тут? И докладываешь: здесь притон, тут краденое скупают... Имена, клички, связи, характеристики...

А сейчас... нет, не тот инспектор пошел. Вот раньше мы работали — куда твое дело!

— Так ведь и преступник не тот, Кириллыч, — улыбнулся Голубь.

— Верно, — погрустнел Кириллыч, — с теми, что раньше в зону уходили, не сравнить.

— А что, Алексей Кириллыч, — поинтересовался Голубь, — вы много помните интересных преступников?

Тот почесал отверткой за ухом.

— Знаешь, я долго думал, уже и порядком поработал, что на серьезное преступление дурак не пойдет, — умный должен быть преступник. А вот таких, умных-то, и немного приходилось видеть. Тут, по-моему, какое-то несоответствие. Скажем, преступление сложное, раскрывает его не один человек. А задержат преступника, глядишь на него: плюгавый, гугнявый, трусливый... Тьфу! Помнишь Цыганова?

Голубь кивнул головой. Эта группа полгода совершала дерзкие преступления. Уже когда стало известно, что он ее возглавляет, и на Цыганова был объявлен розыск, тот нахально звонил на работу в бухгалтерию и справлялся у кассира, много ли ему начислили денег, сетуя на то, что не может их получить.

— Так вот, подельник его, когда был арестован, три раза мне очные ставки срывал.

— Как это?

— А так. Привезу потерпевшую, вызову его из камеры, а он, подлец, увидит ее, потужится и, того... в штаны наложит. Приведут его в порядок, а он — опять... В наглуую смотрит, кричит, аж синеет от натуги. А на суде юлил, вилял, плакал... Скотина! Я так полагаю: среди преступников настоящих злодеев да изуверов раз-два и обчелся. Остальные либо барахольщики, на все ради дармовой тряпки готовые, либо недоумки вроде этого. Такие и на грабеж пойдут, и на убийство. Тем более, что сейчас этого не надо. Дал девке по шапке — а шапка песцовая — вот тебе и двести рублей... Ну, ладно. Вроде бы теперь наладил замок. Не знаю, надолго ли. Да — все равно, скоро уйду на пенсию. Пора! Ну, что — идешь со мной?

Кириллыч повернул ключ в двери взад-вперед и вопросительно взглянул на Голубя. Тот посмотрел на часы — около семи. Собственно, планов у него особых и не было на вечер. К Кириллычу он зашел узнать, как идет работа по установлению личности трупа, останки которого обнаружены месяц назад при строительстве гаража. Реук отписал все материалы Кириллычу, и пока старик чинил замок, Голубь просмотрел дело. Смотреть, однако, практически было нечего, потому что самого главного, с чего начинается активный поиск, — сведений о личности убитого — не было. Правда, череп отправили в Центральную научно-исследовательскую криминалистическую лабораторию МВД СССР. Возможно, с восстановлением лица можно будет что-либо предпринять... А пока Воронеж методически обходил дома возле горы, где были обнаружены останки, пытаясь выяснить что-нибудь у старожилов. Вот и сейчас он собрался в очередной обход, прихватив с собой Голубя.

— Идем, — кивнул Виктор.

Они направились к горе, видневшейся за пяти и девятиэтажными домами.

— Последняя моя надежда, — показал Кириллыч в сторону ряда частных домов, уютно устроившихся в зарос-

лях черемухи, рябины, акации. — Тут такие люди живут... знающие. Золотые люди! А вот разъедутся по новым микрорайонам — все. Человек — он ведь чем интересен? Должностью, машиной, квартирой? — Кириллыч покрутил головой, — нет! Человек интересен тем, что он знает. Я тут одну старушку помню... Она в юности в няньках служила у какого-то важного адмирала в Прибалтике. Веришь ли — Николая видела, Колчака! Обыкновенная старуха. Расписывала их, как живых! И, между прочим, кражу в Доме культуры тогда помогла мне раскрыть. Наблюдательная бабка была. Вот что значит частный сектор, брат. Это ведь не только дома — это, Виктор, целая система отношений между людьми сносится. Ты в девятиэтажке своей хорошо соседей знаешь? Я тоже только вечером здороваюсь. А тут... поколения домами дружат! Такое только в деревне осталось. Вообще, я тебе скажу, не понимаю наших молодых ребят. Квартиры нет, живут в тесноте у родственников, а предложи в район — обидятся. А ведь там работать лучше.

— Ну, все-таки... город, — неуверенно возразил Голубь, — уровень жизни другой.

— Какой уровень, Витя! — Кириллыч даже остановился от возмущения.

— Хотя бы культурный.

— Нет, вы глядите! Ты-то! Ты-то сам где бывал за этот год? В оперном театре, к примеру, сколько раз был?

— В этом — ни разу, — подумав, ответил Голубь. — А вообще два раза. Первый раз карманника задерживали, а второй — дежурил, на проникновение туда выезжал.

— Вот видишь! — удовлетворенно заметил Кириллыч. Немного помолчал, спросил. — А что взяли?

— Когда?

— Ну, второй раз?

— Не подтвердилось проникновение, — вздохнул Голубь.

— Значит всего один раз и был — второй можно не считать... раз не подтвердилось, — поучительно сказал Кириллыч.

Они посмотрели друг на друга и расхохотались.

— Вот тебе и культурный уровень, — заключил Кириллыч. — Нет, брат, все от человека идет.

Он прищурился, вглядываясь в старенький, обшитый почерневшими от времени досками дом, мимо которого они шли.

— Зайдем?

На дворе, возле бочки с водой, старуха мыла веником таз. Она искоса взглянула на вошедших и продолжала заниматься своим делом.

— Здравствуйте, мамаша! — приветствовал ее Кириллыч.

— Здорово... сынок, — буркнула старуха, шуруя веником в тазу.

— Мы из милиции, — продолжал Кириллыч, доставая и показывая ей удостоверение.

Старуха, не торопясь, положила на землю веник и таз, вытерла руки фартуком и, взяв удостоверение, внимательно осмотрела его.

— У моей внучки такое же, — заметила она, — на конфетной фабрике работает.

Она еще раз поглядела на удостоверение и вернула его Кириллычу, заключив:

— Не вижу ни дьявола. Говорите, чего надо, коли из милиции!

— Нам бы побеседовать с вами...

— Тогда подождите, пока пол в сенях домою, — подумав, ответила старуха и, налив в таз воды, скрылась в доме.

— Посидим пока, — предложил Кириллыч Голубю, оглядываясь и вытирая шею. Они присели на завалинку. Немного погодя вышла старуха, села с ними.

— Как вас по имени-отчеству? — поинтересовался Кириллыч.

— Евдокия Ивановна.

— Вы давно здесь живете? — спросил Голубь.

— Всю жизнь, сынок, — вздохнула старуха. — Как муж помер, брат с женой переселился ко мне. А теперь — ни мужа, ни брата с женой — дети да внучата. И те не свои — братнины. Дом-то им не нужен, его под снос определяют. Вот и ждем с ним, с домом... когда нас снесут. Жилплощадь новую выделяют — тут уж я совсем лишняя буду.

— Ну, что-то вы больно грустно настраиваетесь, — улыбнулся Кириллыч. — Я не намного младше вас, а, вон, видите — орел!

Евдокия Ивановна мельком взглянула на него и слабо улыбнулась.

— Насчет орла ты, мил человек, хватанул. Однако видимость у тебя, конечно, не чета мне. И то сказать —

ты при деле. А я... Тут хоть настраивайся, хоть расстраивайся, — мысли-то все на одно поворачивают. Работать я не работаю, малых у нас в доме нет — что мне остается? Вон к Гришке схожу на гору, поругаюсь с ним — и вся радость.

— А кто это Гришка?

— А муж мой, — равнодушно ответила старуха.

Кириллыч переглянулся с Голубем.

— Так ведь... мы поняли, что он умер?

— Тридцать лет, как помер, — согласилась старуха.

— С кем же вы тогда... ругаетесь? — растерялся Голубь.

— А с ним и ругаюсь. Все тридцать лет.

Старуха весело посмотрела на них.

— Что это у вас вид какой-то... чумной? Думаете, заговариваюсь. Я иной раз тоже так думаю: не то живу я, не то — нет. Однако вот — живу. С милицией разговариваю. Или нет?

— С милицией, с милицией, — успокоил ее Кириллыч и снова достал платок, вытирая шею.

— Ну, стало быть, не блазнится. Мы с Гришей-то ни разу не ссорились, а прожили всего год. Вот и считайте: годочек-то и прожили в мире, а тридцать лет лаем. Да это при том, что его все это время в живых нет. А?

— Да-а... — осторожно протянул Голубь. Он незаметно толкнул локтем Кириллыча и показал ему глазами на калитку. Тот утвердительно качнул головой и обратился к Евдокии Ивановне:

— А где похоронен ваш муж?

Старуха слабо махнула рукой.

— Там, на горе. Закрыли теперь это кладбище. Не разрешают здесь хоронить. Гаражи вокруг, дачи строят... Живым-то тесно, а этим... какая разница? И из-за этого с ним ругаюсь. Кабы не совался, куда не надо — сейчас бы вместе схоронили. Теперь, вон, лежи, старый дурак, один.

— А в других местах раньше захоронений не было?

— Нет, — удивилась старуха, — зачем в других... какие вам еще места понадобились?

— Это мы к тому, Евдокия Ивановна, что здесь недавно на горе захоронение нашли, отдельное. Человека... Может, на вашей памяти драка была в те годы или пропал без вести кто-нибудь?

— Не помню такого, — подумав, ответила старуха. — Раньше здесь народ тихий жил. Это теперь все... ушлые

да отчаянные. Вон соседки дочка. Семнадцать лет только минуло, отца нет, мать в командировках... Оставила ей месяц назад сто пятьдесят рублей и уехала. Так она на днях аж два магнитофона купила. Я ей все говорю: Кланька, как ты, ухвертка, этак-то денежки фуганула? Чего ты, дура, есть будешь до матери? И на кой ляд тебе две музыки враз? Фыркает, носом водит. Ее настоящее имя Клариса, так она страсть как оскорбляется, когда я ее Кланькой зову. Да еще при кавалерах. Они на ее эти два магнитофона, только она их включит, как раки на дохлую лягушку, ползут. Два дня назад аж разодрались. Саньке Мишину, с конфетной фабрики, здорово досталось — он их разнять пробовал. Вот и разнял — в больницу увезли.

— А у кого она магнитофоны приобрела, не знаете? — поинтересовался Голубь.

— У-у... как его? — старуха задумалась. — Живет на Электриков... «Типа» — она его зовет. Он Саньку и испинал тогда. Кабы не кринул кто-то «милиция» — было бы вам захоронение, почище этого, что вы ищете.

— Это позавчера драка была? — перебил ее Кириллыч.

— Вроде, да... Позавчера. Начали-то они здесь, а Сашке досталось во-он возле той пятиэтажки.

— Ну, ладно, Евдокия Ивановна, мы пойдем. Спасибо вам.

— За что же «спасибо»? — удивилась старуха.

— Да, за разговор, — улыбнулся Голубь.

Они попрощались и вышли. Евдокия Ивановна, приложив руку козырьком к глазам, долго смотрела в их сторону.

— Ну, нет худа без добра, — удовлетворенно вздохнул Кириллыч. — Мужик этот второй день без сознания, а два парня, что задержаны, такую чушь несут, аж уши вянут. Сейчас все понятно. Да еще Кланькина покупка выплыла. Видишь, как полезно вечером гулять? Давай-ка еще сюда зайдем.

Голубь оглянулся и заметил:

— А бабка-то все следит за нами.

Он ошибался. Евдокия Ивановна смотрела не на них, а на гору. Она смотрела и прикидывала, стоит ли сегодня идти к Гришке. Последнее время она редко бывала у него — тяжело ходить по жаре. Жаль, что эти два милиционера ушли. Старуха так часто за тридцать лет переживала раз за разом свою прошлую жизнь, что воспоминания стер-

лись, потеряли свое первоначальное значение. Она ни с кем не делилась ими, брат, знавший все, что случилось с ней и Гришей, давно умер, а у детей и внуков хватало своих забот.

Эти два человека, которым она начала рассказывать про Гришу, разбудили снова в ней воспоминания. И старуха смотрела широко раскрытыми глазами перед собой и видела себя молодой, быстрой... И своего Гришу — моториста дизеля, обеспечивавшего электричеством весь маленький поселок.

Она тогда уехала в город рожать, да неудачно. Ребенок родился мертвеньким, и она передала письмо со знакомым. А Гриша так ждал его, что утром, когда его позвали на почту, он бросил впопыхах факел, которым разогревал свой проклятый дизель, в бочку с песком и побежал. И пока он бежал на почту и читал там ее горькое испуганное письмо, факел каким-то образом вывалился из бочки...

Ему дали восемь лет, и вначале он писал тоскливые, ласковые письма, а потом с ним что-то случилось. Письма стали приходиться злые, обидные. Временами в них прорывался прежний его голос, но не ласковый, а испуганный, разуверившийся. Кого-то он боялся, кому-то что-то должен был... Она ничего не понимала, ревела — и все. Он и сидел-то недалеко — километров двадцать пять лагерь их был. Завод какой-то строили. Несколько раз она ездила к нему...

И вот — к ней самой приехали. Выспрашивали: не знает ли такого-то и такого-то? Не называл ли Гриша их на свиданиях, не давал ли каких поручений? А потом сказали, что Гришу убили. Утопили в ванне с известью. Четверо каких-то... фамилии их называли, приметы описывали. Сбежали они после этого из лагеря. Так и не поняла она, за что его убили. Да и те, что к ней приезжали, сами, видимо, ничего понять не могли. Только и хватило ее на то, чтобы выпросить у них разрешения похоронить мужа здесь, в поселке. По первости она к нему плакать ходила. А потом ругаться стала. Здоровый мужик, а выдержать не смог! Она — баба — и то держалась. А ведь война была, не сладко жить одной-то. Честно-то что не жить, когда все есть, все хорошо. А ты поживи-ка честно, когда жрать нечего, когда мужика в доме нет. Ты в лагере честно поживи! Нет — связался с бандюгами, влез в их дело...

И с той поры — наладилась. Как неприятность какая

или тоска заест — идет его отчитывать. Поругается, потом помирится, поплачет — и домой.

Жила она с братниной семьей, нянчила сперва его детей, потом внуков... Так и состарилась. Может, вышла бы замуж — забылось все понемногу. Да свободных женихов тогда не было после войны в их поселке, а уехать не смогла. Тут у нее жизнь началась, тут и самое хорошее было, и самое плохое... Куда же человек от этого денется?

...Евдокия Ивановна очнулась и переступила затекшими ногами. Нет, не пойдет она сегодня к Грише. Что с ним ругаться, с безответным? Жаль, что милиционеры ушли. Она бы им про него все рассказала. Гриша-то хороший был, только слабый. Вон как сейчас хорошо вспоминалось — прямо жаль, что эти двое ушли. Да где там — стали бы слушать! Вон как чесанули. Не иначе — за сумасшедшую ее сочли. Бог с ними. Своих дел, поди, хватает. Да и кому сейчас интересно то, что было тридцать лет назад?

Старухе и в голову не могло прийти, как нужно было Кириллычу и Голубю то, о чем она сейчас думала, стоя в сумерках у калитки старого дома, определенного решением исполкома под снос.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

...Невидимая в темноте вода ласково и мерно шуршала. Казалось, кто-то большой и черный спокойно и глубоко дышал в глубине трубы. Павел вдруг приподнялся и стал пробираться между беглецами.

— Куда ты? — мрачно осведомился Казанкин.

Пряник ухватил за рукав проползавшего мимо Павла.

— Ну, куда понесло?

— Гулять, — зло ответил Павел и, рванув рукав, пополз в ту сторону, откуда они пришли.

— Вложит ведь, гад, — пробормотал Казанкин. Он нашарил увесистый камень и пополз было следом, но его остановил Сократ.

— Не сходи с ума. За тобой и так одна мокруха.

— Т-ты! Братское чувырло! — прошептал с ненавистью Казанкин. — Ты-то всегда чистеньким выходишь. Все тут виноватые, кроме тебя.

— Вот и учись, пока я жив, — слабо улыбнулся Сократ.

— Смеешься, — расшвырянул Казанкин. — Я вот шмякну сейчас по кумполу, а там пусть «зелененькие» разбираются, — он вытянул руку, пытаясь ухватить Сократа за ворот, но, получив неожиданно тупой и сильный удар в горло, закашлялся, силясь вдохнуть и не в состоянии сделать этого.

— Сиди, дурак, — приказал Сократ, отбирая у него камень. — Не утопи ты Гришку в известке — сейчас бы первый побежал нас закладывать. Успокойся, отдышись, — Павлик не за опером пошел.

— А куда он тогда?.. — настороженно спросил Пряник. Он не вмешивался в стычку, сообразив, что ни Павел, ни Сократ не утратили душевного равновесия, стало быть, держаться следует их.

— Не знаю. Хочешь — ползи за ним.

— А ты? — сдавленным голосом проговорил пришедший в себя Казанкин.

— Я останусь здесь.

Сократу было наплевать на этих двух дураков. Он действительно не понимал, куда и зачем ушел Павлик. Он просто ждал. Конечно же, Павлик что-то придумал. Это хорошо, может, найдет выход. Но если он так же будет исчезать там, на воле... Эта самостоятельность опаснее легковесных истерик Казанкина.

Пряник шепотом выругался и, не выдержав пытки неизвестностью, пополз вслед за Павлом. Некоторое время было слышно, как он двигался, затем снова установилась тишина. Сократ помолчал, слушая, скорее ощущая, мерное движение воды.

— Казанкин!

— Ну? — настороженно ответил тот.

— Ладно. Не выберемся мы отсюда — все ясно. Пойдем сдаваться. Все ясно. А если выберемся?

— Ну? — голос Казанкина был по-прежнему настороженным, но в нем появилась желанная Сократу нотка заинтересованности.

— Много нас. Ты не замечаешь? Четверо.

— То есть... Почему много?

— Ну, и тупой ты, — лениво усмехнулся старик. — Попробую объяснить. Ты Брагина знал? Я тоже. А какие права у этих двоих на то, что от него осталось? Понял?

— По-онял! — помолчав, медленно прошептал Казанкин. — Ох, и гад же ты! Сперва я уберу Пряника, а потом вы с Пашкой меня задавите? Умен ты, старик!

— Ничего ты не понял, — вздохнул Сократ. — Мне из вас троих никто не нужен. Потому что, как только дойдем до тайника, каждый начнет прикидывать, как бы все урвать. Не так?

Казанкин молчал, и Сократ догадался, что он согласен с ним, во всяком случае, задумался над сказанным.

— Поэтому мне одинаково невыгодно туда прийти и с вами со всеми, и с тобой и Пряником, и без вас обоих — с Павликом. Я старик, и при таком раскладе мне не уцелеть. Тем более, что у Пряника и Павлика на воле друзей полно. А вот если бы я с тобой к тайнику пришел, думаю, мы могли бы честно располовинить. А? Прикинь-ка ухо к носу! Что молчишь-то?

— А что говорить-то? — голос Казанкина звучал неуверенно, и Сократ улыбнулся в темноте.

— Ничего не надо, дружок. Я только хочу знать, согласен ты со мной или нет?

— Согласен, — после некоторого молчания ответил Казанкин.

— Ну, и слава богу. Выберемся на волю, тогда подумаем с тобой, что делать. Начнем с Павлика. Вопросы есть?

— Есть. Если тебе Пашка не нужен — что ж ты его в побег взял?

— Соображаешь, — похвалил Сократ. — Ну, что ж, я не скрываю. Ты мне не был тогда нужен. Во-первых, мелочиться начал, болтать, дань с меня качать. Я этого не люблю. Это «бакланы» так новичков «на арапа» берут. Во-вторых, такого побега тебе ни в жизнь не сделать. Это только Павлик может. Он умный. Мне его голова нужна была. Но только в побег. А дальше? Я ведь тоже, как ты еще по Ачинску должен помнить, не дурак. А раз так — должен понимать: двум умникам на одной параше не усидеть. Кто-то из них должен в штаны наложить. И, наконец, третье: в принципе можно было бы и тебя убраться...

— А это как получится, — насторожился Казанкин.

— Совершенно верно, — успокоил его Сократ. — Это риск. И если дело не выгорит, ты через пять минут сдашь меня первому попавшемуся «свистку».

— Глазом не моргну, — подтвердил Казанкин.

— Вот видишь, как мы друг друга хорошо понимаем, — заметил Сократ, — если отдать твою долю — ты за-

ткнешься, верно? Ясно теперь, почему я за тебя решил держаться?

— Ясно, Сократ. Все ясно!

— Зови меня Роман Григорьевич, — разрешил старик. — Как никак, подельники, компаньоны.

Он добродушно потрепал по спине собеседника, потом откинулся к своду трубы и вздохнул. Люди — воск. Нужно только немного терпения, чтобы размять его. А потом — лепи, что хочешь. Теперь Казанкин будет под контролем. А это очень пригодится, когда они выберутся. Сократ берил Павлику, как, впрочем, и всем остальным людям до определенного момента: пока тот зависел от него. Пока человеческая жизнь, благополучие находятся у тебя в залоге — людям можно верить. За пределами этих отношений верить опасно. Недолго ошибиться. Тем более в том мире, где жил старик. Впрочем, в существование другого мира он и не верил. Законы человеческих отношений везде одинаковы. Что такое «порядочный человек»? Бирка, которую может нацепить на себя любой, кому это нужно. Не-ет, этой цацкой играть не будем. Ненадежная вещь.

...В темноте, поглотившей Павлика и Пряника, послышались шум, неразборчивые голоса. Они приближались. Сократ и Казанкин прислушались.

— Двести восемьдесят два, двести восемьдесят три... Не торопись, укорачиваешь шаг... Двести восемьдесят пять...

— Вы чего там? — спросил Казанкин, вытягивая шею и пытаясь разглядеть в темноте хоть что-нибудь.

— Не мешай! Двести девяносто... девяносто один... два...

Наконец, они приблизились к ним. Павлик со вздохом облегчения повалился на дно трубы. Пряник уместился рядом.

— Замаялся вконец. На короточках всю трубу прошел. Хорошо Пряник помог, а то бы сбился.

— Да в чем дело-то! — крикнул Казанкин.

— Не ори! Из-за тебя ведь раком ползали-то. «Замуровали»! Прикинь-ка, сколько метров от табельной до реки?

— До ограждения метров сто пятьдесят... ну, и примерно столько же до берега. А вы сколько насчитали?

— Двести девяносто пять. Надо еще раз нырять. Воды тут должно быть немного. Вот так. А ты тут... счеты сводить начал. Гляди... Ладно, я иду нырять.

Он стянул телогрейку, снял сапоги и, взяв в рот припасенный кусок полотна от ножовки по металлу, побрел в воду... Оставшиеся напряженно ждали. И вот из-под воды послышались мерные звуки. Павлик пилил решетку! Затем они стихли, и через некоторое время он вынырнул, задыхаясь и кашляя.

— Тут решетка недалеко... А за ней вода маленько посветлее...

Он нырял несколько раз, наконец, совсем обессилев, протянул полотно Казанкину.

— Давай теперь ты. Да не потеряй пилку. Другой нет.

Прошло около часа. Решетка была перепилена в нескольких местах. Оставалось отогнуть ее — и можно было выбираться.

— Ну, кто пойдет? — спросил Сократ.

— Я, — ответил Павлик.

— Почему ты? — встревожился Казанкин.

Его опять обуяли сомнения. Что если Павло выберется первым? Он же перещелкает их в воде. Возьмет кол и будет там сторожить.

— Хватит торговаться, — послышался голос Сократа. — Первым пойдет Пряник. Он сильнее вас, быстрее отогнет решетку. Давай, Пряник. Только, смотри, решетку отгибай не внутрь, а наружу. Иначе зацепимся. Вылезешь — стукни три раза, если все в порядке.

Павлик исподлобья внимательно смотрел на Сократа.

...Прошла минута, другая... Вдруг мерные движения воды в трубе нарушились. В темноте послышались беспорядочные всплески. Потом снова все успокоилось. Условленных стукнов не было.

— Что-то случилось, — тихо пробормотал Павлик.

— Может, засада? Застукали его?

Они снова некоторое время молчали, пытаясь что-нибудь услышать.

— А-а... Все одно! — надрывно крикнул Казанкин и бросился в воду.

— Стой! Стой, падло!

Павлик кинулся за ним, пытаясь поймать.

— Что ты делаешь? — встревоженно крикнул Сократ, догадываясь уже, какой будет ответ.

— Не мешай!.. Сговорились?.. Ничего... одним меньше... Сейчас маленько... подержу...

Павлик барахтался, ухватив за ноги и пытаясь удер-

жать под водой отчаянно бившегося Казанкина. Внезапно он охнул, получив удар в лицо, и выпустил его.

— Сволочь! Уш-шел! — стонал он, швырнув сапог, оставшийся в руке.

— Успокойся. Подождем, — проговорил Сократ. — Никуда он не уйдет. Я-то все равно нужен.

— А я? Не нужен? — бешено крикнул Павлик. — Меня пришибить можно — это ты хочешь сказать?

— Успокойся, Паша, — мягко проговорил старик. — Сейчас не кричать надо. Думать надо, как отсюда выбраться.

Через некоторое время в трубе послышались три гулких удара. Затем они повторились.

— Торопится, — неприязненно заметил Павлик. — Невтерпеж ему... Ладно! Ты иди первым, Григорьич, ну! Я тебя за ноги держать буду. Не обижайся, старик, но если что — я тобой прикроюсь. Тебя он не тронет.

— Хорошо, Паша, — кротко согласился Сократ. — Захвати только сапог. Скажешь ему, что хотел удержать, думал, засада...

— Брось заливать, — безнадежно махнул рукой Павлик. — Кто тут что думал? Все одно думают — как бы зажать. Один ты вроде золотой курочки. Только гляди — это ведь до первого яичка...

— Ты... о чем? — растерялся Сократ.

— Ладно... заиграно, — пробормотал Павлик. Он почувствовал, что переборщил. — Не бери в голову. Видишь — напсиховались все. Пошли.

Сократ, зябко ежась, вступил в воду. Он не участвовал в перепиливании решетки и порядком продрог, сидя несколько часов без движения, пока беглецы работали. Вода была ледяная. Он несколько раз глубоко вздохнул и погрузился в воду с головой. Сзади Павлик крепко ухватил его за ноги, подталкивая вперед. Сократ открыл глаза, сильно и часто загребая руками. Постепенно стало светлеть, и он различил впереди какой-то смутный предмет. Приблизившись к нему и коснувшись рукой, Сократ чуть не вскрикнул. Это был Пряник. Вот почему не было условленного стука! Пряник намертво зацепился за решетку. Чувствуя, как начинает теснить дыхание, Сократ стал спешно протискиваться между сводом трубы и телом Пряника, мягко и податливо колебавшимся от каждого его движения. Павлик помогал ему, подталкивая сзади. Вода по-

светлела еще больше, и Сократ, миновав решетку, поплыл быстрее, ощущая толчки крови в висках и удушливое жжение в груди. Перед глазами, мешая видеть, замигали невыразимой красоты ярко-синие звезды... Уже теряя сознание, он выдохнул воздух, закашлялся, с тоскливым ужасом понимая, что сейчас захлебнется, забился — и вынырнул на поверхность. Следом, отфыркиваясь, появился Павлик. В двух шагах в воде стоял Казанкин с каким-то колом в руках и напряженно следил за ними.

— Брось, — прохрипел Сократ, — сейчас не до этого.

Пошатываясь, он выбрался на берег и повалился на траву. Павлик швырнул сапог Казанкину.

— Брось кол, болван, — приказал он ему. — Один ты с ним никуда не уйдешь. Пошарься-ка лучше вон в тех кустах. Там должен быть узел. Переодеть надо старика. Да поесть.

Моросил мелкий дождь. Казанкин принес узел. Беглецы помогли Сократу переодеться, затем, отойдя от берега в кусты, подкрепились хлебом и салом, оказавшимся также в узле. Затем поднялись и быстрым шагом углубились в лес...

...Сократ никак не мог согреться. Он напрягался всем телом, стискивал зубы, пытаясь сдержать противную судорожную дрожь, сотрясавшую его с ног до головы. Мокрая одежда не впитывала дождя, вода струилась по плащу и брюкам, доставшимся ему из узла, при каждом шаге противно чавкало в сапогах. Шли они уже несколько часов. Казанкин и Павел выглядели не лучше. Правда, им и досталось больше. Вначале Сократ, несмотря на риск, заставил их выйти из ручья, по которому они брели все время, углубиться метров на двести в разные стороны и вернуться тем же следом. В такую погоду собака бесполезна, но Сократ вообще не хотел рисковать. Если, паче чаяния, набредут на эти следы, что оставлены в разных направлениях от ручья, — решат, что они разошлись. Кроме того, пока Казанкин с Павликом месили грязь в лесу, он отдыхал.

После этого они снова брели по ручью. Казанкин несколько раз устраивал истерики, но Сократ был безжалостен. Дождь дождем, но один случайный отпечаток на глинистом берегу — и все может пойти прахом.

Потом вышли из ручья — почва стала каменистой. Прошли одну сопку, другую... Сократ не выдержал и повалился в траву.

— Отдыхать!

Они находились на опушке леса. Дальше крутой спуск. Равнина. Озеро, перелески. Где-то дальше железная дорога, река — за ней город. Сейчас, в предутренних сумерках плохо видно. Тут еще должен быть маленький поселок, то ли справа от озера, то ли слева.

— Гляди, Роман Григорьевич!

Сократ взглянул на Казанкина — тот показывал рукой куда-то вниз. Дождь стихал, и отсюда, с горы достаточно ясно просматривались три стожка вблизи от озера. Старик вопросительно поднял брови.

— Сено, — объяснил Казанкин. — Три копны — нас трое. Залезем, выспимся, отдохнем, обсохнем, а к вечеру...

— Будем в оперчасти рассказывать, какой ты у нас умный, — закончил Сократ.

— Это почему?

— А ты пошуруй бестолковкой, может, и догадаешься... военный обиженный.

Казанкин зло ощерился.

— Все осторожничаешь? Самого, как сучку, колотит, а ты не в робе! Вон «прохаря» тебе Павло поставил, клиф-тара цивильная. Белая... белая косточка — и то трясешься, как плашкет на васере. А я... а мы погибаться должны?

Сократ поднялся и медленно подошел к нему, коснулся рукой груди. Казанкин напрягся.

— Отпори это, — усмехнулся старик, — не дергайся.

Казанкин послушно сорвал полоску белой материи со своей фамилией.

— Не надо было тебе в побег идти. Нервный ты для такого дела. Теперь смотри, — Сократ повел рукой вокруг себя. — Здесь к нам никто не подберется. И снизу не видно. А там, — он указал вниз, — если «зелененькие» придут — никуда не убежишь. Сейчас пустят машины по всем дорогам... видишь за озером дорогу? Подъедут туда, копны проверят — и дальше покаты. За двадцать километров от зоны они каждую травку смотреть не станут, а вот стога, лабазы, закрадки охотничьи — могут проверить.

Опять зашелестел дождь. Казанкин стоял нахохлившись, сунув руки себе под мышки, жалкий. Сократ хлопнул его по плечу.

— Ладно. Пока дождь идет — дуй туда, набери сена. Возьми мой дождевик, утрамбуешь в него сколько можно. Только аккуратно, чтобы ни клочка сена после себя на траве не оставить.

Казанкин просветлел, кивнул и исчез в кустах.

— Чем ты его приворожил, что он у тебя мухой летает? В трубе-то зверем на тебя глядел, — не глядя на Сократа, процедил Павлик.

— Скажу — не поверишь. Я пообещал ему вернуть долг, — ответил Сократ, следя за тем, как покачиваются ветки кустов, скрывших Казанкина.

— Ты же от него избавиться хотел, — иронически усмехнулся Павлик. — Ради этого Гришка ванну из негашеной извести принял. Или сейчас веры ему больше, чем мне?

— С чего ты взял?

— С чего? — Павлик запахнулся плотнее в телогрейку, зябко передернулся. — Все за дурака меня держишь? Ты до Казанкина о побеге и не заикался. Он пришел — ты на лыжи встал. Хорошо — испугался за старые дела. А теперь он у тебя в лучших друзьях ходит?

— Он мне нужен.

— А я?

— Павлик, ты мне веришь? — Сократ подошел к нему и присел рядом. — Верь мне, сынок. Время придет — все узнаешь.

— Втемную, значит, будем играть? Ну-ну, гляди, чтобы перебора не было. Я ведь тебе не Пряник и не Гришка. Имей это в виду, старик.

Озноб прошел, уступив место жару. Сократ уже не ежился. Случайные прикосновения к мокрым, холодным листьям теперь не пугали внезапными приступами дрожи, напротив, — приятно освежали тело. Голова была ясная, мысли четко и быстро выстраивались, образуя легкий и красивый узор.

Павлик становится опасным. Он еще верит, но уже сомневается. Убрать сейчас Казанкина — значит очутиться у него в руках. Кто поручится, что Павлик не уберет его, как только узнает, где тайник? А Казанкин... Тому и в голову не пришло проверить последнее убежище Брагина. Простота! Увидев, что Павлика нет, он убедится: Сократ держит слово... поверит ему. А там его... можно будет. Это несложно. Жарко!

Сократ зарылся лицом в холодную, мокрую траву. Осталось немного... Роман Григорьевич. Или... как вас теперь?.. Сократ, Приказчик? Кто вы на самом деле? Какая ипостась — ваша, а какие — производные? Недоучившийся студент, колчаковский офицер, наводчик в банде, бухгалтер интеграла, матерый уголовник? Вы могли бы читать

лекции по философии, быть финансовым воротилой — ума доставало... Почему же вы на свою жизнь глядели со стороны? Философски? А может из-за угла? А может... Лейтенантик тот вас метко уколел. С чего это вы, Роман Григорьевич, приучили уголовников называть вас Сократом? Несостоявшаяся ипостась? Вы ведь когда-то разделяли его взгляды и даже пробовали, безуспешно, проповедовать их. Не вышло. Пороху не хватило. Да и неприбыточным делом оказалось. Кем же вы были, Роман Григорьевич, всю свою жизнь?

Разумеется не Сократом, признайтесь честно. Может быть одним из его учеников, заблудившимся в поисках истины на дороге, указанной учителем?.. Кем же вы были? Господи, как жарко...

— Что это с ним, Пашка?

— Черт его знает! Только что нормально говорил... Сократ, слышь?

Старик услышал их и едва заметно усмехнулся. Засуетились! Подождут! Он был сейчас далеко от них — не уголовником по кличке Сократ, не наводчиком и не бухгалтером, нет. Он был тем, кем вступал в юную и безоблачную пору своей жизни и кем мог оставаться всю жизнь — верным и искренним почитателем своего учителя. Он видел себя молодым, безоглядно верящим только Добру и только Разуму. Потому что ни в Добре, ни в Разуме нельзя обмануться...

— Горит весь! Куда он теперь?.. Пашка! Ну, что молчишь?

— А что говорить? К вечеру не оклемается — придется кончать...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Завидую я тебе, Сократ. Ты так непоколебимо уверен в торжестве добра и разума... Если бы все так думали, как ты, — грустно промолвил Леонид.

Сократ устроился на ложе поудобнее.

— Некогда в Мегаре — городе, который мне недавно настойчиво предлагали посетить, — при этом он весело взглянул на Критона, — жил поэт по имени Феогнид. После захвата города чернью он бежал, бросив все свое имущество, и всю оставшуюся жизнь провел в скитаниях. Прав он был или нет, сам он был виною своим бедам, либо

кто-то другой — трудно судить: три столетия минуло. Но я люблю его стихи. Особенно одно — обращение к своему другу, Кирну:

Так же спокойно, как я, иди посредине дороги,
Кирн, не заботься о том, где остальные пройдут.

Вот это двестише Феогнида я и дарю тебе в утешение, Леонид. Написал его человек, давно исчезнувший из этого мира. Я думаю, за все золото земли мы не найдем никого, кто расскажет нам, каким был Феогнид — красивым, безобразным, добрым, злым... Но мысль, движение души, рожденные триста лет назад — остались. Понимаешь — это ведь он не только Кирну сказал или мне, полюбившему его стихи. Это Феогнид говорит и тебе, и Кебету, и ему... И через триста, пятьсот, две тысячи лет кто-нибудь, прочтя это двестише утвердится в своей правоте.

— Да, но уверен ли ты в том, что эти стихи утвердят именно в торжестве добра и разума, а не в противоположном? — усомнился Леонид, — в стихах ведь не говорится об этом.

— В том-то и фокус, дружок, что ты получаешь определенную сумму понятий и мнений об окружающем из рук своих... скажем так — учителей. Это могут быть и родители, и старшие друзья, и любимые поэты, и... — Сократ улыбнулся, — знакомые философы. Но вот утвердиться в каком-либо из полученных мнений и следовать ему в своей дальнейшей жизни, или, напротив, отринуть его — это уже твое и только твое дело. И, уверяю тебя, это совсем нелегкое дело. Нельзя пройти по всей жизни с поводырем. Наступает момент, когда ты обнаруживаешь, что впереди никого нет. И с этого часа все, что ты сказал или сделал, начинает приносить пользу, вред тебе и окружающим людям. Вот тогда и будет видно, насколько в действительности ты верен тем принципам, которыми пленился в юности. Об этом самом говорит Феогнид в своем двестише. Понял, дружок?

— Ты, Сократ, по моему мнению, обладаешь божественной способностью ответить убедительно и точно на любой вопрос, — восхищенно произнес Кебет. — Я полагаю, что даже если твои три доказательства бессмертия души и несостоятельны, хотя никто из нас не смог их опровергнуть, то боги все равно просто обязаны позаботиться о том, чтобы сделать тебя бессмертным. Слишком большая рос-

кошь для человечества — удобрять почву прахом таких людей, как ты.

Сократ расхохотался.

— Ну, если ты считаешь, что я в качестве удобрения произведу такой же фурор в сельском хозяйстве, как в философии, — в качестве мыслителя, то должен тебя разочаровать. Розы, милый Кебет, прекрасно растут и на дерьме. Так что твой комплимент сомнителен. А вот то, что ты кладешь тень на мои доказательства по поводу бессмертия души — это меня несколько задевает. Критон, ты слышишь? Как тебе это нравится?

Критон, выходявший куда-то и теперь сидевший на корточках возле двери, ответил:

— А как бы ты хотел? Мы же старики, а они все как на подбор молодые, белозубые... Что для них авторитеты? Я только хотел сказать, Сократ, что меня сейчас отзывал прислужник. Он попросил, чтобы вы спорили не так громко, особенно ты...

— Это еще почему? — удивился Сократ. — Он, видимо, пьян и считает, что я уже умер?

— Нет, он просил напомнить, что тебе нельзя быть разгоряченным, в противном случае цикута не подействует, и придется выпить еще и еще... пока...

— Передай ему, чтобы не волновался. Передай ему также, что он имеет дело с приличными людьми. Придет час — и я ему не буду мешать делать свое дело так, как он сочтет нужным. Сколько скажет, столько и выпью. Только пусть он сейчас не докучает нам.

— Примерно в этом духе я ему и ответил, — кивнул Критон, — только проще.

— Как? Ты уже все это ему сказал? — прищурился Сократ недоверчиво, — и он понял?

— Не беспокойся. Оказывается, в молодости он служил на флоте, как и я. Мы отлично друг друга поняли. Не отвлекайся на пустяки и продолжай свою беседу.

— Ну, хорошо, — Сократ повернулся к Кебету. — Так не объяснишь ли ты, почему, практически согласившись со всеми моими тремя доказательствами, ты вдруг теперь сомневаешься в их состоятельности?

— Пока ты беседовал с Леонидом, — задумчиво проговорил Кебет, — я пытался анализировать твои доказательства. По-моему, в них все-таки есть некоторые изъяны. Тогда, в пылу спора, да и сейчас, пожалуй, я не смогу четко их сформулировать. Ты знаешь, я не силен в споре.

Мне нужно время, чтобы все обдумать. Если бы... Если бы мы могли встретиться завтра, возможно, я был бы готов к возражениям. Я, может, рискнул доказать тебе...

— Завтра ты непременно попытайся сделать это, — спокойно ответил Сократ. — Правда, меня не будет, и тебе придется доказывать мою неправоту другому. Но в этом, возможно, и содержится смысл нашего существования, а может и цель — в том, чтобы пришедшие за нами видели не только наши достоинства, но и наши ошибки. Может, и ты, опровергая меня, будешь не во всем прав. Неважно! Главное, чтобы не прекратилась эта эстафета поисков истины с моею, твоею или чьею-нибудь смертью. Главное, чтобы некто, стоявший от нас неизмеримо далеко, когда-нибудь задумался над тем, о чем мы сейчас спорим. А счет он нас мудрыми или, напротив, наивными, — это мелочь, которая на существе дела никогда не отразится. Может, этот некто в рассуждении о бессмертии души придет совсем к противоположным выводам. Ну и что? Уже то, что он будет принимать или отвергать мои, либо твои аргументы, строить на их основе подобные нашим или отличные умозаключения — уже одно это свидетельствует о бессмертии души. Моей, твоей, его — всякой души, чей обладатель интересуется окружающим миром, в котором ему выпала судьба появиться.

Сократ усмехнулся.

— Вот тебе, кстати, четвертое доказательство. Рассмотрим и его заодно, чтобы завтра быть готовым к продолжению спора. Однако я хочу сказать, Кебет, что у нас у всех, несмотря на эти разговоры, совершенно нет оснований тревожиться за наши души, независимо от того, уготована им вечность или нет.

— Но почему, Сократ? — удивился Симмий. — Мы так долго выясняли это. И я почти уверился, что честная жизнь, верное и бескорыстное служение тем прекрасным идеалам которые ты нам внушил... Все это, быть может, даст какой-то шанс и моей душе... стать бессмертной.

— Мальчик мой, — улыбнулся Сократ, вставая. — Бессмертие — не товар, который обменивается на благостную жизнь. Это — с одной стороны. А с другой, бессмертие — не привилегия для философов и царей. Печник может стать бессмертным. Ремесленник Дедал будет вечен, пока наша земля существует. Что касается меня, то я должен вступить на путь, который ждет каждого из нас в определенном богами срок. Мне нужно умереть, вам — жить,

и кто останется в выигрыше — покажет будущее. Во всяком случае, тело помыть мне следует сейчас. Я думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от лишних хлопот.

После этих слов установилась глубокая тишина. Все сразу заметили, что в комнате не так жарко и светло, как раньше. Лучи солнца косо скользили по стене и упирались в потолок. Наступал вечер. Наступал час исполнения приговора.

— Сократ!

Критон сидел возле двери, опустив голову. Он помолчал немного и тихо, запинаясь, проговорил:

— Мы не забудем ничего из того, что ты говорил сегодня. Но... не сердись на меня... Как ты хочешь, чтобы мы тебя похоронили?

— Как угодно, — ответил Сократ, — если, конечно, сумеете меня схватить, и я не убегу от вас. — Он тихо рассмеялся. — Никак мне не удастся убедить Критона, что я — это тот Сократ, который сидит тут, разговаривает с вами и пока распоряжается каждым своим словом. По-моему выходит, что я — это тот, кого ты вскорости увидишь мертвым, и вот ты спрашиваешь, как мне будет удобнее быть похороненным. Уверяю, Критон, что совершенно безразлично, как ты меня будешь хоронить.

Сократ направился в другую комнату. Остановился в дверях. Поднял палец.

— В таких случаях, друг мой, следует руководствоваться общепринятыми обычаями. Когда не знаешь, как поступать, — поступай, как все. Большинство ошибается редко. В исключительных случаях.

Он ласково подмигнул Критону и скрылся в дверном проеме. Критон последовал за ним.

Сократ отсутствовал довольно долго. В комнате, где остались ученики, царил неловкая тишина. Они сидели, стояли недвижно, как скульптуры. Из соседней комнаты доносился неясный шум, плеск воды, неразборчивый говор. Когда Сократ вымылся, к нему привели сыновей. Пришла заплаканная Ксантиппа. Теперь ученики слышали громкий ее плач, испуганные, тихие голоса сыновей. Вот они вышли, опустив головы, ни на кого не глядя, направились к выходу. На пороге появилась плачущая Ксантиппа, которую обнимал за плечи Сократ. Она пыталась что-то сказать, но рыдания мешали ей. Наконец, глубоко вздохнув, она выговорила:

— О... Сократ! Бедный мой муж! Почему ты должен умереть? За что ты должен умереть?

Она перевела мутные от слез, покрасневшие глаза на людей, стоящих в комнате.

— Вы! Вы все, которые так кичитесь тем, что именуетесь учениками Сократа! Вы, которые ходите босиком из подражания мужу, хотя он это делает оттого, что мы бедны — почему вы, гордые философы, сейчас молчите, как жалкие рабы?

Сократ попытался что-то сказать, но Ксантиппа отстранила его рукой.

— Нет, почему вы молчите! — снова выкрикнула она. — Ведь вам же прекрасно известно, что мой муж осужден на смерть несправедливо! Несправедливо!

— Успокойся, Ксантиппа, — мягко проговорил Сократ, глядя ее по плечу. — Неужели тебе стало бы легче, будь я осужден справедливо?! И не кори моих друзей — они сделали все, что могли. Пойдем...

Сократ увел плачущую жену. Вернувшись, он сел на ложе, обхватив голову, ни на кого не глядя.

В дверях появился прислужник Одиннадцати. Он остановился перед Сократом и, когда тот поднял голову, тихо сказал, виновато улыбаясь:

— Видно, мне не придется жаловаться на тебя как на других, которые бушуют и проклинают меня, когда я по приказу Одиннадцати объявляю им, что пора выпить яд. Ты самый спокойный и, думаю, самый благородный из людей, которые сюда попадали. И, пожалуйста, не сердись на меня. Ведь не я виновник того, что случилось с тобой. Ты понимаешь, с какою вестью я пришел. Прощай, Сократ, и постарайся как можно легче перенести неизбежное.

Прислужник хотел сказать что-то еще, но махнул рукой и побрел к выходу. Сократ проводил его взглядом и сказал скорее себе, чем ему:

— Прощай и ты, — затем продолжал, обращаясь к оставшимся в комнате. — Полагаю, он неплохой человек: часто приходил сюда, разговаривал. Видимо, он не притворяется и действительно жалеет меня. Однако, Критон, надо послушать его. Пусть принесут яд.

Критон встревожился.

— Ты хочешь выпить яд сейчас? Но ведь солнце еще, по-моему, над горами. Сократ, оно еще не закатилось. А я знаю, что другие принимали отраву много спустя после того, как им приказывали, ужинали, пили вволю, а иные пре-

давались любви... Не торопись, Сократ, есть еще время!

— Те, кто так поступали, думали, что выгадывают что-то, — покачал головой Сократ. — А я не надеюсь ничего выгадать. Это же смешно — отдалить на какое-то время неизбежное. Зачем? Чтобы трястись все это время в его ожидании? Поговорить с вами мы все равно уже не успеем. Да и я простился с женой и с детьми. Нет, пусть все идет своим чередом.

Критон кивнул головой рабу, стоявшему в дверях. Тот исчез и отсутствовал довольно долго. Наконец вошел тюремный служитель, держа в руке небольшую чашу. Увидев его, Сократ сказал с видимым облегчением:

— Вот и прекрасно, любезный! Ты со всем этим знаком — что же мне надо делать?

— Да ничего, — ответил служитель, — просто выпей и ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах. Оно подействует само.

Сократ принял протянутую чашу. Некоторое время с любопытством рассматривал ее содержимое. Затем, взглянул исподлобья на служителя, спросил:

— Как ты полагаешь, этим напитком можно сделать возлияние богам?

— Право, не знаю, — смутился служитель. — Ведь так повелось, что люди жертвуют богам лучшее, что у них есть... Последнее отдают. А тут — яд...

— Но ведь мне не из чего выбирать, — возразил Сократ. — Этот яд действительно последнее, что я имею в своей собственности.

— Я... я н-не знаю, — вконец растерялся прислужник. — Но я должен сказать тебе, что мы растираем ровно столько цикуты, сколько, ну, словом, сколько нужно выпить, чтобы... чтобы...

— Понимаю, — кивнул Сократ, — последний аргумент убедил меня. Ну, что ж, думаю, боги поймут мое положение и без возлияния помогут мне в этом последнем предприятии, как они всегда помогали раньше. Об этом я и молю, и да будет так!

Он поднес чашу к губам и выпил до дна — спокойно и легко.

— Учитель!

Федон стоял бледный возле него. Другие ученики тоже подошли и окружили Сократа.

— Учитель! Мы все... всегда будем говорить о тебе... рассказывать об этой минуте... О тебе... — Федон сжимал

и разжимал кулаки, силясь договорить до конца. — Не только твоя душа... будет бессмертна... Твоя слава также будет вечной... Все будут завидовать...

— Ты полагаешь? — Сократ с легким стуком поставил чашу на стол и показал на нее пальцем. — Вот первому, кто позавидует славе Сократа, ты предложи выпить такую же чашу. Думаю, число завистников после этого резко пойдет на убыль. — Сократ потрепал его по кудрям. — Цикута — она горькая. Раньше я слышал об этом. Теперь — знаю.

Первым не выдержал Симмий. Он плакал истерично, припав к ногам Сократа. Заплакал Леонид. Критон закрыл лицо руками. Сократ покачал головой.

— Ну, что вы, чудаки! Я женщин специально отослал, чтобы они не устроили подобного бесчинства, а выходит — это вас надо было отправить? Сдержите себя, прошу вас.

Затем он стал ходить. Через некоторое время подошел к лежанке, тяжело сел, потом откинулся на спину, пробормотав:

— Ноги тяжелеют.

Служитель, принесший яд, подошел к нему и, ощупав ступни и колени лежавшего, спросил, чувствует ли он их. Сократ покачал головой — нет.

Прошло еще некоторое время.

Сократ внезапно раскрылся (он лежал закутавшись в одеяло) и громко произнес, глядя перед собой:

— Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдай же, не забудь.

— Что он говорит? — испуганно пробормотал Леонид. — Ведь Асклепию приносят жертву, когда выздоравливают!

Критон наклонился над другом.

— Я сделаю это. Может, ты еще что-нибудь хочешь? Я слушаю тебя. Я все ис...

Он осекся: глаза Сократа спокойно и отчужденно смотрели мимо него. Но не это испугало Критона. В знакомых, широко открытых глазах произошла неуловимая перемена. В них не было мысли. Это был бессмысленный взгляд. И тогда Критон понял, что Сократа больше нет...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Ты знаешь — кукла. Невозможно представить, что он жил когда-то. — Реук бросил фотографии на стол. — А что, никаких намеков на то, что где-нибудь такой человек разыскивался?

— Глухо, — ответил Голубь. — Мы разослали эти фотографии по всем райотделам. Многие еще не прислали ответов, так что шансы есть. Но те, что пришли, категорически отрицают. Этот человек в розыске не значится.

Он снова стал разглядывать полученные из Москвы фотографии человека, облик которого был восстановлен по черепу, изъятому у Женьки. Человеку на вид было лет шестьдесят. Длинное лошадиное лицо в сочетании с коротким вздернутым носом и глубокими глазными впадинами, оставляло неприятное впечатление. Узкий, длинный, плотно сжатый рот усугублял его.

— Лицо дегенерата, — заметил Виктор.

— Я бы не сказал, — возразил Реук. — Взгляни, какой лоб высокий. И нос у него... аристократический нос. А потом — это же кукла. Может быть, похожая на оригинал. Глаз-то нет. На мой взгляд, все-таки интересное лицо, да еще в сочетании с характером черепной травмы и местом захоронения. Такой зря лоб не подставит. Если убили — стало быть, было за что.

— Что, брат, увлекся? — улыбнулся Голубь. — А помнишь, как на меня наускаивал?

— Помню, — добродушно кивнул Реук. — Только не хвались — меня ты не переубедишь. Все, что с ним случилось — началось и кончилось в его время и никакого отношения к нашему не имеет. Как говорят картежники — заиграно. Почему и темное это дело. И будет темным. Ну, что — оставь мне несколько фотографий. Учеты учетами, а я все-таки поручу обойти старожилов еще раз.

— Ну! — изумился Голубь. — Людей с кражи снимешь? Осознал? Молото-ок!

— Ты же начальство, — пожал плечами Реук. — А у меня правило: начальство сказала, что суслик птичка, значит — птичка. Тем более, что никого я снимать не буду. Не дождешься. Внештатник один у меня завелся. Вот ему и поручу это дело. Махом проверит.

— Кто такой? — поднял брови Виктор. — Я в розыске всех ваших внештатников знаю.

— Всех, да не всех. — Реук нажал кнопку селекто-

ра. — Дербенев, Алексея Кириллыча не видел? Пригласи ко мне, — он взглянул на Голубя и кивнул головой. — Да-да. Ушел на пенсию, покопался месяц в саду и не выдержал — вернулся. Дела шерстит, молодых гоняет. На последнем партсобрании моего зама так распустил, что тот теперь от него прячется. Скоро до меня доберется. Начальник угрозыска на него не надышится: Кириллыч его от половины бумаг избавил. Давеча пошел с молодыми на обыск. Те шкафы осмотрели, под кроватью пошарили, в стайку заглянули — и сидят. А он по стайке походил, ведро воды вылил на пол и, там, где пузырьки пошли, велел пол вскрыть. Подозреваемый аж позеленел, когда тайник обнаружили...

В дверь постучали, вошел Кириллыч.

— Ну, вы тут поворкуйте, а я поехал на завод, — заторопился Реук, — с парторгом насчет выхода дружин на праздничные дни договориться.

— А у меня для вас новость есть, Алексей Кириллыч, — сказал Голубь, когда закончились взаимные распросы о жизни и здоровье.

— У меня для тебя тоже, — хитро улыбнулся Кириллыч.

— Давайте вы первый.

— Нет, сначала ты...

Голубь показал фотографию. Кириллыч внимательно разглядывал ее, вздыхал, улыбался.

— В чем дело, Кириллыч, — насторожился Голубь.

— Человека я нашел... живет здесь с рождения... дня два назад с ним разговаривал... В июле мы с тобой по домам ходили — помнишь? Старуха была там ненормальная, Силина... С мужем тридцать лет ругалась, а тот уж помер давно. Помнишь?

— Ну? — Голубь вспомнил женщину, которая, приложив руку козырьком ко лбу, смотрела тогда им вслед.

— Вот она — Силина...

— А при чем тут?... — Голубь недоумевал.

— Человек, с которым я позавчера разговаривал, знал ее мужа. Тот в войну дизельную спалил. Сидел за это. И в лагере его убили. Четверо каких-то. А сами сбежали.

— Так это он, что ли? — Голубь уставился на фотографию.

— Ты что, вправду забыл? Его она схоронила, все честь-честью.

— Тогда... они? Один из них?

— Ну, конечно! Лагерь-то в двадцати километрах отсюда был. Это кто-то из них — четверых. Что-то у них там произошло — и убрали его. Судя по рассказу моего знакомого, дело было осенью сорок шестого года. Лагерь был расположен на... Слушай, кто у вас курирует этот район?

— Гордеев. Должен на днях вернуться из командировки.

— О! Как только подъедет — отправляйтесь к тамошнему розыскнику, наверняка дело по розыску у него. А может, у твоего Гордеева в сейфе — верно говорю! — Кириллыч хлопнул его по колену.

— Н-ну... — покачал головой Голубь, — ты — титан розыска!

— Да чего там... всего лишь версия. Ты сделай, как говорю, а там...

Голубь попрощался с Кириллычем и, пообещав сообщить ему о результатах разговора с куратором уголовного розыска, отправился домой пешком.

Он добрался до дома, когда наступили вечерние сумерки и город медленно остывал от жаркого, пыльного августовского дня. Малышня возилась в грязном сером песке посреди двора. Мамаши и бабушки сидели на скамейках, упоенно судача обо всем, что знали. Мужчины в палисадниках самозабвенно играли в «подкидного», не вмешиваясь в течение жизни во дворе.

На двор по бетонной дорожке въехал грузовик. Осторожно урча, он медленно продвигался вперед, то и дело останавливаясь перед бегавшими, ездившими и ползавшими ребятишками. На скамейках поднялась паника. Вставшая внезапно перед радиатором грудастая женщина, в широком платье и домашних тапочках, мгновенно обросла толпой союзниц.

Молоденький, похожий на мальчишку шофер неосторожно посигналил, что имело такой же эффект, как если бы козленок, окруженный стаей волков, попытался боднуть одного из них. Замелькали руки женщин, производившие жесты самого разнообразного назначения, одновременно раздались голоса:

— Дороги не знаешь?

— За баранку сел, значит детишек давить можешь?

— У меня у самой сын на Дальнем Востоке служит и то такого себе не позволяет!

Шофер, слишком поздно осознавший свое легкомыслие, прижимал руки к груди, пытался что-то объяснить...

Какая-то сострадательная женщина решила было взять его сторону, но тут же пожалела об этом. Коллектив, образовавшийся вокруг грузовика, переключился на отступницу.

— Молчи, срамница!

— Думаешь, не знаем, почему его защищаешь?

— Позавчера утром с балкона — не такой же чернявый от тебя соскочил?

— У-у, бесстыдница! С грузовиком готова себе в кровать затащить.

Нейтрализовав оппозицию, женщины последовательно перешли к обсуждению вопроса о падении нравов в их среде и совершенно забыли о бедном шофере.

На эту сцену, сюжет которой ведет родословную со времен походов Македонского, а может и раньше, кроме Голубя взирал еще один человек — семилетний Максимка. Увидев, что жертва дворового актива оставлена наконец в покое, он подошел к шоферу и, подергав его за рукав, сказал:

— Дядя, вы не расстраивайтесь. Вам ведь к гастроному надо? Тут за домом объездная дорога есть. Маленький крюк дадите, зато никто кричать не будет. Вы меня в кабине прокатите, а я за это дорогу покажу.

Максимка был быстро и аккуратно посажен обрадованным шофером в кабину, откуда рассеянно и снисходительно смотрел на дискутирующих женщин. Когда шофер осторожно попятил машину назад, женщины даже не заметили этого, что вызвало у Максимки скептическую усмешку.

— Шуму-то, — обратился он к водителю, — а сами уж и забыли, чего шумели. Вот люди — делать им нечего... Сейчас заворачивайте налево, а там, за двенадцатым домом — гастроном.

Максимка тоже был учеником Сократа, и только по причине своего малолетства не придавал этому значения.

В почтовом ящике Голубь заметил письмо и обрадовался: письма он получал редко. Торопливо отомкнул ящик, взглянул на обратный адрес — Елена Петровна. «Переписка в черте города, оригинально», — усмехнулся Виктор. Как и все одинокие люди, он считал себя домоседом и страшно удивился, если бы ему сказали, что его невозможно застать дома.

Письмо, однако, было не от Елены Петровны, а от ее мужа.

«Дорогой Виктор, — писал Борис Дмитриевич. — Вам надо жениться хотя бы для того, чтобы было кому инфор-

мировать Вас о визитах друзей. Запертая дверь — плохой информатор. Лена несколько раз звонила на работу примерно с тем же результатом: то Вы уехали, то не приехали, то снова выехали. Бродячий цирк какой-то. И домашнего телефона не имеете — по субординации не положено? А так хотелось побыть вместе. Сейчас, к сожалению, это невозможно. Врачи навалились всем скопом и опробывают на мне последние достижения медицины. Кардиограмму своего сердца я уже могу рисовать от руки.

Вот лежу на больничной койке и упиваюсь впечатлениями от поездки на «Чехове». Разителен контраст Реки с той житейской суетой, которую мы не догадались оставить, если бы, смешно сказать, не моя болезнь. Я пишу «Река» с большой буквы. Это слово отождествилось в моем сознании со временем — тем самым, которое бежит, летит и мчится. И даже захотелось встать и подвести некоторые итоги за отчетный период. Но Лена вчера сказала, чтобы я не валял дурака, что итоги подводить рано.

Во время нашего путешествия мы много говорили о Вашей работе. То, что она сталкивает Вас носом к носу с категорией людей, пораженных духовной рептильностью, — это мы с Леной решили единодушно. Но дальше мнения разделились. Лена утверждает, что умному, развитому человеку, вроде Вас, рептильность души не угрожает. Вы в этой части у меня тоже сомнений не вызываете, но, что касается «умного и развитого»... К тому, чем живет гад ползучий (так, кажется, переводится слово «рептилия»?) можно ведь прийти и путем хорошо сработанных логических размышлений с привлечением в качестве авторитетов лучших умов прошлого и настоящего. И тогда он будет стократно неуязвим, потому что доказал необходимость этого своего способа существования. А что доказано, то истинно, верно? Или в Вашей практике встречаются одни узколобые особи с интеллектом на уровне грибов? Тогда я просто боюсь за Вас. Остаться человеком можно, общаясь только с себе подобными, даже если они сидят по ту сторону стола в Вашем кабинете.

Итак, жду ответа.

П. С. Кстати, как дела с книгой, которую я оставил в прошлый раз? Если все-таки собрались с духом, то начните с «Федона». Именно там приводятся четыре доказательства бессмертия души, о которых я говорил».

Виктор некоторое время внимательно разглядывал мудреный росчерк в конце письма. Потом принес из кухни та-

релку с яблоками, сигареты, спички, пепельницу, поставил все это на стол. Критически осмотрел его, добавил настольную лампу. Удовлетворившись подготовкой, уселся в кресло и взял с подоконника книгу, оставленную Борисом Дмитриевичем. Заглянул в заглавие, нашел нужную страницу.

Это была история о человеческих исканиях и заблуждениях, мудрых прозрениях и досадных, порой глупых, ребяческих измышлениях. Пронизываясь сквозь неторопливое многословие древних фраз, Виктор с удивлением ловил себя на том, что уже когда-то слышал это. Он узнавал отдельные сравнения, периоды, повороты мысли, как во сне человек узнает незнакомую местность. Это была история, свидетелем и действующим лицом которой он, сам того не подозревая, был...

За окном стемнело, и он включил лампу.

В четвертом часу Виктор поднялся и заварил себе чаю.

Он закончил читать утром. Взглянул на часы — было около шести. Виктор принял ванну, переоделся, убрал со стола. Конверт и письмо Бориса Дмитриевича вложил в книгу. Когда брал конверт, из него выпала четвертушка бумаги. Голубь не заметил ее раньше, вскрывая письмо. Это была записка от Елены Петровны. В ней она коротко сообщила, что ее муж, Борис Дмитриевич, умер в больнице. В связи с похоронами она не могла отправить это письмо, найденное в больничной тумбочке, и вот теперь только пересылает его Голубю. Елена Петровна сообщила также, что на некоторое время уедет к родственникам и появится в городе только осенью.

Виктор ничего вначале не понял, переводя взгляд с письма на записку. Внимательно перечитал адрес на конверте. Снова просмотрел записку и растерянно уставился на письмо. Черные строчки бежали одна за другой, слагаясь в предложения, вопросы... Мысли.

Так он сидел около получаса, бездумно глядя на абжур настольной лампы. Затем выключил свет, подошел к окну и раздернул шторы.

По асфальтовой дорожке медленно, как на покосе, двигался дворник, мерно взмахивая метлой: ширк-ширк. Впереди него бежали трое мальчишек с портфелями, азартно пасуя друг другу огрызок яблока. К остановке подъехал покривившийся от тяжести набившихся внутрь пассажиров автобус и, с трудом раскрыв двери, принял еще несколько

человек. От реки поднимался туман, закрывая ближайшие дома, но выше небо было голубым и чистым, обещаая теплый, солнечный день.

ЭПИЛОГ

— Чудеса!

Гордеев поправил пальцем очки и снова уставился на фотографию, полученную Голубем из Центральной научно-исследовательской лаборатории МВД СССР. Ту самую, которую они вчера рассматривали в райотделе с Реуком. Рядом лежал другой снимок, на нем, как яствовало из подписи, был изображен Жернявский Роман Григорьевич, 1884 года рождения, совершивший побег из мест лишения свободы в 1946 году. Обе фотографии изображали одного и того же человека — это сразу бросалось в глаза.

— Как же ты раскопал его? — нагледевшись, спросил Гордеев.

— Это не я раскопал, — усмехнулся Голубь и коротко поведал инспектору об обстоятельствах дела.

— Кино! — снова покрутил головой Гордеев. — Вот уж не ожидал такого финала. Даже жалко: дело в архив спишут, а я к нему привык. Без него в сейфе пустовато будет — вон какое толстое.

— Ты мне его дай на несколько дней, — попросил Голубь. — Тут выписки делать надо, копии снимать, постановления выносить...

Получив разрешение, Голубь быстро прошел к себе в кабинет. Два инспектора, занимавшиеся с ним, уехали в командировку, он работал в кабинете один.

Ему не терпелось идти домой, он заинтересовался простодушным и лукавым афинянином, о котором написал его ученик Аристокл, прозванный Платоном.

Но надо было посмотреть дело, выбрать необходимые для снятия копий документы.

Голубь глянул на часы и решил ограничиться сегодня только справкой о личности Жернявского.

Он нашел нужный документ. Фраза: «Осужден за хищение в крупных размерах в Байкитском интеграле...», — чем-то задержала его внимание. Что за интеграл? Затем он сообразил, что интеграл вовсе тут ни при чем. Жернявский орудовал в Байките, а он там несколько лет назад был. Задерживал Баландина. С ним тогда ездил симпатич-

ный парень из прокуратуры — Сергей Темных. Они подружились, но Баландин ранил Сергея в живот, и тот умер в вертолете от перитонита. Так что дружбы не вышло. А жаль... Значит, Жернявский из Байкита... Интересно. Там еще убили начальника милиции Пролетарского. В те же годы. Вполне возможно, что они с Жернявским могли знать друг друга.

Виктор пролистнул несколько страниц. Казанкин... А это кто же? Ага, ушел в побег с Жернявским. Так, неоднократно судим, статьи...

Кодекс еще был старый, и что означали статьи, Голубь не знал. Впрочем, над одной статьей, вверху, другими чернилами чья-то рука приписала: «За участие в банде Брагина — 1925 год».

Голубь поискал глазами, заложил полоску бумаги на странице, где говорилось о Жернявском, затем на странице с упоминанием Казанкина. Не торопясь достал сигареты. Сказывалась выработанная некогда привычка — намеренно медлить, отвлекаясь на пустяки, когда одолевало нетерпение.

Реук однажды подарил ему перстень. Перстень принадлежал его бабке. Бабка, помнится, была ему неродная. «Горлодер» у нее был хорош. На смородине. Бабка перед смертью просила передать перстень ему, Голубю...

— Н-да,-а, — протянул Виктор.

Отвлекаться было не на что. Он снял перстень с пальца и, подняв его двумя пальцами против света, увидел то, что видел не однажды, не придавая значения: на внутренней стороне перстня выцарапанную чем-то фамилию «Брагинь».

Этот Жернявский был прямо каким-то роком.

Через несколько страниц Голубь нашел этому очередное подтверждение. В объяснении одного из заключенных по поводу побега тот упомянул о своем разговоре с Казанкиным, который до побега был настроен агрессивно по отношению к Жернявскому. На вопрос заключенного, что у него за счеты с Сократом, Казанкин ответил, что Сократ еще с Ачинска ходит у него в должниках.

Голубь снова поднес перстень к свету. Красивая вещь. Сейчас таких не делают. Старину не подделаешь. Одна знакомая даже перестала ему звонить, когда он отказался подарить ей эту безделушку. Скажи, пожалуйста!.. Любовь как стимул меновой торговли в середине двадцатого века.

...Его дед, Тимофей Демьянович Голубь, был тогда на-

чальником уголовного розыска в Ачинске. Бабка Реука, надо понимать, знала и его, и Брагина. Все, стало быть, там были, все оставили след. Один Жернявский никаких следов не оставил.

— Ай да Роман Григорьевич, — покачал головой Голубь, покосившись на фотографию из дела, которую он прислонил к стакану из-под карандашей.

На снимке пожилой человек с лошадиным лицом, с седым ежиком волос мягко и доброжелательно смотрел в объектив. Добрый дедушка снялся для своих внуков.

Голубь стал смотреть в деле материалы, затрагивающие Байкитский период жизни Жернявского. И почти ничего не нашел, кроме краткого ответа на запрос. По делу Жернявского привлекались несколько человек, все осуждены на длительные сроки. Тем не менее, просмотрев еще несколько незначущих бумаг, он нашел то, что искал. В одном из отношений отмечалось (и кто-то неведомый Голубю подчеркнул фразу жирной чертой): «Жернявский Р. Г. был привлечен к уголовной ответственности на основании материалов, выделенных из дела по факту поджога школы и убийства начальника Байкитской милиции Н. О. Пролетарского. Соучастие Жернявского в убийстве и поджоге не доказано».

— И здесь следов не оставил!

Голубь даже руками всплеснул и уронил их на колени. Жернявский по-прежнему мягко смотрел на него с фотографии, и Голубю даже почудилось сочувствие и легкая ирония в его глазах.

Теперь уже Виктор не торопился домой. Страницу за страницей читал он материалы, делая отметки на бумаге. Он читал объяснения знавших его людей, справки и рапорты о побеге, и полуразвалившийся скелет, найденный на склоне горы на окраине города, обростал плотью, обретал речь, мысли, становился деятельным и предприимчивым.

Оказывается, он участвовал в действиях банды Брагина и скрылся после ее разгрома... Имел какие-то дела с убийцами Пролетарского и поджигателями школы... Организовывал хищения и сбыт пушнины и нагрел руки на этом деле. В колонии он всех подчинил себе. И нарек себя Соократом. Кличка совсем не блатного происхождения, но она прижилась среди заключенных. Его иначе не звали...

«Добрый дедушка» шел к цели с настойчивостью и упорством достойными уважения.

Голубь повидал блатных. Опустившихся, озлобленных

пропойц, не отягощавших себя моральными оправданиями своей жизни. Живущих одним днем. «Крысятники», обворовывающие друг у друга тумбочки. Этот был не из их числа. Хотя натворил, может, побольше других. Но ради чего?

— Что же это за цель у вас была, Роман Григорьевич?

Голубь внимательно разглядывал фотографию старика. Решиться на побег за два года до освобождения — зачем? Куда бежать в шестьдесят два года? И эти двое... Казанкин и второй. На кой им ляд дряхлая развалина? Казанкин — бандит, Жернявский у него в долгу... Куда они шли? Зачем взяли с собой старика? Почему убили его? Уже на свободе?

А может, все наоборот? И жизнь его, как и смерть, не имели смысла? Он был их Идеей. Их Кодексом. Их Учителем. Их Сократом. А сам-то он кем был? Чьим учеником?

Да ничьим.

Голубь вдруг захлопнул дело. Наваждение кончилось. Жуткий старик, присвоивший себе право жить за счет других, смотрел с фотографии, неприятно сморщившись. Видимо при съемке свет бил ему в глаза. Лицо было заискивающим.

Голубь сунул фотографию в дело. Свернул и положил в карман листы с выписками (не забыть завтра с утра отдать следователю). Заперев дело в сейф, вышел из кабинета.

Он поглядел на часы и мысленно ругнул себя за то, что просидел впустую над делом: выписки могли бы занять гораздо меньше времени. А теперь он провозится с ужином и опять ляжет бог знает во сколько.

Голубь приуныл было, но потом сообразил, что он может заехать к Реуку, поужинать, а заодно и рассказать ему про то, что он узнал о Жернявском...

СОДЕРЖАНИЕ

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА	5
МЫ ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ	67
УЧЕНИКИ СОКРАТА, ИЛИ ПЯТОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БЕССМЕРТИЯ ДУШИ	131

Кузнецов В. В.
К89 Мы вернемся осенью: Повести. — Красноярск:
Кн. изд-во, 1986. — 231 с.

События, о которых рассказывает автор в повестях «Семейная хроника», «Мы вернемся осенью», «Ученики Сократа», посвящены работе уголовного розыска и охватывают период с 1925 года до наших дней. Повести написаны на основе документальных материалов.

4702010200 — 064
М 147(03) — 86 22—86

Валерий Вениаминович Кузнецов

МЫ ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ

ИБ № 1186

Редактор В. И. Ермаков
Художественный редактор Г. В. Соколова
Художник Е. А. Бельмач
Технический редактор Н. Н. Черная
Корректор В. Н. Ключина

Сдано в набор 07.04.86. Подписано к печати 20.06.86. АЛ00134. Формат 84×108^{1/32}. Бум. тип. № 2. Гарнитура новая газетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,18. Усл. кр.-отт. 12,6. Уч.-изд. л. 13,03. Тираж 15 000 экз. Заказ 181. Цена 1 р. 10 к.

Красноярское книжное издательство, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 98.
Типография «Красноярский рабочий» - 630017, Красноярск, пр. Мира, 91.



